

В. ПЕРОВ

Рассказы художника



Автопортрет. *1870*

В. ПЕРОВ

Рассказы художника

Составитель,
автор вступительной статьи
и примечаний
А. ЛЕОНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ СССР
МОСКВА — 1960 г.

ПЕРОВ И ЕГО РАССКАЗЫ

Василий Григорьевич Перов является самым выдающимся в живописи выразителем эпохи бурного подъема народно-освободительного движения шестидесятых годов, когда рушились прогнившие устои феодально-крепостнического строя и выступили новые социальные силы, стремившиеся совершить в стране революционный переворот.

Духом борьбы против крепостничества насыщено творчество Перова. Великий гуманист, он отдал весь свой талант и горячее сердце обездоленным, повергнутым в нищету, оскорбленным и униженным. Поэтому он так внутренне близок в поэзии — Некрасову, в музыке — Мусоргскому.

В момент наивысшего взлета революционной волны 1859—1861 годов, когда в нашей стране сложилась революционная ситуация и был, по признанию В. И. Ленина, „революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной“, Перов создает полные гнева и сатиры, направленные против грязи самодержавной России знаменитые картины: „Проповедь в селе“, „Крестный ход на пасхе“, „Чаепитие в Мытищах близ Москвы“.

В условиях общественного подъема этой эпохи — эпохи великих революционных демократов Герцена, Белинского, Чернышевского и Добролюбова — сложились художественные и политические взгляды Перова. И он не изменял им никогда.

Когда художник увидел, что новый, последовавший за реформой 1861 года буржуазно-крепостнический правопорядок не облегчил жизнь народа, а принес ему еще горшие беды и испытания, он обратил свою кисть на изображение страданий народа. Гневно-сатирические его картины остались позади, но появились такие произведения, как „Похороны крестьянина“, „Тройка“. Ученики-мастеровые везут воду“, „Утопленница“, „Странник“, в которых раскрывалась великая скорбь художника, тяжкие раздумья его о судьбе народа.

Политическая реакция, наступившая вскоре после „реформ“ 60-х годов, тяжелая, полная лишений жизнь художника, огромное душевное напряжение в творческой работе—рано подорвали его силы: Перову едва исполнилось 49 лет, когда он умер.

В последние годы художника волновали морально-нравственные темы. Он стал обращаться к религиозным, евангельским сюжетам. Некоторым казалось, что Перов отошел от своих прежних революционно-демократических взглядов, изменил им. Но это было не так. И в этот период своего творчества он оставался верен демократическим идеалам, художественным и политическим заветам шестидесятников. Когда в стране в 70-х годах вновь поднялось народно-освободительное движение, выразившееся в знаменитом „хождении в народ“ революционной интеллигенции и во все разгоравшейся

борьбе крестьян с помещиками за землю, Перов с огромным воодушевлением обратился к темам народных восстаний. На этот раз он задумал написать картины большого исторического значения, изображающие движение широких народных масс, возглавлявшихся Степаном Разиным и Емельяном Пугачевым. Картины эти не были осуществлены, но в этюдах и эскизах к ним сказалась вся душа художника-демократа, страстного сторонника борьбы народа за его освобождение.

Наряду с созданием жанровых картин и блестящей галереи портретов, среди которых особенно выдающимся является портрет Достоевского, наряду с картинами, посвященными охоте и природе, среди которых особенно поэтична картина „Птицелов", Перов писал и свои рассказы. Все они относятся ко второй половине и к концу 70-х годов.

Художники нередко обращаются к перу, чтобы высказать свои взгляды на жизнь, изложить свои мысли об искусстве, досказать то, что недосказанно в картинах. Так и Перов находил большую душевную и эстетическую потребность обрисовать встретившиеся ему типы, сопутствовавшие написанию картин обстоятельства, судьбу своих героев. Эти рассказы навеяны всем тем, что художник видел и пережил. „Все, мною описываемое, есть положительная истина", — подтверждал автор в одном из своих рассказов.

Достоверность рассказов Перова придает им особенный познавательный интерес. В них ярко отразился весь внутренний мир художника, его великий гуманизм. Такие его рассказы, как „Тетушка Марья", „Под крестом", „Великая жертва", раскрывают всю боль художника за страдания народа, пережившего крепостное право и попавшего в новую кабалу после реформы 1861 года.

Рассказ „Тетушка Марья" трудно читать без волнения, без слез, так проникновенно и задушевно обрисовано художником крестьянское горе. Образ крестьянки — воплощение моральной красоты русской женщины — всегда волновал художника. Простой русской женщине с „заскорузлыми руками но великой душой" и посвятил он первый свой рассказ.

В рассказе „Тетушка Марья" весь Перов: гуманист, демократ, народолюбец. Читая о великом горе крестьянки, тетушки Марьи, думаешь о горе всего русского народа, подобно тому, как думаешь о нем, когда смотришь на знаменитую картину художника „Похороны крестьянина", или на не менее знаменитое полотно „Тройка". Ученики-мастеровые везут воду".

Есть какая-то внутренняя связь между этими двумя картинами и рассказом „Тетушка Марья", они дополняют друг друга и создают целое повествование о судьбе русского крестьянства. В картине „Похороны крестьянина" передано безысходное горе крестьянской семьи. В картине „Тройка" — изнурительный труд детей-подростков, выброшенных голодом в город на заработки. В рассказе „Тетушка Марья" обрисованы сила и величие скорби крестьянской матери, ее всеобъемлющая любовь. Рассказ этот углубляет содержание картины, помогает лучше понять те мысли и чувства, которые руководили художником, когда он создавал их.

Перов хорошо знал народ. Вглядываясь в лица своих моделей, он читал их мысли и чувства, анализировал, обобщал. В тетушке Марье его умиляла сила материнской любви, ласковость, возвышенность кроткой и грустной души. Проявление этих чувств было особенно дорого и близко Перову. Они отвечали его светлому взгляду на моральную красоту простого русского человека.

Типизация была характерна для творчества Перова. Образ маленькой старушки „с тряпицею на голове“, с потухшими от слез ласковыми глазами возведен им до большого обобщения. Художник сравнивал его с идеальными старушками в картинах Рафаэля и нашими добрыми старыми нянями. Возвышенные черты материнства, которые он видел много раз в картинах великих живописцев, здесь получили свое новое воплощение: художник увидел их в простых людях „И эта простая русская женщина в ее убогом наряде, — восклицает автор, — становится высоким типом и идеалом материнской любви и смирения".

Но, стремясь к широким обобщениям, Перов бережет индивидуальные, особенные черты модели, сохраняет и подчеркивает их. Когда он предоставил старушке отыскать среди многих картин, развешанных в галерее П. М. Третьякова, ту, в которой изображен ее сын, она без особого труда нашла ее. Видимо, индивидуальные портретные черты „милого Васеньки“ были настолько сильны, что они сохранились даже при переработке модели, которая была неизбежна в связи с общей композицией картины. Всматриваясь в родной образ сына, старушка вдруг, всплеснув руками, вскрикнула: „Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый!“. Очевидно эта деталь вызвала самые непосредственные ассоциации в сердце матери, именно она с наибольшей силой покорила ее своею правдой.

При чтении рассказа „Тетушка Марья“ раскрывается отношение художника к своей модели. Для Перова и тетушка Марья и ее сын, образ которого был так нужен для картины, — не просто модель, нечто подсобное, необходимое только как материал в помощь художнику. Нет, его отношение к ним было иное. Он сближался со своей натурой, проникал в ее внутренний мир, относился с глубоким уважением к ее думам и чувствам. Как близка и дорога ему стала тетушка Марья, с какой теплотой вспоминал он ее. „Жива ли ты теперь, моя горемычная? Если да, то посылаю тебе мой сердечный привет“, — писал он, спустя много лет после трагической встречи с ней.

Перов был художником скорби — художником большого сердца. Его интересует, прежде всего, человек—Человеческое в человеке. И он находит это Человеческое—иногда лежащее где-то на дне души—в тружениках села, фабричном и ремесленном люде, в самых „низах“ общества: странниках, нищих, проститутках. Поэтому его произведения неизменно вызывали горячее признание, восторженные отзывы, растроганные слезы.

Он не был сентиментальным. Его натура не страдала излишней чувствительностью, слабостью сердца. Он был суров к социальной несправедливости. Сатира его безжалостна. Он страстно стремился выявить пороки в человеке, в обществе, и потому иногда был язвителен до желчности. Но гневный бич его был поднят великой любовью к Человеку. Перов был необычайно отзывчивым к горю ближнего своего и нетерпим к неправде, злу. Он хорошо понимал социальные истоки многих пороков и со всей силой раскрывал их в своих произведениях.

Жутким пороком большого капиталистического города была порожденная нищетой проституция. В рассказе „На натуре“ Перов ярко обрисовал судьбу девушки Фени, попавшей в Москве в „увеселительное заведение“ и там превратившейся в продажную женщину под кличкой „Фанни под № 30“. Все, что написано в рассказе, — жизненная правда, эта жизненная правда и легла в основание картины „Утопленница“.

Перов с глубокой болью в сердце повествует о невинно загубленной жизни. С боль-

шой силой и волнением описывает поднявшиеся со дна души этой падшей женщины горечь и стыд, затаенную муку и страдание, сознание своей гибели. Искра прекрасного, Человеческого еще не погасла в ней, и Перову это было дороже всего. Поэтому он с таким упорством и увлечением работал над созданием картины „Утопленница", давая множество ее вариантов с тем, чтобы полнее выразить свои взволнованные чувства.

Вначале это были жанрово-бытовые решения с изображением типичной для московских улиц того времени толпы, окружившей утопленницу и судачавшей о ее судьбе.

Первичные впечатления от натуры получили свое отражение в первых вариантах, где Феня изображена почти такой, какой она описана в рассказе. „Это был труп молодой исхудалой женщины. Длинная коса ее раскинулась по песку, грудь обнажилась, рубашка завернулась выше колен". Затем все более художник отрешался от бытовизма сцены и сосредоточивал свое внимание на обобщении образов: утопленницы и квартального. В результате, перед нами предстали в художественном перевоплощении две социальные силы, символизирующие Россию тех лет, две темы: страдания народа и холодное равнодушие к нему буржуазного общества.

Трезвый взгляд на окружающее дал возможность Перову философски посмотреть на „жизнь" мертвецкой, где он зарисовывал Феню. В рассказе в образе Заверткина, обслуживавшего мертвецкую, он показал человека, который за двадцать лет своей работы потерял и боль и страх при виде своих клиентов: „Страшно?.. Вона! Пора пройтить страху... По мне теперича все едино: что живой, что мертвый...".

Но Перов не бесстрастный анатом, он глубоко переживает трагическую гибель Фени. „О! Фанни! Фанни! Так вот где мне пришлось с тобой встретиться. Бедная женщина!" — И, отмечая сияющую вокруг жизнь природы, он страдает, раздумывая о судьбе человека: „Окно отворено. Кругом сад. В саду так тепло и весело, солнце жжет... Отчего же мне так холодно и жутко... и так болезненно заныло сердце?..".

Трогательна была сцена прощания с Феней ее подруг, заливавшихся горькими слезами. Они сокрушались не только о ней, но и о себе, о своей потерянной жизни, и вместе с тем, как бесчеловечно было сердце хозяйки этих девиц, сожалевшей потерю „Фанни под № 30" только потому, что она приносила ей большой доход. „Ах! Как жаль бедную!.. Какая была хорошая девица!.. И как ее любили гости! Верите ли, нарасхват была она..."

По ходу рассказа Перов пользуется случаем с глубокой благодарностью отметить доброту и бескорыстность своего учителя Егора Яковлевича Васильева. Этот скромный преподаватель рисовального класса помогал бедным ученикам чем только мог, некоторым из них, кому негде было жить, предоставлял свою квартиру и обед, имея весьма скудные средства для своего существования. Сам Перов в минуту отчаянной нужды, когда материальные затруднения грозили ему выходом из Училища, в которое он так стремился и с таким трудом поступил, был спасен Егором Яковлевичем. У него он получил приют и ласку. Приведенные в рассказе примеры доброты Васильева рисуют возвышенный, благородный образ русского художника, всегда готового подать руку помощи своему собрату по искусству.

Не менее проникновенным и содержательным является рассказ „Под крестом". В нем Перов обращается к очень волновавшему его вопросу — вопросу о новом рабстве

трудового народа, возникшем после пресловутой „свободы“, „дарованной“ царем и крепостниками 19 февраля 1861 года.

Герой рассказа — глубокий старик, бывший крепостной, дворовый человек сначала какого-то князя, а затем чуть ли не десятка господ, к которым он переходил из рук в руки, — остался после „19 февраля“ без земли, без крова, без каких-либо средств к существованию. Барин продал землю, лес, дом, продал все, что мог продать, а дворовые, „спустя день-другой, взяли по котомочке да и разбрелись мыкать горе в разные стороны“.

Описанный в рассказе крестьянин Христофор Барский послужил прообразом для замечательной картины Перова „Странник“. В эту картину художник вложил то содержание, которое так ярко и так взволнованно было раскрыто им в повести о жизни и думах Христофора Барского. Образ странника, даже чисто внешними своими чертами, напоминает этого бывшего дворового. Он был, по описанию в рассказе, „высокого роста, но уже согнувшийся, как верхняя ветвь высокой ели“, борода его напоминала „цвет подержанного серебра“, глаза были „грустные, как бы задернутые черным флером или временем долгого страдания“, одет он был в „широкий с заплатами крестьянский кафтан цвета ржаного хлеба“ — во всем его облике видно было какое-то особенное благородство.

Образ старика-странника интересовал художника с самых ранних лет. Есть сведения, что еще в Арзамасе, в 1851 году им был написан нищий, просящий милостыню. В Художественном музее имени А. Н. Радищева в Саратове имеется написанная в 1859 году картина, изображающая странника, опирающегося на палку. Тема эта проходила через все творчество Перова, пока не вылилась в 1870 году в известную картину „Странник“, находящуюся в настоящее время в Третьяковской галерее.

Старик-нищий, странник с котомкой на плечах и с палкой в руке — типичная фигура старой России. Особенно часто он встречался в пореформенное время, когда голод, безземелье гнали крестьян из деревни в поисках работы и куска хлеба. Среди этих бездомников было много бывших дворовых людей, после „19 февраля“ буквально оказавшихся на улице, как свидетельствует об этом герой рассказа Перова. Судьба бывших дворовых волновала многих передовых людей того времени. И. С. Тургенев в письме из Парижа к И. П. Борисову от 22 февраля 1863 года с беспокойством спрашивал: „...что сталось с дворовыми..?“.

Поступки и мысли Христофора Барского свидетельствуют о том, как тягостно было крестьянам, после реформы попавшим еще в большую кабалу, сознавать свое положение. С горестью говорит Барский о том, что „не кончилось еще рабство“. „Многие, многие годы ждали мы себе свободы и, наконец, дождались ее... Что же я узрел вчера?.. Снова нужно вступить в это рабство, нужно гнуть спину и снова видеть и слышать, как издеваются над полумертвым, немощным человеком...“ Старик с гордостью отказывается от „благодеяния“ „нового господина“ — разжиревшего богатея-буржуа. Он не хочет просить жалкой его помощи. „И прежде чем дадут ее, — говорит он, — унизят, оскорбят, истерзают, а затем и бросят кусок хлеба... Да еще бросят ли? Но что наверное будет, сударь мой, так это то, что прокричат они на весь город: мы, дескать, отцы и благодетели!..“

В словах Барского слышны непокорность, протест. В них звучит бунт страдальца,

грозная сила народная, решимость к борьбе. „...добровольно надевать это ярмо и смиренно нести его. Нет, этому не бывать!..“

Нет сомнения, что устами Барского Перов передавал свои мысли о тягостях крепостного права, о еще более хищной эксплуатации народа, наступившей в пореформенное время, о страстном стремлении к настоящей свободе. „Барский ушел, а я все еще стоял на одном и том же месте; я остолбенел... — писал Перов, — мне стало стыдно за самого себя... мне все еще слышались правдивые умные слова Барского“.

В. И. Ленин, касаясь вопроса о наиболее ярких особенностях общественной обстановки 60-х годов, говорил, что она характеризуется, между прочим, „горячей войной литературы против бессмысленных средневековых стеснений личности“, и что „именно пореформенная Россия принесла этот подъем чувства личности, чувства собственного достоинства“

Перов был сыном своей эпохи. Вместе с народом он мечтал о долгожданной свободе и вместе с ним убедился, что реформа „19 февраля“ этой свободы не принесла, что за нее надо еще бороться, и художник делал все, для него возможное, чтобы скорее приблизить это время. Свобода личности, уважение человека было для художника превыше всего. Он сам был горд и свободолюбив. Никогда не имел сделки со своей совестью и ни перед кем не склонял головы. Перов был безукоризненно честен и благороден.

В лице богача, почетного гражданина, купца первой гильдии Саввы Прохоровича Щукина Перов выразительно обрисовал тип нового, народившегося в пореформенную эпоху эксплуататора. Невежественный, жадный, обуреваемый страстью к беспредельной наживе, он в то же время стремился к внешнему, показному лоску. Не имея никакого понятия об искусстве и науке, он окружал себя художниками, музыкантами, учеными, слыл „меценатом“, скупал без всякого разбора старинные вещи и обставлял ими свой обширный дом. Кричащая нелепость обстановки свидетельствовала о полной безвкусице хозяина.

Наряду с невежественностью Перов подметил совершенно непонятную ему алчность натуры капиталиста, который не удовлетворяется имеющимися у него миллионами и с каким-то азартом ежедневно предается увеличению своих капиталов. „Трудно понять, — удивлялся Перов, — ради чего он их с такой жадностью увеличивал. Он был один-одинешенек, жена у него давно умерла, а детей не было“. Такова природа капиталиста — и Перов рано и хорошо ее раскрыл — нажива ради наживы.

Как и в своих картинах, художник умеет подчеркнуть мысль, характер, обстоятельство какой-либо выразительной деталью, так и здесь, в рассказе, он подмечает деталь, хорошо характеризующую миллионера, который сам никогда не выпускал изо рта благовонной гаванской сигары, а гостям предлагал сигары похуже.

В рассказе „Великая жертва“ автор снова возвращается к реформе „19 февраля“. Он пишет об ожидании народом реформы и разочаровании ею, когда стало известно содержание манифеста. „Кончилась обедня и благодарственный молебен. Народ начал выходить из церкви. Ни шуму, ни ликований, ни восторгов — ничего нет!“. В основанном на личном наблюдении рассказе дается очень много интересных бытовых картин тех дней и раскрывается умонастроение, вызванное реформой в среде городского ремесленного люда, бывших оброчных крестьян и прочих.

Ряд рассказов Перова связан с воспоминаниями художника о Московском учи-

лище живописи, ваяния и зодчества, где он с 1853 года был учеником, а с 1871 — до самой смерти (1882) — профессором.

Перов был выдающимся педагогом. С пребыванием его в Училище связана целая эпоха, расцвет этого замечательного учебного заведения. Обладающий всеобщим признанием и славой как художник, Перов имел огромный авторитет среди учеников. Чрезвычайно требовательный к себе, он был требователен и взыскателен к ученикам. Ученики боготворили его. Нестеров — один из бывших учеников Перова—писал в своей книге „Давние дни“: „В Московской школе живописи... все жило Перовым, дышало им, носило отпечаток его мыслей, слов, деяний“.

Перов составил своеобразную хронику Училища живописи и ваяния того времени, когда в нем учился. То был ранний период Училища, когда методы преподавания не были еще разработаны и каждый художник-педагог давал наставления ученикам в полном противоречии своему предшественнику. На этой почве возникала борьба между педагогами за влияние на учеников. В своих воспоминаниях Перов придерживался строго объективного изложения позиций педагогов. Острый, критический ум Перова ярко подметил комичность педагогических „систем“ своих учителей. Однако автор хроник высоко ценил их любовь к искусству. То, что Перов, еще будучи учеником, смог хорошо разобраться в достоинствах и недостатках своих учителей, свидетельствует, насколько он пошел дальше их в понимании искусства и методов преподавания.

Сам Перов признавался, что он больше всего учился у жизни. Он с ранних лет обнаружил острую наблюдательность. Он любил сосредоточенно обдумывать происходящее на его глазах, подмечать различные черты встречавшихся типов, разгадывать их характеры и все это запечатлевать в своей книжечке. Глаз его зорко проникал в окружающее. И в своих рассказах и в картинах Перов выступает как последовательный реалист, поборник правды в искусстве, борец за жизненные, народные идеалы. В служении этим идеалам он видит высокое предназначение искусства.

Характеризуя своего учителя М. И. Скотти как художника и педагога, Перов дает очень верную оценку его творчества и в то же время четко и страстно высказывает свое понимание искусства. Он признавал, что Скотти хороший мастер, но... вовсе не художник, ибо Скотти прекрасно мог передавать внешние образы, внешние очертания, но эти образы были лишены жизненности; он не мог вложить в них душу, страсть, и потому-то... „волшебству и чародейству в искусстве он был совершенно не причастен“. Перов говорил: „...никто не станет считать передачу одной внешней стороны, хотя бы даже исполненной и до обмана глаза, за истинное искусство“. Великий реалист давал резкий и категорический приговор всему поверхностному, формальному в искусстве. „К великому, однако, сожалению, — пишет он, — публика, любители, а нередко даже и сами художники падки на эти приманки. Зачастую и эти последние восторгаются и восхищаются какой-нибудь до того натурально написанной шляпой, что от восторга в нее хочется только плюнуть“.

Излагая поучения своих классных наставников М. И. Скотти, А. Н. Мокрицкого и С. К. Зарянко, Перов подчеркивал в их мыслях то, что соответствовало его собственному пониманию, отвечало его взглядам. Высказывания Мокрицкого о том, что классы для последующей деятельности художника есть ни более ни менее как только азбука, которая изучается для того, чтобы уметь ясно и понятно излагать свои мысли и чувства

и что истинное искусство не в классах, не на казенном пьедестале, а в жизни, в природе, что для того, чтобы быть вполне художником, нужно быть творцом, а чтобы быть творцом, нужно изучать жизнь, — все эти высказывания вполне отвечали художественной практике самого Перова. Темы, даже для академической, учебной программы, он находил в бурной жизни своего времени. Вспомним, что вначале он получил серебряную медаль за картину „Приезд станового на следствие", затем за картину „Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы", а на золотую медаль представил эскиз знаменитой впоследствии картины „Сельский крестный ход на пасхе", который Академический совет не утвердил, испугавшись его острого политического содержания. Перов не сдался. Продолжая работать над этой картиной, представил эскиз другой картины, не менее социально острой, антикрепостнический смысл которой, однако, не был разгадан Академическим ареопагом. Эта картина — „Проповедь в селе".

В ряде других мыслей Мокрицкого, изложенных полно и вдохновенно Перовым, можно найти соответствие мыслям и взглядам самого автора мемуаров. Здесь и требование от художника неусыпной наблюдательности, упражнения в воспроизведении типов и им присущих наклонностей. „Сколько перед вами прошло типов красивых и жалких, счастливых и несчастных, смеющихся и плачущих", — здесь и призыв сохранять впечатления в своей памятной книжке, а главное в голове, подобно тому, как „сохраняет на себе горячее железо следы удара молота, даже и после того, когда остынет". Художник должен быть отзывчивым к страданиям тех, кого он изображает, должен „воспроизвести в образах то, что уловил сердцем и разумом".

Художник рисуется Мокрицким как высоконравственная личность, всецело и бескорыстно преданная искусству. Он, по его мысли, должен „отречься от благ мирских и любить искусство, если бы даже пришлось и умереть за него". Такой высокий взгляд на призвание художника, его общественный долг вполне отвечал уму и сердцу Перова. Этими взглядами он и руководствовался всю свою жизнь.

Давая характеристику своим учителям, представляя с поразительной меткостью, а иногда даже и колкостью, ограниченные стороны их педагогических систем, Перов в то же время высоко ценил их благородные побуждения, их самоотверженную любовь к искусству, желание воспитать в ученике истинного художника, высоконравственную личность поэта, труженика. В главе о С. К. Зарянко, крупном мастере живописи, портретисте, Перов, наряду с некоторыми ценными сторонами его учения о цвете, свете, композиции, анатомии, выставил в крайне комическом описании его метод построения исторической картины. Но Перов говорит и о достоинствах Зарянко как воспитателя. Два эпизода, рассказанные Перовым об отношениях Зарянко к ученикам, достаточно хорошо характеризуют „этого самобытного, даже замечательного человека".

К рассказам, в которых можно познакомиться с некоторыми взглядами Перова на искусство, относится еще один под названием „Новогодняя легенда о счастье". В нем еще раз в словах некоего „дедушки", беседующего о модной „эффектной" картине, в которой представлена в виде обнаженной женщины аллегорическая фигура „Славы", раздающая лавровые венки любимцам публики — артистам, сформулированы эстетические взгляды самого Перова. Внешней бессодержательности здесь вновь противопоставляется глубина чувства. „В картине вашей есть краски, т. е. калорит, — говорит

„дедушка", — но колорит, не взятый из природы, колорит не силы, могучести и правды, а скорее — какой-то разнеженности, так сказать, пикантности, заимствованной из модных картин; колорит, приятно ласкающий глаз и щекочущий чувственность, но совсем не действующий на высокие чувства. В картине вашей есть рисунок, но рисунок, бьющий на красоту, на ловкость, но не строгий, уверенный и точный. Рисунком вашим вы желаете более раздразнить, увлечь зрителя, чем выразить им изображаемые вами характеры и типы. Наконец, в вашей картине есть выражение и энергия, но выражение однообразное... шаблонное: все лица на вашей картине одними и теми же чертами выражают радость и величие, а также счастье и восторг. Это доказывает, что вы смотрите на воспроизведение этих лиц поверхностно, скользя по внешности их, не заглядывая отдельно в душу каждого вашего героя.

Это все симптомы тления и смерти, но не творчества и бессмертия. Разве радость или какое-либо движение души может выражаться одинаково на всех лицах, на всех типах. Никогда этого не бывает, да и быть не может. Что ни тип, что ни лицо, что ни характер, то особенность выражения всякого чувства. Глубокий художник тем и познается, что изучает, подмечает все эти особенности, а потому его произведение бессмертно, правдиво и жизненно".

Видимо, Перов уже в свое время заметил проявления модных течений в искусстве, выражающих довольно низменные вкусы публики — „бессодержательность и эротичность". Вместе с тем, Перов совершенно правильно предупреждал художников, что „артист обязан развивать вкус публики, идти вперед ее, но не ходить за ней".

Такова реалистическая, демократическая основа эстетики Перова.

Рассказ „Наша художественная критика и ее представители" раскрывает другую сторону художественного таланта Перова, его уменье дать острую, меткую испепеляющую сатиру. Эта сатира касалась состояния художественной критики его времени, но способность автора обобщить различные типичные виды критики делает ее во многом созвучной нашей борьбе с шаблоном и поверхностью художественных оценок, незнанием критиками специфики художественного творчества, отсутствием вкуса.

Перов радуется распространению влияния искусства в обществе, появлению все большего числа любителей искусства, его ценителей и покровителей. Понимание общественной, облагораживающей роли искусства, естественно, сделало его одним из инициаторов знаменитого Товарищества художественных передвижных выставок, сыгравшего огромную роль в деле подъема русского реалистического искусства и популяризации его в народе.

В рассказе „Ложная тревога" Перов с удивлением отмечает, как велико в народе стремление к искусству, — к нему пришел за советом даже квартальный надзиратель, с детства страдающий страстью к живописи.

Когда увлечение искусством шло от чистого сердца, Перов поддерживал, поощрял его.

Полно добродушной иронии повествование Перова о покровительстве учеников Училища живописи и ваяния одним старым генералом в рассказе „Генерал Самсонов". Сколько вложил автор остроумия в описание дилетантских рассуждений об искусстве этого милого старичка, так много сделавшего для материальной поддержки учеников.

Среди произведений Перова, отличающихся наибольшей поэтичностью темы, выделяется известная картина „Птицелов". За эту картину художник в 1871 году получил

звание профессора, после чего он и принял пост преподавателя Училища живописи, ваяния и зодчества.

В рассказе „Мелентьич-птицелов“, являющемся авторским вариантом рассказа „Великая жертва“, есть очень проникновенные, дышащие поэзией странички. Эти странички, посвященные счастливой встрече с природой бедняка Мелентьича, страстного охотника, любителя птиц, полны очарования. Они хорошо выражают то состояние, которым охвачен был художник, когда рисовал свою картину „Птицелов“. И там и тут он передает обаяние весны, солнечного утра, радость слияния человека с сияющей природой.

В рассказах Перова много рассыпано бытовых зарисовок. Много отмечено различных типов, характеров, уличных сцен. Особенный интерес в этом отношении представляет замечательный очерк „Медовый праздник в Москве“.

Как и во всех других рассказах, действие происходит в Москве. В медовый праздник, то есть в „день первого спаса“ на Трубной площади происходило народное торщиже. гулянье. Рассказ „Медовый праздник в Москве“ рисует картину этого народного гулянья. отдельных типов горожан, праздничного фабричного люда ремесленников. Трубная площадь в это время кишела торговцами душистым медом: сотовым, топленым, ярым, броженым с хмелем, медовыми пряниками и другими яствами. Здесь было средоточие трактиров, кабаков и других увеселительных заведений и притонов. Во все зорко всматривается художник, любуется, обдумывает. Особенно следит он за сапожником Федотом, влюбленным в свою зазнобу Арину. Выразительно обрисовывает его фигуру, манеры, переживания. Мастерски набрасывает диалоги, сцены заигрывания и ревности. Как хороша Арина, здоровая, добродушная, независимая. Ярко показана толпа фабричных девушек, юркий шершавый оборванный мальчик — душа праздника, весь в синяках и шишках от беспрестанных побоев подвыпивших мужиков и неистовых торговцев. Все это живет, движется, шумит, набивает рты медом, кренделями, лакомится водочкой, пивом, брагой во хмелю. Разгулялась беднота. Жизнь — разливанное море. Перов дал великолепный литературный очерк московской бедноты 60—70-х годов.

По своему жанру рассказы Перова являются автобиографическими очерками, мемуарами с большими обобщениями и глубокими выводами. В них художник высказывает свои мысли об искусстве, дает критическую оценку явлениям искусства, состоянию художественной критики, системе художественного образования. И взгляды на искусство и темы рассказов тесно связаны с художественной практикой Перова, наглядно раскрывают метод его работы — метод последовательного реалиста.

Язык рассказов простой, выразительный, выпукло обрисовывающий внешние явления и внутренние состояния героев. Мастер диалогов, Перов пересыпает речь своих героев меткими сочными словами, принятыми в народном обиходе. Это придает рассказам особую убедительность и обаяние.

Перов с самого начала и до конца своего творческого пути оставался с народом, любил его, болел за него, радовался вместе с ним. И картины и рассказы Перова подтверждают, что он никогда не изменял демократическим убеждениям, высоким общественным идеалам, зову своего болеющего народной скорбью сердца.

Издаваемые „Рассказы“ послужат еще более глубокому пониманию светлой личности великого художника-демократа и гуманиста.

А. И. Леонов



Деталь картины «Тройка». Ученики-мастеровые везут воду

ТЕТУШКА МАРЬЯ

Несколько лет тому назад я писал картину, в которой мне хотелось представить типичного мальчика. Долго я его отыскивал, но несмотря на все поиски, задуманный мною тип не попадался. Однако раз весной, это было в конце апреля, в великолепный солнечный день я как-то бродил близ Тверской заставы, и навстречу мне стали попадаться фабричные и разные мастеровые, возвращающиеся из деревень, после Пасхи, на свои тяжелые летние работы; тут же проходили целые группы богомольцев, преимущественно крестьянок, шедших на поклонение преподобному Сергию и московским чудотворцам; а у самой заставы, в опустелом сторожевом доме с заколоченными окнами, на полуразвалившемся крыльце я увидел большую толпу усталых пешеходов. Иные из них сидели и пережевывали какое-то подобие хлеба; другие, сладко заснув, разметались под теплыми лучами блестящего солнышка. Картина была привлекательная!

Я стал вглядываться в ее подробности и в стороне заметил старушку с мальчиком. Старушка что-то покупала у вертлявого разносчика. Подойдя ближе к мальчику,я невольно был поражен тем типом, который так долго

отыскивал. Я сейчас же завел со старушкой и с ним разговор и спросил их между прочим: откуда и куда они идут? Старушка не замедлила объяснить, что они из Рязанской губернии, были в Новом Иерусалиме, а теперь пробираются к Троице-Сергию и хотели бы переночевать в Москве, да не знают, где приютиться.

Я вызвался показать им место для ночлега. Мы пошли вместе. Старушка шла медленно, немного прихрамывая. Ее смиренная фигура с котомкой на плечах и с головой, обернутой во что-то белое, была очень симпатична. Все ее внимание было обращено на мальчика, который беспрестанно останавливался и смотрел на все попадающееся с большим любопытством; старушка же, видимо, боялась, чтобы он не затерялся. Я, между тем, обдумывал, как бы начать с ней объяснение по поводу моего намерения написать ее спутника. Не придумав ничего лучшего, я начал с того, что предложил ей денег. Старушка пришла в недоумение и не решалась их брать. Тогда уже, по необходимости, я сразу высказал ей, что мальчик мне очень нравится и мне бы хотелось написать с него портрет. Она еще более была удивлена и даже как будто оробела. Я стал объяснять мое желание, стараясь говорить как можно проще и понятнее. Но как я ни ухитрялся, как ни разъяснял, старушка почти ничего не понимала, а только все более и более недоверчиво на меня посматривала. Я решился тогда на последнее средство и начал уговаривать пойти со мною. На это последнее старушка согласилась. Придя в мастерскую, я показал им начатую картину и объяснил в чем дело. Она, кажется, поняла, но тем не менее упорно отказывалась от моего предложения, ссылаясь на то, что им некогда, что это великий грех, да кроме того она еще слыхала, что от этого не только чахнут люди, но даже умирают. Я по возможности старался уверить ее, что это неправда, что это просто сказки, и в доказательство своих слов привел то, что и цари, и архиреи позволяют писать с себя портреты, а св. евангелист Лука был сам живописец, что есть много людей в Москве, с которых написаны портреты, но они не чахнут и не умирают от этого. Старушка колебалась. Я привел ей еще несколько примеров и предложил ей хорошую плату.

Она подумала, подумала и, наконец, к моей великой радости, согласилась позволить снять портрет с ее сына, как оказалось впоследствии, двенадцатилетнего Васи.

Сеанс начался немедленно.

Старушка поместилась тут же, неподалеку, и беспрестанно приходила и охорашивала своего сына, то поправляя ему волосы, то одергивая рубашку: словом, мешала ужасно. Я попросил ее не трогать и не подходить к нему, объясняя, что это замедляет мою работу.

Она уселась смирно и начала рассказывать о своем житье-бытье, все посматривая с любовью на своего милого Васю. Из ее рассказа можно было заметить, что она вовсе не так стара, как мне казалось с первого взгляда; лет ей было немного, но трудовая жизнь и горе состарили ее прежде времени, а слезы потушили ее маленькие кроткие и ласковые глазки.

Сеанс продолжался. Тетушка Марья, так ее звали, все рассказывала о своих тяжелых трудах и безвременье; о болезнях и голоде, посылаемых им за их великие прегрешения; о том, как схоронила своего мужа и детей и осталась с одним утешением — сынком Васенькой. И с той поры, уже несколько лет, ежегодно ходит на поклонение великим угодникам божиим, а нынешний раз взяла с собой в первый раз и Васю.

Много рассказывала она занимательного, хотя и не нового, — о своем горьком вдовстве и бедности крестьянской.

Сеанс был кончен. Она обещала прийти на другой день и сдержала свое обещание.

Я продолжал мою работу.

Мальчик сидел хорошо, а тетушка Марья опять много говорила. Но потом начала позевывать и крестить свой рот, а, наконец, и совсем задремала. Тишина настала невозмутимая, продолжавшаяся около часу. Марья спала крепко и даже похрапывала.

Но вдруг она проснулась и стала как-то беспокойно суетиться, ежеминутно спрашивая меня, долго ли я еще их продержу, что им пора, что они опоздают, время-де далеко за полдень и нужно бы давно им быть в дороге.

Поспешив окончить голову, я поблагодарил их за труд, рассчитался с ними и проводил их. Так мы и расстались, довольные друг другом.

Прошло около четырех лет. Я забыл и старушку и мальчика. Картина давно была продана и висела на стене известной в настоящее время галереи г. Т[ретьякова].

Раз в конце страстной недели, возвратившись домой, я узнал, что у меня была два раза какая-то деревенская старуха, долго дожидалась и, не дождавшись, хотела прийти завтра. На другой день, только что я проснулся, мне сказали, что старуха здесь и ждет меня. Я вышел и увидал перед собою маленькую, сгорбленную старушку с большой белой головной повязкой, из-под которой выглядывало маленькое личико, изрезанное мельчайшими морщинками; тонкие губы ее были сухи и как бы завернулись внутрь рта; маленькие глазки глядели грустно.

Лицо ее было мне знакомо: я видел его много раз, видел и на картинах великих живописцев и в жизни. Это была не простая деревенская старушка, каких мы встречаем так много, нет — это было типичное олицетворение беспредельной любви и тихой печали; в нем было что-то среднее между идеальными старушками в картинах Рафаэля и нашими добрыми старыми нянями, которых теперь уже нет на свете, да и вряд ли когда-либо будут им подобные. Она стояла, опираясь на длинную палочку, со спирально вырезанной корой; ее нагольный полушубок был опоясан какою-то тесьмой; веревка от котомки, закинутой на спину, стянула воротник ее полушубка и оголила исхудалую, морщинистую шею; ее неестественной величины лапти были покрыты грязью; все это ветхое, не раз чиненное платье имело какой-то печальный вид, и что-то пришибленное, страдальческое проглядывало во всей ее фигуре.

Я спросил, что ей нужно. Она долго беззвучно шевелила губами, бесцельно суетилась и, наконец, вытащив из кузова яйца, завязанные в платочек, подала их мне, прося убедительно принять подарок и не отказать ей в ее великой просьбе. Тут она сказала мне, что знает меня давно, что года три назад она была у меня и я списывал ее сына, и, насколько умела, даже объяснила, какую я писал картину. Я вспомнил старушку, хотя и трудно было узнать ее: так она постарела в это время! Я спросил ее, что привело ее ко мне? И только я успел произнести этот вопрос, как мгновенно все лицо старушки как будто всколыхнулось, пришло в движение: нос ее нервно задергался, губы задрожали, маленькие глазки часто-часто заморгали и вдруг остановились. Она начала какую-то фразу, долго и неразборчиво произносила одно и то же слово и, видимо, не имела сил досказать этого слова до конца. „Батюшка, сынок-то мой", — начала она чуть ли не в десятый раз, а слезы текли обильно и не давали ей говорить. Они текли и крупными каплями быстро скатывались по ее морщинистому лицу. Я подал ей воды. Она отказалась. Предложил ей сесть — она осталась на ногах и все плакала, утираясь мохнатою полою своего закорузлого полушубка. Наконец, наплакавшись и немного успокоившись, она объяснила мне, что сынок ее, Васенька, прошлый год заболел оспою и умер. Она рассказала мне со всеми подробностями о его тяжкой болезни и страдальческой кончине, о том, как опустили его во сыру землю, а с ним зарыли и все ее утехи и радости. Она не винила меня в его смерти, — нет, на то воля божия, но мне казалось самому, как будто в ее горе отчасти и я виновник. Я заметил, что она так же думала, хотя не говорила. И вот, похоронивши свое дорогое дитя, распродавши весь свой скарб и проработавши зиму, она скопила деньжонок и пришла ко мне с тем, чтобы купить картину, где был списан ее сынок. Она убедительно просила не отказать ей в ее просьбе. Дрожащими руками развязала она платок, где были завернуты ее сиротские деньги, и предложила их мне. Я объяснил ей, что картина теперь не моя и что купить ее нельзя. Она опечалилась и начала просить, нельзя ли ей хоть посмотреть на нее. Я ее обрадовал, сказавши, что посмотреть она может, и назначил ей на другой день отправиться со мной; но она отказалась, говоря, что уже дала обещание страстную субботу, а также и первый день Светлого праздника пробыть у св. угодника Сергия, и, если можно, то придет на другой день Пасхи. В назначенный день она пришла очень рано и все торопила меня идти скорее, чтобы не опоздать. Часов около девяти мы отправились к г. Т[ретьякову]. Там я велел ей подождать, сам пошел к хозяину, чтобы объяснить ему, в чем дело, и, разумеется, немедленно получил от него позволение показать картину. Мы пошли по богато убранным комнатам, увешанным картинами, но она ни на что не обращала внимания. Придя в ту комнату, где висела картина, которую старушка так убедительно просила продать, я предоставил ей самой найти эту картину. Признаюсь, я подумал, что она долго будет искать, а быть может и совсем не найдет дорогие ей черты; тем более это



«Тройка». Ученики-мастеровые везут воду. *1866*

можно было предположить, что картин в этой комнате было очень много. Но я ошибся. Она обвела комнату своим кротким взглядом и стремительно пошла к той картине, где действительно был изображен ее милый Вася. Приблизившись к картине, она остановилась, посмотрела на нее и, всплеснув руками, как-то неестественно вскрикнула: „Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый!“—и с этими словами, как трава, подрезанная взмахом косца, повалилась на пол.

Предупредивши человека, чтобы он оставил в покое старушку, я пошел наверх к хозяину и, пробывши там около часу, вернулся вниз посмотреть, что там происходит. Следующая сцена представилась моим глазам: человек, с влажными глазами, прислонившийся к стене, показал мне на старушку и быстро вышел, а старушка стояла на коленях и молилась на картину. Она молилась горячо и сосредоточенно на изображение ее дорогого и незабвенного сына. Ни мой приход, ни шаги ушедшего слуги не развлекли ее внимания; она ничего не слыхала, забыла обо всем окружающем и только видела перед собой то, чем было полно ее разбитое сердце. Я остановился, не смея помешать ее святой молитве, и, когда мне показалось, что она кончила, подошел к ней и спросил: нагляделась ли она на своего сына? Старушка медленно подняла на меня свои кроткие глаза, и в них было что-то неземное. Они блестели каким-то восторгом матери при нечаянной встрече своего возлюбленного и погибшего сына. Она вопросительно остановила на мне свой взгляд и было ясно, что она меня или не поняла, или не слыхала. Я повторил вопрос, а она тихо прошептала в ответ: „Нельзя ли к нему приложиться“—и показала рукой на изображение. Я объяснил, что этого нельзя, по наклонному положению картины. Тогда она стала просить позволить ей еще насмотреться в последний раз в ее жизни на ее милого Васеньку. Я ушел и, возвратившись с хозяином г.Т[ретьяковым] часа через полтора, увидел ее, как и в первый раз, все в том же положении, на коленях перед картиной. Она нас заметила, и тяжелый вздох, более похожий на стон, вырвался из ее груди. Перекрестившись и поклонившись еще несколько раз до земли, она проговорила: „Прости, мое дорогое дитя, прости, мой милый Васенька!“ —встала и, обернувшись к нам, начала благодарить г. Т[ретьякова] и меня, кланяясь в ноги. Г. Т[ретьяков] дал ей несколько денег. Она взяла и положила их в карман своего полушубка. Мне казалось, что она это сделала бессознательно.

Я со своей стороны обещал написать портрет ее сына и прислать ей в деревню, для чего взял ее адрес. Она опять повалилась в ноги — немало было труда остановить ее от изъявления такой искренней благодарности; но, наконец, она как-то успокоилась и распрощалась. Сходя со двора, она все крестилась и, оборачиваясь, кому-то низко кланялась. Я также простился с г. Т[ретьяковым] и пошел домой. На улице, обгоняя старушку, я посмотрел еще раз на нее: она шла тихо и казалась утомленной; голова ее была опущена на грудь; по временам она разводила руками и о чем-то сама с собой разговаривала.

Через год я исполнил свое обещание и послал ей портрет ее сына, украсивши его вызолоченною рамкою, а, спустя несколько месяцев, получил от нее письмо, где она мне сообщала, что „лик Васеньки повесила к образам и молит бога о его успокоении и моем здравии“. Все письмо от начала до конца состояло из благодарностей.

Вот прошло добрых пять или шесть лет, а и доныне нередко передо мной проносится образ маленькой старушки с ее маленьким личиком, изрезанным морщинками, с тряпицею на голове и с закорузлыми руками, но великой душой.

И эта простая русская женщина в ее убогом наряде становится высоким типом и идеалом материнской любви и смирения.

Жива ли ты теперь, моя горемычная? Если да, то посылаю тебе мой сердечный привет.

А быть может, давно уже она покоится на своем мирном сельском кладбище, испещренном летом цветами, а зимой покрытом непроходимыми сугробами, — рядом со своим возлюбленным сынком Васенькой.

НА НАТУРЕ

ФАННИ ПОД № 30

В БОЛЬНИЦЕ

В 67-м году я писал картину под названием „Утопленница“. Мне понадобилось написать этюд с мертвого молодого женского лица. Я обратился к одному своему приятелю доктору, а он дал мне рекомендательное письмо к другому доктору, служившему в полицейской больнице; этот последний, когда я к нему явился, немедленно повел меня в покойницкую, которая помещалась в саду, довольно далеко от здания больницы.

Нас там встретил старый и, что называется, плюгавый солдатик с шершавыми волосами и усами, росшими в одну сторону, вероятно, от частого утирания носа рукавом. На вопрос доктора: сколько мертвых женщин? Он, как-то комично вытянувшись, отвечал:

— Женщин ни одной нет-с; а только и есть что два, в нынешнюю ночь умершие, арестанта да повесившийся кучер.

— Так вот что, Заверткин! (таково было прозвище солдата). Когда у тебя будут мертвые женщины, то извести вот их (он указал на меня). Им нужно списать, понимаешь?

— Слушаю, ваше благородие!.. А куда прикажете известить?

Я дал Заверткину адрес, и мы расстались.

Дня через четыре или пять Заверткин явился ко мне и „отлепортовал“, что мертвых женщин довольно, а на вопрос мой: „Есть ли молодые?“ — тряхнув головой, ответил:

— Всяких довольно!.. — причем утер рукавом нос.

На другой день я был в больнице. Старый солдатик встретил меня в очень ветхом военном сюртуке, поверх которого был надет закорузлый клеенчатый с нагрудником фартук. Стараясь помочь мне внести шкатулку и другие принадлежности для живописи, солдатик засуетился.

— Пожалуйте сюда!.. все готово!.. — заискивающе говорил он.

Мы вошли сперва в мертвецкий покой. Это была очень большая четырехугольная комната, выкрашенная белой краской, с каменным полом. На стене висела картина, изображающая Снятие со креста, а около нее помещалось очень много больших и маленьких образов. Кругом стен шла сплошная широкая лавка; только в одном углу у двери стоял небольшой деревянный стол, за которым сидела и что-то шила пожилая женщина, одетая чуть не в лохмотья. На полу возились ребятишки.

Заверткин провел меня в смежную комнату, направо. Она была меньше первой. В ней стоял большой четырехугольный стол из серого мрамора с круглым отверстием посередине, и больше мебели не было никакой. Пол был густо усыпан песком, как в цирке. Сюда-то Заверткин внес все мои вещи и, положив их на пол, еще раз сказал: „Пожалуйте!“.

Мы пошли в третью комнату. Чтобы войти в нее, нам нужно было подняться на несколько ступенек. Это была не комната, а скорее пустой полутемный чердак. Оказалось, однако, что это был и не чердак, и не комната, а просто ледник, устроенный так: внизу был ямник, где лежал лед, а над ним дощатый, с большими щелями пол, на который клали трупы, чтобы в летнее жаркое время трупы эти нескоро разлагались.

Осмотревшись, я ясно различил несколько покойников, лежащих рядом и прикрытых простынями.

Заверткин бесцеремонно начал сдергивать с них простыни, приговаривая:

— Эво! Сколько у нас красавиц-то! Выбирайте, ваше благородие, которая вам более подходяща.

Я указал на один труп, показавшийся мне всех моложе.

— Вот эту бы, — сказал я.

— Слушаю! — проговорил Заверткин и, раздвигая ногой покойников направо и налево, прошел к указанному мною трупу. Взяв в охапку, он взвалил, кряхтя, труп на плечо и пошел с ним из ледника, прибавив свое неизбежное: пожалуйте!

Мы вернулись в комнату, где лежали мои вещи.

Заверткин нес свою ношу, как мешок с овсом, и, остановясь, спросил:

— Где прикажете положить?

Я указал. Принагнувшись немного, Заверткин сбросил с плеча со всего

размаха свою ношу на пол. Как-то ткнувшись головой и раскинув крестообразно руки, труп грузно шлепнулся о мягкий песчаный пол. Это был труп молодой исхудалой женщины. Длинная коса ее раскинулась по песку, грудь обнажилась, рубашка завернулась выше колен.

Я взглянул на нее и чуть не вскрикнул от изумления: „Боже мой, да это Фанни!..“.

И действительно, это была она, со своими темно-красными волосами. „О! Фанни! Фанни! Так вот где мне пришлось с тобой встретиться. Бедная женщина!“

Но об этом после.

Наскоро устроившись, с помощью Заверткина, я принялся за работу. Заверткин, повертевшись немного около меня, ушел. Я остался один...

Окно отворено. Кругом сад. В саду так тепло и весело, солнце жжет... Отчего же мне так холодно и жутко... и так болезненно заныло сердце?..

Но я работаю; и чем больше смотрю на покойницу, тем только живее и живее она мне представляется. Точно несколько дней назад мы с ней виделись! Минутами мне даже кажется, что она смотрит на меня и тяжело дышит. Мне становится в эти минуты как-то страшно... А мухи массами так и летают вокруг; поползав по покойнице, они роями перелетают на меня и лезут в рот и глаза... Страшно... и холодно...

Но, слава богу, явился Заверткин, вытирая по обыкновению нос и губы рукавом. От него пахло водкой. Видимо, что он прилично, как говорится, выпил и закусил.

Присевши на мраморный стол, он, улыбаясь, развязно уже обратился ко мне с вопросом:

— А вы изволите все трудиться?

И тут же как бы в заключение вопроса вытащил табакерку и с остервенением понюхал табаку.

— Да, работаю... А скажите, пожалуйста, вы давно здесь служите? — спросил я его.

— Давненько-с, ваше благородие! Лет двадцать, почесь, будет!

— Где же вы живете?

— Как, где живу? — переспросил он.

— Ну-да! Где ваша квартира?

— А вот... тут рядом. Вы проходили ейной.

— И вам не страшно?

Понюхав опять табаку и ехидно засмеявшись, Заверткин ответил:

— Страшно?.. Вона! Пора пройтить страху... По мне теперича все едино: что живой, что мертвый... Да живого-то еще больше нужно опасаться! — добавил Заверткин внушительно.—А то страшно!.. Вы верите ли, ваше благородие?.. Грешный человек! Иной раз не в меру выпить случится... баба ругается... ну, и уйдешь от нее на ледник, где мы с вами были, раздвинешь приятелей-то, да и заляжешь в середку... и такую-то задашь высыпку...

Там, знаете, и прохладно, и муха не тревожит... А то страшно!.. Нам ведь нельзя бояться, потому мы завсегда с ними.

И он указал рукой на труп Фанни, раскинувшийся точно от жары и истомы.

— Что это у нее за ярлык привязан к руке? — спросил я, заметив бляху на руке Фанни.

Заверткин с каким-то презрением скосил глаза на покойницу и отвечал:

— Это значит, гулящая... Ведь они словно оглашенные: ни отчества, ни прозвища не имеют... Кладут их в больницу просто: Дарья, либо Марья под таким-то номерком. А эта...

И он слез со стола, наклонился над трупом и, посмотрев на жестяную бляху, сказал:

— А эта — Фенька под № 30...

Становилось темно. Пора было кончать работу.

— Прикажете ее убрать? — осведомился Заверткин.

Я попросил не убирать и если можно оставить все так, как есть, до завтра.

— Слушаю-с! Можно и так оставить... Вот только, как бы ее крысы не попортили... Уж очень много у нас развелось их, проклятых!

И Заверткин, из предосторожности, снял свой заскорузлый фартук и накрыл им покойницу.

На другой день я приехал рано. На мраморном столе, где вчера сидел Заверткин, лежал теперь труп мужчины, покрытый чистой простыней. Только что я уселся работать, как вошел знакомый доктор и просил меня выйти, объясняя, что нужно анатомировать труп.

— Вам неприятно ведь будет это видеть, — добавил он как бы в свое оправдание.

Я вышел. Навстречу мне попались еще два доктора, а с ними, суетясь и забегая вперед, семенил Заверткин.

Не прошло и получаса, как я опять сидел за работой. Труп по-прежнему лежал закрытый на столе. Только под столом явился большой медный таз, куда, шлепая тяжелыми каплями, стекало что-то, походящее на кровь.

Через несколько времени доктора снова вернулись, но в сопровождении уже главного доктора. Заверткин быстро сдернул простыню с покойника.

Главный доктор, высокий, полный, на вид гордый мужчина, прежде всего подошел ко мне. Молча посмотрел он на меня, потом на мою работу и, не проронив ни слова, отвернулся и подошел к трупу.

Старший ординатор, маленький, тщедушный, в очках и с измятым лицом, точно невыспавшийся, как-то вяло и нехотя сообщил о результате вскрытия мозга покойника.

— А сердце?

— И сердце тоже! — отвечал ординатор по-латыни.

— Гм!.. — промычал главный доктор и, обратясь к Заверткину, сказал: — Ну-ка, брат, достань сердце.

Заверткин засучил рукава и обеими руками влез во внутренности покойника. Порывшись там, он что-то вытащил, и это „что-то" браво поднес на ладони главному доктору.

Ах, какое противное показалось мне на вид сердце человеческое!

Доктор велел его порезать.

Заверткин схватил нож и начал по нем пиликать. Я слышал какой-то неприятный и скрипящий звук.

— Что? — спросил главный доктор. — Скрипит?

— Скрипит, ваше превосходительство!

— Ну, хорошо! — и, обратясь к докторам, он стал им что-то говорить, выходя в то же время за дверь.

Заверткин торопливо сунул сердце внутрь покойника, закрыл покойника простыней и бросился затем догонять докторов. Мне хотелось как можно скорее кончить этюд; но, к несчастью, разболелась голова, и этюда я не дописал.

Проходя через комнату, где жил Заверткин, я увидел на широкой лавке пустой желтый гроб. За столом пожилая женщина и дети хлебали щи из большой деревянной чашки.

Посмотревши на эту картину, я уже совсем выходил из мертвецкой, как вдруг, навстречу мне, в дверях показалась толстая „мамаша" (это была хозяйка известного сорта девиц, которую все они зовут обыкновенно „мамашей"). Я сразу узнал ее. Она вошла, грузно переваливаясь; за ней шли девицы; одна из них несла большой узел.

Заверткин, завидев „мамашу", заегозил и засуетился. Он подал „мамаше" стул, на который, отдуваясь и вздыхая, она устало опустилась. Заверткин сбегал сейчас же за другим солдатом, — худым и высоким, — и оба они бережно вынесли на простыне и положили на пол, около пустого гроба, тело Фанни. Когда солдаты вносили ее, „мамаша" встала и начала плакать, а девицы все бросились к телу и стали крепко-крепко целовать Фанни в холодный лоб, в посинелые губы и в поблекшие щеки, заливаясь при этом горькими слезами.

Наплакавшись и нацеловавшись, они вынули из узла вещи и приступили к одеванию. Покойницу, чтоб удобнее было одевать, посадили... голова ее скатилась на грудь. Заверткин стал сзади на колени и поддерживал на бок валившийся труп. После долгой возни, платье было надето. Девицы расчесали затем темно-красные волосы бедной Фанни, и все, разом подняв ее с пола, положили в гроб, где уже начали охорашивать и убирать голову цветами.

„Мамаша" отошла и села на стул, который быстрым движением успел подать ей Заверткин.

Я подошел к „мамаше" и спросил, долго ли была больна Фанни?

„Мамаша", как бы обрадовавшись, взглянула на меня...

— А вы разве знали ее?

— Да знал! — и я припомнил ей мое посещение, о котором расскажу несколько далее.

— А ведь хорошая была девушка Фанни! — сказал я.

„Мамаша“ пустилась ее расхваливать.

— Ах, какая была хорошая!.. — заговорила она печальным голосом, вытирая платком свои заплывшие жиром глаза. — Безответная была девица!.. Таких немного... Она у меня давно жила... И я не раз замечала, что она болеет. Бывало спросишь ее: „Фанни! Ты больна?“. — Нет! — говорит, — ничего, „мамаша“! — А вот тебе и ничего!.. Скрытная была девушка... И верите ли! Дня три тому назад она была такая веселая весь вечер... все пела и пила портер с гостями... А на утро, как полоумная, вбежала и разбудила одну из девиц. Бросившись к ней на постель и схватив ее за руки, она с трудом, точно захлебываясь, застонала: „Ох! Боже мой!.. Господи!.. Как мне тяжко!!“. И вдруг у нее хлынула кровь горлом... Девица испугалась, закричала, подняла гвалт, — страсти господни!.. А Фанни лежит на постели, а из нее так и хлещет, так и хлещет... Мы и то и се... Со страху-то ничего не найдем, да и что сделать — не знаем... Но, слава богу, кровь поунялась немножко, а как она пришла в чувство, тогда мы ее поскорей на извозчика, да и в больницу. Нам в доме-то не позволяют, да и негде держать больных... Так мы ее и отправили. Дорогой-то опять пошла кровь, и уж как довезли до больницы, право, не знаю... А к вечеру того же дня она и скончалась в больнице... Ах! Как жаль бедную!.. Какая была хорошая девица!.. И как ее любили гости! Верите ли, нарасхват была она...

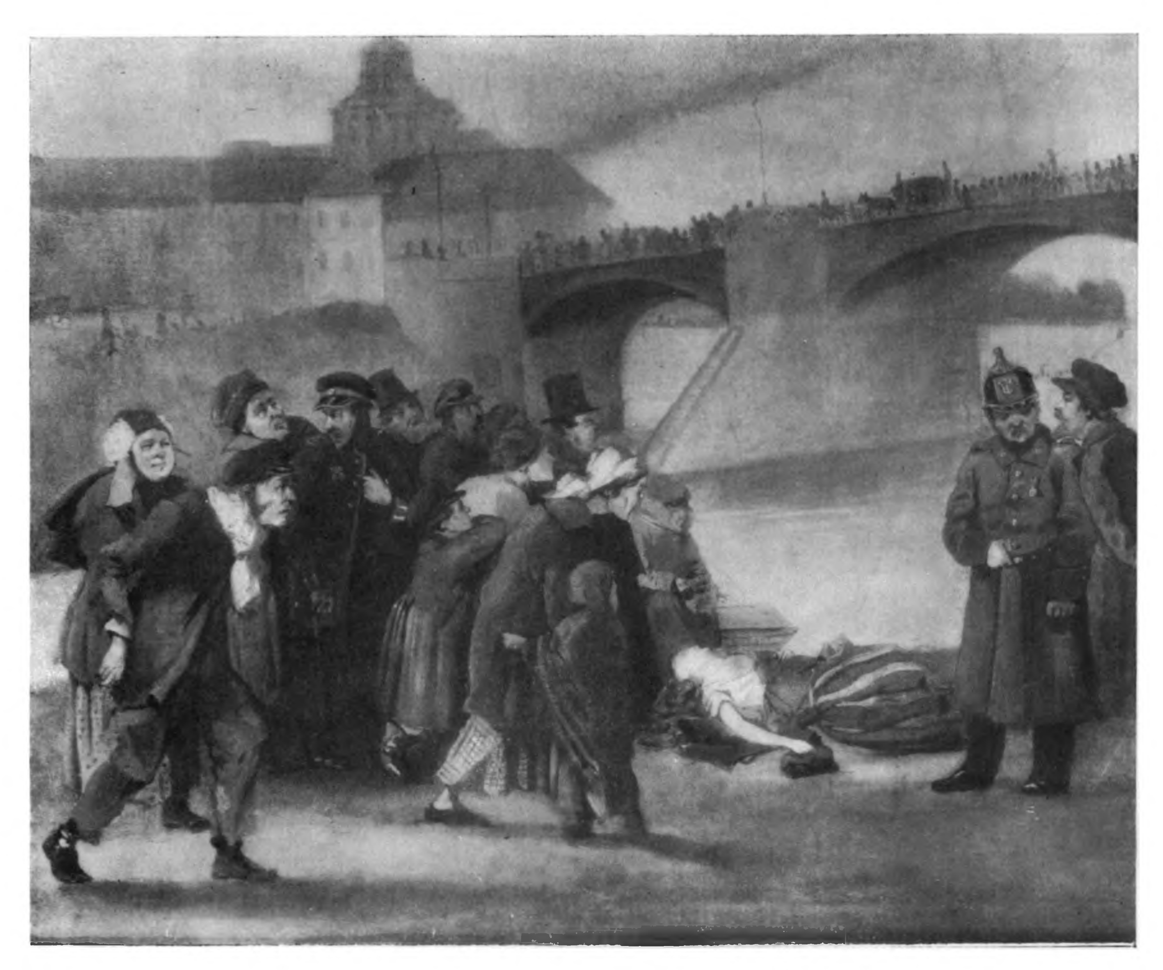
„Мамаша“ замолкла, склонив печально голову. Она искренне сожалела Фанни!.. Да и как было не сожалеть: ведь Фанни приносила такой хороший доход!..

А труп Фанни лежал, уже убранный цветами и покрытый белым кисейным саваном. На груди ее, у связанных какой-то тесемкой рук, вместо образа, лежал жестяной ярлык с № 30.

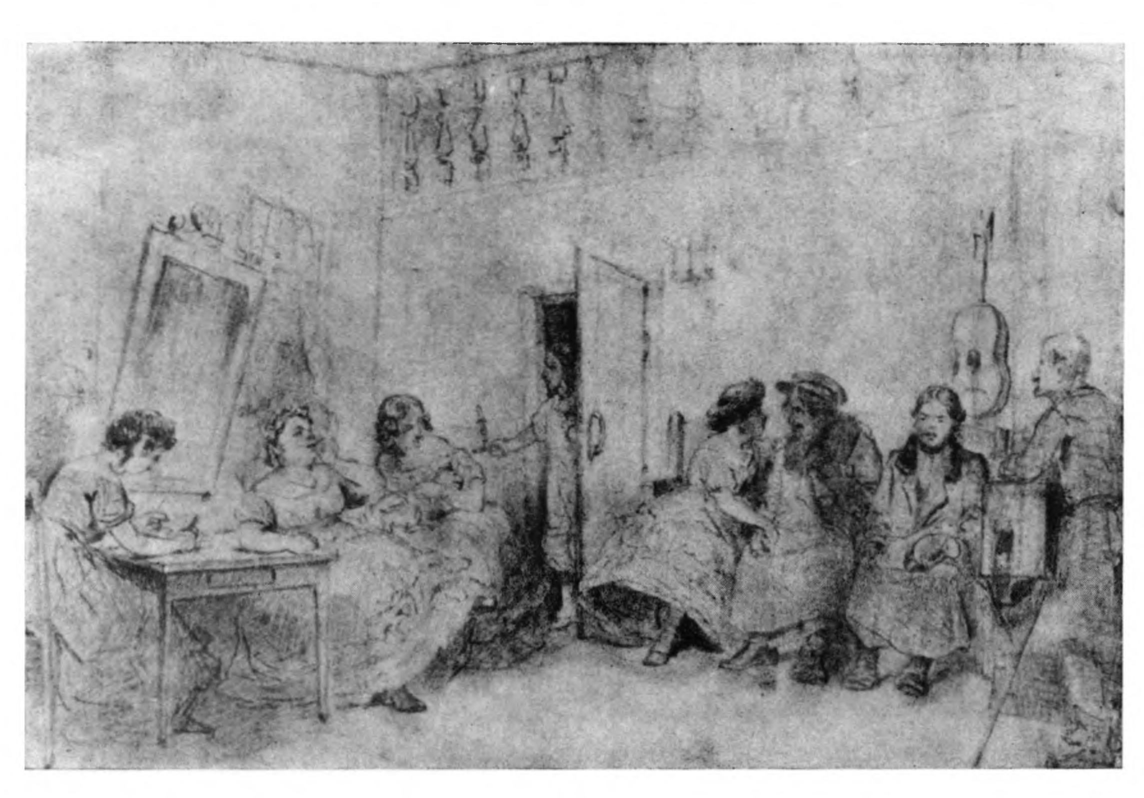
В мертвецком покое все было тихо. Ребятишки с пожилой женщиной доедали гречневую кашу и, набивая ею большие рты, посматривали на всех нас исподлобья. Я взял свой этюдник и ушел...

Нечего и говорить, что жизнь Фанни была порочна и презренна и что она, как говорится, падшая тварь. Даже солдат Заверткин и тот дал ей надлежащую оценку. Но я прошу у читателей снисхождения, хотя во имя одного высокого момента, бывшего в жизни Фанни. Этот момент и то сердечное сокрушение, о котором я расскажу вам, возвысили эту падшую до евангельской блудницы, спрошенной Спасителем: „Жено! Где твои обвинители?..“.

Для ясности рассказа нам нужно будет вернуться на несколько лет назад.



Первый вариант картины «Утопленница»



Увеселительное заведение. *1865*

В УЧИЛИЩЕ

Учитель наш, Егор Яковлевич Васильев, был человек исключительный. Высокой честности, ангельской доброты и кротости, всеми любимый и всеми уважаемый, он, поистине, был человек не от мира сего. Некто, знавший его, г. Э., говаривал не раз нам, ученикам его: „Знаете что, господа, сей ветхозаветный муж (т. е. Егор Яковлевич) вылеплен из того материала, из которого лепят ангелов божиих". — И это была правда. Чтобы дать более ясное понятие о его доброте, я расскажу вам один эпизод из его жизни.

Егор Яковлевич, помимо того что был учителем в Училище живописи и ваяния, где и я учился в то время, давал также уроки рисования в Архитектурном училище, которое было тогда самостоятельным заведением и помещалось в Кремле. Там вместе с ним учительствовал некто г. Ястребов. Был ли он школьный товарищ Егора Яковлевича или только его сослуживец и знакомый, право, не знаю. Преподавателем же г. Ястребов был очень давно, так что до пенсии ему оставалось прослужить лет восемь, или около того. И он, конечно, мечтал об этом блаженном времени, как всякий служащий на коронной службе.

Но увы! Судьба подшутила над ним. Он заболел глазами и начал быстро слепнуть. Вследствие этого он не мог продолжать своей службы и вместе с тем не только должен был потерять надежду на выслугу пенсии, но оказался даже не в состоянии зарабатывать себе кусок насущного хлеба. Семья у него была громадная. Можете судить, каково было его положение!

Егор Яковлевич, переговоривши предварительно с г. Ястребовым, в один прекрасный день явился к директору Архитектурного училища и предложил давать уроки за г. Ястребова, но только с тем, чтобы последний продолжал числиться на службе.

К счастью, директор был хороший человек и изъявил полное согласие. И вот Егор Яковлевич три раза в неделю ходил пешком, невзирая ни на какую погоду, давать уроки за своего сослуживца. А тот, пока еще не совсем ослеп, каждое первое число являлся получать жалованье.

Мне случалось слышать рассказы о людях, таких добрых и сострадательных, что, при виде непокрытой бедности, они готовы были отдать последнюю копейку. Я также понимаю, что в минуту сердечного порыва весьма возможно раздать все что имеешь. Но, воля ваша, отказываюсь от такого высокого подвига: ходить неустанно за товарища давать уроки три раза в неделю, никогда ими не манкируя, и делать это в продолжение — не мало не много—восьми лет, никогда и никому не заикнувшись об этом...

И это еще не все. По прошествии восьми лет совсем ослепнувший г. Ястребов умер. Конечно, уроки покойного были предложены Егору Яковлевичу. Но он, несмотря на то, что постоянно нуждался в деньгах, отказался от них и просил предоставить эти уроки другому своему со-

служивцу, у которого так же, как и у г. Ястребова, было большое и нуждающееся семейство.

Так вот какой был человек наш учитель Егор Яковлевич!

С виду он был маленький, кругленький, с плешью, как изображают католических святых, всегда чисто выбритый, с черными, быстро бегающими, до бесконечности добрыми глазами, в которых, помимо доброты, выражался какой-то страх: точно он все боялся, как бы кого не обидеть, как бы не сделать кому какой-нибудь неловкости, или не просмотреть нуждающегося человека.

Егор Яковлевич учился в Академии художеств, когда там еще были казенные пенсионеры, и получил малую золотую медаль за живопись. Но на большую медаль не кончил своей программы: „Давид отсекает голову Голиафу". Эта неоконченная программа так и стояла всю его жизнь в мастерской. Когда он еще работал над ней, как-то раз он пригласил к себе Карла Павловича Брюллова. Брюллов нашел, что Давид, по приданной ему позе, очень похож на императора Павла Петровича, и своей, смелой до дерзости, рукой перечертил ему мелом всю фигуру Давида. Егор Яковлевич смиренно обвел черты божественного Брюллова белой краской, да тем и кончил.

Итак, Егор Яковлевич был исторический живописец, воспитанный в школе Егорова, Шебуева и отца знаменитого Иванова, который и был его учителем. Следовательно, он был строгий классик, даже немного рутинный классик. Работал он очень медленно, но усердно, и за работой почти никогда не покидал своей трубки на длинном чубуке.

Я как теперь его вижу постоянно напевающим свою любимую песню „Оседлаю коня, коня быстрого" и сидящим сгорбленным, в синем академическом форменном сюртуке, с лирой на пуговицах, и в чепчике из зеленой клеенки, который он носил от ревматизма. Не бывши никогда женатым, он называл себя женихом божией матери, на том основании, что все старые девы считаются христовыми невестами.

Раз предложили ему написать на стене алтаря колоссальный запрестольный образ, который, кажется, назывался: Трех Радостей. Егор Яковлевич с большой готовностью, конечно, принял этот заказ и засел за сочинение эскиза в новом роде. Целые ночи просиживались им напролет, и, наконец, эскиз был готов. Матерь божию он изобразил стоящею прямо перед зрителем, с распростертыми кверху руками; по бокам ее четыре евангелиста, а вверху летающие ангелы.

Заказчику очень понравился эскиз. Дело было слажено, и нужно было приступить к исполнению, то есть нарисовать все фигуры голыми с натуры под драпировки, написать этюды, нарисовать картоны и проч., и проч.

Я уже сказал, что Егор Яковлевич работал медленно, а потому вся эта процедура продолжалась очень долго.

Раз он подозвал меня к себе и сказал:

— Знаете что, В[асилий] Г[ригорьевич] (он всех учеников своих звал

по имени и отчеству), не знаю как быть-с! („с“ была неизбежная частица его речи). Нарисовал я с натурщика, Тимофея, фигуру божией матери. Да все это не хорошо... не то-с!.. Нет ни пропорции, ни формы! Нужно было бы прорисовать ее с хорошей женской фигуры-с!

— Конечно, это было бы очень хорошо,—отвечал я,— но где ее добыть?

— Да, — продолжал Егор Яковлевич, — у нас в Петербурге еще кое-как можно достать, а здесь... — и он развел руками, — очень, очень трудно!

Егор Яковлевич, покуривая свою трубку, задумался.

— А знаете что, — заговорил он с оживлением. — Попробовать бы сходить в дома терпимости. Быть может, и найдется там что-нибудь подходящее.

И он, видимо, обрадовался своей мысли и, затянувшись всласть жуковым, продолжал:

— Так вот что-с! Пойдемте-ка ужо, вечерком, поищемте... А днем-то они все спят-с...

Я, конечно, изъявил полную готовность, и мы решили вечером отправиться.

Часов в восемь я и Егор Яковлевич, в фуражке с кокардой, с тростью в виде костыля, сгорбленный, на вид очень древний, хотя ему было только пятьдесят лет, отправились на поиски натурщицы. Пришли мы прямо в известный в Москве переулок, изобилующий вышеупомянутыми домами, и вошли в первый, который был освещен. Нас обдало каким-то запахом сырости и затхлости, тяжелым и давящим.

„Запор“ (так зовут прислугу в этих домах), колоссальных размеров, свирепый на вид, с усами, точно из проволоки, помог нам раздеться. Мы разделись и вошли в большую залу. На первое впечатление она показалась нам наполненною цветами: кругом всех стен сидели девицы, одетые в платья всевозможных ярких цветов, преимущественно легких, чуть не газовых материй. Некоторые, положив голову на руку, тоскливо смотрели в темное окно; другие гадали на засаленных картах, раскладывая их на коленях; а иные сидели, как куклы в игрушечном магазине, и также смотрели бессмысленно по сторонам. Прически и разные другие украшения ясно говорили о тщательной заботе к вечеру. Но лица в большинстве казались не интересны: многие были не первой молодости и, несмотря на толстый слой румян и белил, в них виделось истощение и усталость.

Зала была освещена несколькими канделябрами. В одном углу помещался треснувший рояль. При нашем появлении в залу вышел какой-то старичок, с очень длинной шеей, — сам худой, высокий и почти с голым черепом. Усевшись за рояль, он начал наигрывать прелюдии из какой-то кадрили.

Девицы оживились.

Егор Яковлевич вошел в залу очень сконфуженно и, остановясь посреди ее, начал раскланиваться направо и налево со всеми девицами. Последние с недоумением смотрели на его старческую, смиренную фигуру, а он все стоял и раскланивался.

Некоторые из девиц начали бесцеремонно хохотать, а одна, подскочив к нему и взяв его за руку, залепетала щепеляво: „Дуска! Ми-енький! Прикажите сыграть кадриль. Мы с вами потансуем“.

Егор Яковлевич совсем растерялся и бормотал, кланяясь: — Я-с... помилуйте-с... Вы-с...

Девицы окружили нас, и все они хохотали.

Желая как-нибудь прекратить эту сцену, я обратился к одной из хохочущих, почти старухе, которая, смеясь, показывала свои совсем черные и гнилые зубы, и объяснил ей, что нам нужно видеть хозяйку. При слове „хозяйка“ девицы присмирели и стали шептать одна другой: „Они пришли к „мамаше“. Ступайте скажите ей!“.

Несколько девиц бросились докладывать.

Мы стояли, точно пленники, поглядывая на окружающих, а они, в свою очередь, осматривали нас. Даже музыкант вытянул свою длинную шею и не сводил глаз с Егора Яковлевича.

В залу вошла, наконец, переваливаясь из стороны в сторону, как утка, очень тучная, но еще далеко не старая брюнетка (о которой я говорил раньше), с красивыми чертами лица, одетая нарядно, но во все черное.

— Что вам угодно? — обратилась она к Егору Яковлевичу, глядя на него испуганно.

Он начал раскланиваться, говоря:

— У меня до вас покорнейшая просьба-с. Мне бы хотелось переговорить с вами об одном деле-с.

— Пожалуйте сюда! — сказала „мамаша“ и повела нас в боковую комнату, которая была уставлена мягкой мебелью с круглым столом посредине.

Опустясь грузно на один из диванов, „мамаша“ пригласила сесть и Егора Яковлевича.

— Что же вам угодно? — начала „мамаша“, смотря вниз и кокетливо перебирая пальцами массивную цепочку.

Егор Яковлевич принялся объяснять, что ему нужно. Конфузился, путал и, прибавляя иностранные и технические слова, еще более затемнял ими свою речь. А „мамаша“ сидела, смотрела на него во все глаза, и было ясно видно, что она ничего не понимает. Егор же Яковлевич, разводя рукой по воздуху, старался выяснить, в чем дело.

— Изволите видеть, — говорил он, — я художник-с... и мне до крайности нужна модель, чтобы нарисовать с натуры-с... Но чрезвычайно трудно, здесь, в Москве, найти натурщицу, а тем более у которой бы были хорошие формы-с... Вот я и прошу вас...

Но „мамаша“ сразу обрезала Егора Яковлевича: — Извините, господин, право, я вас совсем не понимаю! Что вы такое говорите?

Тогда мы оба, перебивая друг друга, принялись объяснять ей, что нам нужно. После немалых трудов мы достигли кажется того, что „мамаша“ хотя и не поняла вполне в чем дело, но догадалась, что нам нужно взять из ее заведения одну из девиц, которую мы выберем, для того, чтобы

написать с нее портрет, за что она „мамаша" и получит по уговору плату. „Мамаша" на это заявила, что хотя она и отпускает девиц с гостями, но не иначе, как со знакомыми.

После долгих просьб, уверений и всего прочего, она спросила наконец:

— Какую же вам нужно девицу?

— А вот-с... там мы видели одну девицу, в голубом платье-с, с венком из белых цветов на голове-с... — сказал Егор Яковлевич.

— А... — протянула „мамаша". — Это Фанни! — И она сейчас же кликнула Фанни.

Тут уже все и даже „мамаша" начали растолковывать Фанни, чего мы от нее хотим. Фанни, сверх ожидания, поняла скоро и хотя сконфузилась, но не отказалась приехать, предоставляя решить это „мамаше". „Мамаша", бесцеремонно объявив Егору Яковлевичу цену, добавила: „А ей вы должны сверх того дать что-нибудь на помаду".

Так было и решено, что Фанни приедет по оставленному ей адресу в мастерскую Егора Яковлевича.

На другой день, около полудня, явилась Фанни. Она вошла скромно, даже робко, напоминая только отчасти „погибшее, но милое создание". Днем она выглядела хуже, чем вечером, но ростом казалась выше. Личность ее была самая обыкновенная, только темно-красные волосы, вроде как у тициановской Магдалины, бросались в глаза. Лет ей, по виду, было с чем-нибудь двадцать.

Егор Яковлевич встретил ее чуть не с распростертыми объятиями и, усадив к столу, сейчас же начал угощать чаем, упрашивая при этом скушать булочку и беспрестанно повторяя: „Ах! Как я вам благодарен!".

Чай был кончен. Настало время приступить к работе. Вот тут-то и явилось важное затруднение. Нужно было объяснить Фанни, что она должна совсем раздеться, то есть остаться без сорочки и стать в ту позу, в которую ее поставят. Нельзя не признать, что это тяжелый шаг для всякой женщины, и мне кажется, легче окунуться в самую холодную воду, чем стать перед художником с обнаженным телом.

Но Фанни в этом случае не оказалась особенно щепетильною. Выслушав спокойно сбивчивое объяснение Егора Яковлевича, она, нисколько не жеманясь, влезла на взгроможденные одна на другую табуретки, спустила платье, а затем и сорочку. Егор Яковлевич попросил ее поднять руки, поправил следки, то есть оконечности ног, и принялся рисовать.

Фанни стояла спокойно. В положении ее тела чувствовалось изящество. Сложена она была хорошо.

Егор Яковлевич рисовал с увлечением, даже не курил своей трубочки.

Наступила пора и отдохнуть. Фанни сошла с табуреток. Надевши сорочку и окутавшись большим клетчатым платком, она села с босыми ногами в угол дивана и совсем съежилась. Егор Яковлевич закурил трубочку. Подсевши к ней очень деликатно и осторожно, он начал беседовать с нею,

не касаясь ни одним словом до ее настоящей и прошедшей жизни. Она оказалась девушкой очень не глупой и довольно развитой.

После непродолжительного отдыха Фанни взобралась на табуретки и снова приняла данную ей позу, а Егор Яковлевич стал опять работать.

Так прошел первый сеанс, по окончании которого Егор Яковлевич отдал назначенные ее „мамашей“ деньги и сверх того дал ей на „помаду“.

Фанни осталась довольна, особенно тем, что с ней обходились не как с погибшим созданием, но как с девушкой, имеющей право на уважение. Проводив ее до самой двери и крепко пожав руку, Егор Яковлевич просил ее прийти на другой день.

На следующий день она опять позировала; но на третий сеанс случился именно тот казус, по поводу которого я и написал весь этот рассказ.

Было это так. В назначенный день Фанни явилась и по обыкновению взобралась на свои табуретки. Рисование началось обычным порядком. В минуты отдыха она садилась с голыми ногами, окутанная платком, в угол дивана, а Егор Яковлевич, запаливши трубочку, заводил с ней беседу. Говоря о том о сем, Фанни между прочим спросила:

— Скажите, пожалуйста, Егор Яковлевич, что такое вы с меня рисуете? То есть, что это такое у вас будет?

— Это я рисую для образа, — пустился объяснять Егор Яковлевич.— Извольте видеть-с. Мне заказали большой образ — Трех Радостей, который будет написан на стене, за престолом, в церкви, что на Покровке-с. Божию матерь я думаю изобразить окруженною святыми евангелистами и летающими вокруг нее ангелами-с.

По мере рассказа, лицо Фанни все как будто удлинялось, а глаза расширялись.

— Она-с, то есть божия матерь, — продолжал Егор Яковлевич, — будет стоять прямо перед престолом, не с предвечным младенцем, а так, просто одна-с, с распростертыми кверху руками и со взором, устремленным на небеса.

Когда Егор Яковлевич кончил свое объяснение, Фанни дрожащим от волнения голосом спросила:

— А кого же вы с меня-то делаете?

— Егор Яковлевич с добродушной улыбкой отвечал:

— С вас-то-с?.. А вот... с вас-то именно я и изображаю божию матерь-с...

При этих словах Фанни как будто превратилась в мраморную статую страха. Глаза ее точно хотели выкатиться из орбит, рот открылся, и она смотрела в упор на Егора Яковлевича, близко придвинув к нему помертвелое свое лицо. Несколько секунд длилась эта безмолвная сцена. Наконец, Фанни хрипло, точно с трудом выпуская звук за звуком, почти шепотом, заговорила:

— С меня... С меня... матерь... бо-жию!!!... Да вы с ума сошли, что ли?!...

Егор Яковлевич растерялся и молча смотрел на нее, а Фанни продолжала шептать:

— С меня... матерь... божию!!...

И точно электрический ток пробежал по Фанни, — она вскочила с дивана и, наклонясь затем всем телом над Егором Яковлевичем, а руки откинувши назад, как бы собираясь бить испуганного художника, заговорила порывисто:

— С меня... матерь... божию!.. Да ведь вы знаете кто я такая!!... Ведь вы знаете, откуда вы меня взяли... И с меня, погибшей, презренной и развратной женщины, которой нет спасения!.. И с меня изображать лик пречистой девы Марии... ма-те-ри... бо-жией!!... Нет! Это невозможно!.. Ведь это безумно!!.. О! Я проклятая... проклятая!!!... — простонала тоскливо Фанни, как лопнувшая, не в меру натянутая струна, и, закрыв лицо руками, всею своею тяжестью она упала на диван и горько-горько зарыдала.

Егор Яковлевич до того растерялся, что не знал, что делать. А она рыдала и рыдала, и круглое тело ее заколыхалось, точно качаемое волной.

Я прожил на свете немало. Много видал слез и разных проявлений людского горя. Но таких истерических слез и такого глубокого впечатления от рыданий никогда не испытывал. Это были не простые рыдания женщины, даже не скорбные рыдания матери... Нет! Это были какие-то стихийные рыдания, слушая которые, волосы на голове становились дыбом!

Платок, в который она была закутана, валялся на полу. Темно-красные волосы ее рассыпались и повисли длинными прядями с дивана... А она все рыдала..., и рыдала неудержимо: точно горе, накопившееся в ней годами, прорвало преграду и, хлынувши, сразу затопило ее.

О! Как это описание мое бледно и жалко сравнительно с действительностью!!! У меня не хватает ни умения, ни силы слова, чтобы хоть приблизительно передать этот, душу раздирающий вопль, это отчаяние сознавшей свою погибшую жизнь, великой грешницы!!...

Но вот она стала как бы успокаиваться, рыдания становились тише и тише.

Наконец, она быстро приподнялась, села на диван и стала смотреть на нас как помешанная.

И это не удивительно! От таких потрясающих рыданий, мне кажется, можно не только сойти с ума, но даже и задохнуться.

Егор Яковлевич подошел к ней, держа в дрожащей руке стакан воды и сам чуть не плача, заговорил так ласково, точно само милосердие произносило слова его:

— Фанни! Фанни! Что с вами-с? Послушайте меня!.. успокойтесь!.. выпейте воды!..

А она сидела, не шевеля ни одним мускулом. Затем, как будто что-то вспомнив, вдруг встала и, ни на кого не глядя, как была босая, в одной рубашке, пошла к двери. Мы ее удержали и хотели опять было посадить на диван, но она грубо нас оттолкнула и, подойдя к тому месту, где лежало ее платье, порывисто начала одеваться. Руки ее дрожали: не скоро она

могла застегнуть крючки и завязать тесемки. Чулки надела наизнанку, шляпу набок и, быстро подобрав под нее свои густые волосы, не говоря ни слова, опять пошла к двери.

Егор Яковлевич остановил было ее и с ласкою любящего отца заговорил:

— Фанни! Да за что же вы сердитесь?

Но Фанни изумленно взглянула на него.

— Зачем вы уходите-с?.. И даже не хотите проститься!.. Возьмите, по крайней мере, деньги, которые вам следует за сеанс.

И он протянул ей руку с деньгами.

Фанни отвела его руку и с горько презрительной усмешкой прошептала: „Нет!.. Не надо мне ничего вашего... О! Если б я знала!!...“ И затем, закинув назад голову, так что свалилась было шляпа, она злобно взглянула на Егора Яковлевича и, как-то шипя, чуть не скрежеща зубами, проговорила с расстановкой:

— Да! Если б я знала, для чего вы меня позвали, я не взяла бы с вас не только ваших проклятых денег, но даже и того, чем вы на меня глядите!!!...

И она чуть не в самые глаза ткнула ему пальцем и, повернувшись как исступленная, быстро выбежала из комнаты.

А Егор Яковлевич так и остался у двери с сокрушенно растерянным видом и с протянутой рукой, в которой держал отвергнутые Фанни деньги.

Утопленница. *1867*

НЕЧТО О ПОРТРЕТНОМ СХОДСТВЕ

ДВА АНЕКДОТА

Молодой художник, только что получивший серебряную медаль за живопись, приехал в деревню к своему отцу, который был управляющим при большом имении. Личность отца художника была очень типична и характерна: он походил на цыгана; был высокого роста и очень тучный, с черной, густой, окладистой бородой и с такими же черными, кудрявыми и лохматыми волосами. Немедленно по приезде своем сын принялся писать с него портрет, который вскоре был готов. Раз в передней комнате их дома собралось деревенское начальство как-то: бурмистр, староста, сотский и прочие власти. Они явились получить приказания на завтрашние работы, так как на другой день начинался покос.

Молодой художник, желая похвастаться перед ними своей удачной работой, вынес им показать изображение своего родителя. Поставив его к стене, на пол, он спросил их: „Ну что, братцы, похож ли портрет?". Все пришли в восторг, даже в изумление, говоря: „Вот так портрет! Ну, словно живой. Только что слова не вымолвит. Ах, ребята, вот-то похоже", — и они близко рассматривали портрет со всех сторон, даже щупали его.

„Ну, а скажите-ка мне, с кого он написан?" — спросил художник,

вполне уверенный в разительном сходстве портрета. „Как с кого написан? — заговорили присутствующие хором. — Эва! Что вздумал спрашивать, с кого написан. Уж, вестимо, с кого: с твоей болезной маменьки, Татьяны Дмитриевны“ (которая, сказать кстати, была худа, как щепка, и постоянно больна).

Сконфуженно взял портретист свое произведение и, не говоря ни слова, торопливо унес его.

Один художник, находясь в большом обществе где-то в провинциальном городе, рассказывал с большим увлечением о Петербурге, о картинах, которые бывают на выставках в Академии художеств, и, между прочим, прибавил: „И об моих картинах, которые там были выставлены, тоже много писали лестного в разных газетах. Даже в одной...“ — „Позвольте, почтенный, — перебил его уже выпивший порядком богатый и толстый подрядчик, бывший в числе гостей. — Полноте вы передо всеми хвастаться, — заговорил он с насмешкой, лукаво прищуря свой плутовской глаз. — Эка важность, что об вас печатали в газетах. Вы думаете, что об вас одних только пишут в них. Нет, уж, извините. Меня вот тоже раза три пропечатали за плохой кирпич, а я не только не хвастаюсь, но даже стараюсь забыть об этом. Вот что-с“, — добавил он торжественно и вполне серьезно.

Все захохотали, а бедный художник сконфуженно склонил свою голову и замолк.

АНЕКДОТ

Некто г. Н., большой любитель искусства и древних вещей, приехал раз к одной помещице в ее имение. Старушка-помещица, показывая ему разные разности, обратила его внимание на образ св. Харлампия. Господину Н. показалось странным, что святой изображен в бараньей шапке, а потому он и попросил снять образ, чтобы рассмотреть его. Старушка исполнила его желание.

„Послушайте, сударыня, — сказал г. Н., обращаясь к помещице, — какой же это св. Харлампий? Это просто-напросто известный вор и разбойник Емельян Пугачев, о чем и свидетельствует внизу. Вот посмотрите сами!"

Старушка была чрезвычайно удивлена этим открытием. Но спустя минуту совсем рассердилась, задула немедленно все лампадки, проговорив раздраженно: „Ах, подлая его душа! А ведь сколько, если бы вы знали чудес-то он творил, проклятый каторжник!" — и тут же приказала выбросить на чердак изображение мнимого святого.

КАЛАМБУР

Как-то раз в обществе художников один из них подошел к другому и сказал:

„Вот что, г. Т., вы, как я слышал, известный каламбурист. А потому скажите что-нибудь попикантнее по поводу этой царапины, которую я получил нынче от кота, заставляя его позировать для своей картины“.

„Извольте, я скажу, — отвечает Т. — Но только вы не обидитесь?“ — „Нисколько, уверяю вас. Говорите все, что вам вздумается“. — „В таком случае, — отвечал Т., — я дам вам самый простой совет: не быть скотом“.

НЕЧТО ВРОДЕ ЛЕГЕНДЫ О ПОРТРЕТЕ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВИЧА МЕНШИКОВА

В конце шестидесятых годов жил и скончался в Москве некто г. Юни. Он имел довольно большое собрание картин и разных древних вещей. Во время продолжительной и тяжкой болезни г. Юни его пользовал мой хороший приятель доктор М-в. Но, несмотря на неусыпные попечения доктора о больном, несмотря на частые консилиумы с знаменитыми врачами Москвы, г. Юни все-таки умер.

Вдова умершего, по расстроившимся средствам со смертию мужа, предложила доктору М-ву за его заботы и визиты вместо денег выбрать и взять несколько вещей из собраний покойного мужа. Приятель мой, такой же любитель искусства, как и умерший его пациент, с радостью согласился на это предложение и выбрал несколько предметов из собраний покойного. В числе выбранных вещей был портрет „Князя Александра Даниловича Меншикова в ссылке в Березове в 1728 году“, как о том гласила надпись, начертанная на жестяной пластинке и приколоченная к раме портрета с лицевой стороны.

Г-жа Юни, отдавая портрет доктору, предложила вместе с тем взять и статью г. Щебальского, помещенную в „Русском вестнике“, где автор статьи, описывая жизнь князя и его внешний вид, который он имел, бывши в ссылке, прямо указывает на вышепоименованный портрет, даже при-

водит во всеобщую известность, что портрет князя Меншикова находится именно в коллекции г. Юни, уверяя при этом, что он чрезвычайно похож и вполне выражает страдальческий вид и состояние духа сосланного и гонимого князя. Г. Щебальский описывает даже отращенную Меншиковым бороду и костюм, в котором он ходил в Березове, а именно: его серый арестантский халат (хотя портрет написан в темно-красном, чуть ли не в бархатном верхнем платье, отороченном мехом).

В первый раз я увидал этот портрет уже висевшим в гостиной доктора М-ва. Князь Меншиков на портрете имел вид сухого, бледного, довольно древнего старика, с блестящими темно-синими глазами и с длинной седой бородой. Написан портрет был местами бойко, местами же робко, но чрезвычайно просто и широко, только не в техническом отношении, а в отношении света и тени. Полотно, на котором он был написан, подрамок, даже гвозди, прикреплявшие полотно к подрамку, — все было старое, потемнелое, — сразу было видно, что портрет писан очень давно, что вполне подтверждала и надпись, находившаяся на задней стороне портрета, которая состояла в следующем:

Светлейший князь Александр Данилович Меншиков. Списан с портрета имеющегося у Дениса Ивановича Чечерина Генерал Губернатора Тобольска и всей Сибири.
Кн. Ал. Дан. Меншиков родился в Москве 17 ноября 1672 года.
Скончался Тобольской Губернии в Городе Березове 22 Октября 1729 года.
Жития его было 56 лет 11 месяцев и 5 дней.
Послание Иаковле. Глава 1-я, стих 12-ой.
Блажен муж иже претерпит искушение Да не искусен быв приимет венец жизни.
Притчи Соломоновы, глава 3-я, стих 12-ой.
Его же любит Господ наказует биетже Всякого сына его же приемлет.
Писал сосланный живописец и иностранец Карл Иванов Фрок. Тобольск в 1770 году.

Кроме того на раме портрета есть еще следующая надпись: „*Графа Н. Б. Разумовского*“, из чего можно заключить, что портрет этот побывал также в коллекции гр. Разумовского. Впрочем, может быть эта надпись означает совершенно что-либо другое. Оставляю вопросом.

Мы с доктором немало любовались портретом князя, удачно повешенным в его гостиной на темно-коричневой стене, в полутоне. В нем было что-то впечатлительное, живое; особенно эта жизненность чувствовалась в глазах: так и казалось, что они уставились на вас и смотрят не моргаючи; к тому же смотрят не только на вашу внешность, но как будто усиливаются заглянуть к вам в душу, даже неловко становилось от этого упорного устремленного взора.

Впоследствии доктор мне не раз говаривал, что портрет Меншикова многим из его знакомых совсем не нравится. „Даже некоторые, преиму-

щественно дамы, удивляются, как мне пришла охота повесить в гостиной изображение такого злого и неприглядного старичишки. Они не хотят примириться даже с той мыслию, что старик этот есть изображение лица исторического", — добавлял доктор.

Хотя я и не разделял мнения знакомых М-ва, но не мог не согласиться с тем, что взгляд Александра Даниловича действительно выражал неподдельную суровость, и что для гостиной он был не особенно привлекательным украшением. Но как бы там ни было, несмотря на разнообразные толки, портрет князя продолжал несколько лет висеть у доктора М-ва.

Как-то раз доктор М-в был у меня в мастерской. Я писал в это время картину из нравов московской жизни, а именно: „Свахи ведут невесту из бани перед девичником, с пляской, песнями и музыкой". Картина эта почему-то очень ему понравилась, и он выразил желание ее приобрести, прося при этом, по-приятельски, уступить ее подешевле. Я назначил ему за картину 200 рублей. Доктор согласился на эту цену, но предложил при покупке следующее условие:

—Вот что,—начал он.—Вы помните портрет князя Меншикова, который вы не раз хвалили. Я вам не однажды говорил, что он не нравится всем моим знакомым. По правде вам сказать он и мне немного надоел: смотрит както на всех, точно сердится, точно ему все на свете опротивело. Да к тому же и интересу в нем мало, кроме разве исторического его значения, что, по моему мнению, совершенно лишнее украшение для всякой гостиной. Я уже не раз думал его продать, а теперь мне пришла в голову вот какая мысль. Возьмите вы его, повесьте у себя в мастерской. У вас бывает много разных любителей, быть может кто-нибудь его и купит, а на вырученные деньги я бы купил вашу картину. В случае же, если за него дадут менее 200 рублей, то чего не будет доставать, я приплачу уже из своих денег. Ну, что вы на это скажете? — спросил меня доктор.

— Извольте! — отвечал я. — Присылайте портрет. Может случиться, что его кто-нибудь купит, хотя, сказать по совести, я мало имею надежд на продажу.

Тем мы и кончили.

На другой день портрет был у меня в мастерской. Вместе с ним доктор прислал книгу „Русского вестника", где помещалась вышеупомянутая статья г. Щебальского о князе Меншикове.

Прошло немало времени, как портрет висел в моей мастерской. Все, бывшие у меня за это время и видевшие этот портрет, хвалили его, но покупателя не находилось, и, вероятно, еще долго бы пришлось висеть ему без покупателя, если бы не следующий случай.

Однажды ко мне заехал известный в то время в Москве любитель картин и очень богатый человек г. Ценкер. Рассматривая то и другое, он увидал портрет Меншикова, который ему очень понравился.

— Скажите, пожалуйста, — спросил г. Ценкер, — каким образом этот старинный портрет попал к вам в мастерскую и какое его назначение?

Я рассказал ему уже изложенную историю портрета, а также и причину, почему он находится у меня.

— Знаете что? — подумав немного, сказал г. Ценкер. — Я задумался над ловким ударом, которым намерен убить трех мух за раз. Первое — это я сделаю то, что куплю портрет Меншикова, а вследствие этой покупки продам вашу картину, это — второе. А третье вот что. Я подарю портрет Меншикова в Румянцевский музей, где самое подходящее место ему и находиться, так как портрет этот есть лицо историческое и притом такое известное. Не правда ли, это будет хорошо? — обратился ко мне с вопросом г. Ценкер.

Понятно, что я вполне одобрил его намерение, и портрет тут же был продан за 200 рублей.

На другой день, отправляя портрет Меншикова, я приложил к нему статью г. Щебальского. Г. Ценкер, как и обещал, вскоре пожертвовал портрет в Румянцевский музей, где он и висит по настоящее время с той же надписью на жестяной пластинке, гласящей, что сей портрет „Князя Александра Даниловича Меншикова в ссылке в Березове в 1728 году“. К этой надписи распорядители музея прибавили еще внизу портрета следующее пояснение:

Копия с портрета, писанного сосланным живописцем иностранцем Карлом Ивановичем Фроком.
Тобольск в 1770 г.
Оригинал принадлежит г-же В. в Москве.

Вот еще чрезвычайно странная случайность с портретом князя Меншикова. Когда портрет еще находился у меня в мастерской, то как-то раз пришел посланный с письмом от одного моего знакомого, у которого он жил в услужении. Пока я читал письмо, пришедший рассматривал картины, развешенные по стенам, и вдруг, обратясь ко мне и показывая рукой на портрет князя, сказал с большим оживлением.

— Ах, сударь, как вот этот портрет похож на нашего барина, которого мы были крепостные. Уж очень похож!

— А кто же был твой барин? — спросил я его.

— Мы были князей Меншиковых, — отвечал он.

— Но послушай, братец. Как же ты мог видеть своего барина, с которого написан этот портрет? Он умер в Сибири, в ссылке, и уже более полутораста лет тому назад, а тебе всего-то пятьдесят лет не более.

— Это точно так-с! —отвечал он.—Но у наших господ в доме был портрет, право не могу только вам сказать с кого он списан: с папеньки ли нашего молодого барина, или с дяденьки ихнего, только точь-в-точь похож.

— Ну, а скажи, пожалуйста, — спросил я его снова, — похож ли этот портрет на молодого твоего барина, у которого ты служил?

— Сходство большое имеет, — отвечал он, закинув голову назад и продолжая рассматривать портрет прищуренными глазами. — Весь облик ихний. Только наш барин много моложе и к тому же бороду изволят брить.

— Это портрет князя Меншикова, — объяснил я ему. — Вероятно дедушки твоего барина, а потому они и похожи друг на друга.

— Это так точно-с! — добавил посланный. Затем, спросив не будет ли какого приказания и получив в ответ, что никакого, раскланялся и ушел.

Прошло несколько лет. Картина моя, изображающая „Невесту, идущую из бани“, давным-давно висела на стене в гостиной доктора М-ва вместо портрета Меншикова, а портрет Александра Даниловича также давно украшал стены Румянцевского музея. Да и вообще, как о портрете, так и о приключениях с ним совсем забылось.

Не помню именно сколько времени спустя после всего рассказанного я был в Петербурге. Посетив Эрмитаж и проходя по его залам, я остановился в изумлении. Представьте себе неожиданность и удивление мое! Портрет князя Меншикова висел на стене в той зале, в которой помещается Фламандская школа, и удивление мое дошло до крайней степени, когда я прочел надпись над портретом, которая поясняла, что передо мною висит не портрет князя Меншикова, а голова старика работы Вандика. Каким образом Александр Данилович превратился в старика работы Вандика, или старик работы знаменитого художника преобразился в князя? Я не мог решить этого ни тогда, ни в настоящее время. Но что это было одно и то же лицо — в этом не могло быть никакого сомнения: те же устремленные и пронизывающие зрителя жизненные глаза, та же седая борода и белые прядями волосы. Ну, словом, портрет Меншикова, проданный мною г. Ценкеру и пожертвованный им в Румянцевский музей, был не что иное, как повторение этюда работы Вандика (голова, находящаяся в Эрмитаже, написана несравненно шире и лучше) или наоборот: ложный Вандик есть не что иное, как портрет князя, неизвестно как попавший в Эрмитаж за работу Вандика. Но допустить, чтобы Вандик писал портрет Меншикова уже невозможно потому, что между их существованиями разница почти что в целом столетии, так как Меншиков умер в 1729, а Вандик в 1641 году. Да к тому же если б они жили в одно время, то вряд ли бы Вандик поехал в Березов писать портрет князя, а последний из ссылки никуда не отлучался и бороду, по словам г. Щебальского, отпустил только в Березове. Между тем, достойно внимания то, что г. Щебальский прямо указывает на портрет, находившийся у г. Юни, как на несомненный портрет Меншикова, и с полной достоверностью пишет о нем с такими подробностями, что сомневаться в истине казалось бы почти невозможно.

Во всяком случае было бы очень интересно отыскать истину, хотя для того, чтобы не вводить в заблуждение посещающую публику, которая любуется одним и тем же изображением: в Москве оно представляет портрет князя Александра Даниловича Меншикова, написанный сосланным живописцем Фроком, в Тобольске в 1770 году, а в Петербурге то же самое лицо выдается за этюд, писанный знаменитым портретистом Вандиком, целым столетием раньше. Вопрос: где же истина? В Петербурге или в Москве?

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

В одно особенно дождливое лето писал я как-то портрет князя, занимающего и теперь еще весьма высокий пост. Все имевшие случай лично представляться князю знают его ласковое и приветливое обращение, следовательно, нечего уже и говорить о том, что сеансы проходили для меня весело и чрезвычайно приятно. Князь почти всегда бывал в хорошем расположении духа. Портрет подвигался и уже близился к концу.

В один из дней, назначенных для сеанса, я собрался было выйти из дому, чтобы отправиться оканчивать портрет, как вдруг послышался робкий звонок. Дверь отворили и вошел какой-то господин с большим, длинным свертком в руках. Личность его была мне совершенно незнакома. Он был лет тридцати или около этого, белокурый, гладко причесанный, смиренный, даже очень смиренный на вид, несмотря на гусарские большие усы. Одет довольно бедно: ватное со светлыми пуговицами пальто, форменный сюртук, такие же панталоны и высокие охотничьи сапоги, покрытые слоем грязи. С трудом стащив с себя намокшее верхнее платье, с которого струилась дождевая вода, он вошел ко мне в мастерскую.

— Что вам угодно? — спросил я его.

— Я бы хотел видеть господина П[ерова],—проговорил он растерянно, чуть не шепотом.

Назвав себя, я пригласил его сесть и объяснить в чем дело.

Усевшись на кончик стула и положив свой сверток на пол, у ног, возле которых моментально образовалась лужа, он робко, конфузливо приступил к объяснению.

— Извините, ради бога, что я вас обеспокоил! — начал он говорить, откашливаясь в руку и краснея. — Я имею к вам большую, можно сказать, величайшую просьбу. У меня, если могу так выразиться, страсть к живописи с детства... даже с самого раннего детства! Когда я еще учился в уездном училище, то и тогда постоянно рисовал украдкой от родителей и учителей, потому что рисование это, верите ли богу, так меня увлекало, что из-за него я забывал обо всем остальном, а вследствие этого, конечно, и получил строгий запрет рисовать. Но, несмотря на это запрещение, откровенно сказать, несмотря даже на жестокое наказание, я продолжал свое любимое занятие и до сих пор не оставляю его. Научился писать картины сам, кое-как, могу сказать, самоучкой, и все свободные часы от моей службы сижу теперь за мольбертом и пишу картины и портреты с своих родных и знакомых. В том городе, где я живу, нет любителей, тем более знатоков живописи, и живет только один иконописец, сколько-нибудь причастный к этому делу; он-то мне иногда и подает советы. Но я чувствую, даже понимаю, что иконописная работа не идет для картины и часто прошу его: „Покажи ты мне, брат, ради бога, как пишут свои картины настоящие художники!“. „А кто их, —говорит,—знает! Я и сам не видывал, как они пишут! По стенной — клеевой, даже по стенной — масляной живописи, я еще могу, а как пишутся картины— не знаю“. —Так и приходится доходить самому до всего, а спросить совета не у кого... Вот-с я и осмелился, — продолжал он, — явиться к вам и покорнейше просить вас взглянуть на мою работу: есть ли в ней что-либо порядочное, стоит ли мне продолжать заниматься искусством. Если же моя работа до крайности плоха и у меня нет совсем никакого дарования, то как ни грустно, как ни больно... (при этом он вздохнул глубоко), а делать нечего, придется бросить живопись и... забыть ее!.. Да, забыть!.. — промолвил он печально, опустив голову.

— Не унывайте,—сказал я. — Покажите-ка лучше ваши картины! Ведь не так страшен черт, как его малюют!

Он стремительно бросился развязывать и развертывать свой сверток, в котором оказались четыре небольшие картины и три портрета, все писанные масляными красками. Дрожащими от волнения руками разложил он произведения свои по полу. Содержание их было следующее: на самой большой был изображен Самуил, рассказывающий сон первосвященнику Илии. Оригиналом для этой картины служил известный всем художникам эстамп. На второй картине красовалась какая-то девица в окне с распущенными белокурыми волосами в яркой зелени и окруженная воркующими голубями. На третьей — турок, собирающийся заколоть плачущую тур-

чанку. Эта картина также была написана с известного жульеновского эстампа, очень излюбленного начинающими. Но что было изображено на четвертой, право, не могу припомнить! Один из портретов, более оконченный, представлял морщинистую, желтую, очень древнюю старушку — мать автора; следующий — сестру его, весьма полную девицу; а третий, т. е. последний, какого-то почтенного старца с плешью, большими бакенбардами и пряжкой за двадцатипятилетнюю беспорочную службу.

Хотя все это было исполнено очень наивно, но несомненные способности проглядывали повсюду, а местами даже живопись была недурна: видно, что он работал много, и оригинальная его техника была усвоена им твердо. Я высказал ему мое мнение, конечно, в похвальных и лестных замечаниях. Он очень обрадовался моему одобрению и осыпал меня вопросами: „Так как же вы находите? Продолжать ли мне мою работу! Главное — стоит ли поучиться серьезно, выйдет ли из этого что-нибудь?.. Мне бы очень хотелось, — добавил он, — поступить в Московское училище живописи или в Академию художеств, в Санкт-Петербурге, где у меня родные, у которых я мог бы даже жить и уже со всем рвением заняться дорогим для меня искусством. Прошу вас, дайте мне, по совести, искренний совет! Что мне делать: поступать в Академию?.. или не стоит? — снова спросил он и точно замер в ожидании ответа.

— Что вам делать? — отвечал я. — По моему мнению, ехать в Петербург и поступить в Академию.

Он так и засиял от удовольствия и, встрепенувшись, залепетал, именно, как говорится, залепетал:

— Если уж вы были так добры ко мне, не отказали своим советом и указанием, то докончите вполне ваше благодеяние. Примите на себя труд написать письмо к моему начальству и высказать в письме мнение о моих способностях. О! Тогда мне, вероятно, дадут годичный, а, может быть, и двухгодичный отпуск, при том окажут, бог даст, и какую-либо помощь. Ведь я человек бедный, имею семейство, живу одним жалованьем; какое-либо денежное пособие со стороны начальства может меня совершенно осчастливить.

— Но, позвольте, — перебил я его. — К какому же начальству мне писать? Кто вы, где служите? Я ведь положительно ничего не знаю.

— Я-с, — начал он, еще более конфузясь, — приехал сюда из уездного города Д., Т-ской губернии, и служу там при полиции квартальным надзирателем.

— Квартальным надзирателем?! — переспросил я.

— Точно так-с, надзирателем числюсь... Вернее-то служу поручиком, т. е. помощником надзирателя, но, за неимением надзирателя исправляю его должность.

Проговорив все это, он опустил глаза, точно находил во всем сказанном какое-то преступление.

Я был изумлен немало. Много мне случалось видеть людей разных про-

фессий и положений, занимающихся искусством; более всего видел я военных; знавал я любителей-монахов, знавал купцов, пришлось познакомиться и с одним полковым доктором, лет десять прожившим на Кавказе, страстным любителем живописи, который нередко откладывал свои визиты к тяжелобольным из-за нетерпеливого желания окончить поскорее вершины кавказских гор, постоянно выраставших у него по мере его старания и, в конце концов, не умещавшихся в полотне; знавал и еще разного рода любителей, но никогда не видал, даже не слыхал и не мог помыслить, что где-то, чуть не на краю света, в уездном городишке, в частном доме, квартальный поручик сидит и пишет картины и портреты!.. И вот он воочию, передо мной со своей скромной фигурой, кроткими голубыми глазами, окруженный разостланными по полу картинами. Да, удивительные вещи творятся иногда на свете!

Этот не совсем обыкновенный случай внушил мне несколько смелый план относительно того, как помочь положению моего нового оригинального знакомца.

— Вот что! — сказал я ему. — Оставьте-ка все ваши картины у меня, а сами зайдите нынче вечерком. Я еще просмотрю их хорошенько, подумаю и дам вам ответ о письме, которое вы просите написать. Теперь же я не могу долее беседовать с вами: мне необходимо ехать.

И мы расстались.

По уходе моего посетителя, наскоро собрав и завернув его картины, я отправился с ними к князю. На сеанс я поспел вовремя. Князь на этот раз был особенно весел, много шутил и смеялся. Воспользовавшись удобной минутой, я обратился к нему со следующими словами:

— Ваше сиятельство! Со мной сегодня был замечательный случай. Позвольте мне рассказать его вам.

Князь изъявил согласие и я начал с того, как явился ко мне какой-то господин, оказавшийся квартальным надзирателем, который горит святою любовью к искусству, пишет запоем картины и портреты, словом, — рассказал ему все вышеизложенное. Князь, видимо, слушал с большим вниманием. Поощренный этим, я просил его взглянуть на картины как на редкость, принимая во внимание, кем они писаны. Он, приветливо улыбаясь, высказал свое желание посмотреть эту редкость. Я развернул произведения кисти поручика и разложил их на полу по примеру самого автора. Князь долго рассматривал картины, делая свои замечания.

— Хорошо! Очень хорошо! Это очень мило! У него есть дарование, не правда ли? — говорил он своим мягким голосом.

— Да, ваше сиятельство.— И, пользуясь случаем, просьбу квартального о письме я передал князю.

Князь не отказал в этой просьбе и со всегдашней своей любезностью сказал:

— Я готов помочь этому... как... как его... Я напишу губернатору и буду просить... А вы этого... пришлите ко мне завтра.

Нечего и говорить, что я был от души рад всему случившемуся. По возвращении домой вскоре явился ко мне и поручик-художник, несмотря на то, что далеко еще было до вечера.

— Ну-с, благодарите бога! — сказал я ему, — дела ваши идут хорошо, даже очень хорошо! Садитесь и слушайте.

Он уселся, улыбаясь и потирая руки, а я начал свое повествование с того момента, как мне пришла в голову счастливая мысль достать ему письмо от влиятельного лица. При первых моих словах он весь засиял радостию младенца, которому показывают блестящую игрушку; но затем, при рассказе моем о том, как князь стоял и со вниманием рассматривал его картины, он начал медленно, как бы помимо своей воли, подниматься со стула, все более и более выпрямляясь, а руки опуская по швам, будто он сам лично присутствует при всем, мною рассказываемом. Когда же я сказал, что князь обещал написать письмо к губернатору, то он весь нервно передернулся, заморгал глазами, и слезы обильно потекли по его лицу.

Наконец, я объявил ему, что завтра, в назначенный час, он должен явиться к князю. Это известие даже испугало его.

— Как! — забормотал он... — Явиться к его сиятельству!.. Я, право, не могу... Да мне и не в чем... Весь мой гардероб из того только и состоит, что на мне надето... Посудите сами, ведь этак нельзя!.. Ну... я просто не смею!.. — говорил он торопливо и с большим замешательством.

— Будьте покойны! — убеждал я его, — на костюм ваш не обратят никакого внимания. Да кроме того вы человек заезжий, а с путника, как говорится, даже господь бог постов и молитв не спрашивает.

Немало, однако, труда стоило мне уговорить поручика не обращать внимания на свой гардероб, а явиться, в чем он есть.

На другой день раздался неистовый звонок, и ко мне, как ураган, влетел мой поручик. Я не узнавал его: так он был возбужден и взволнован. Размахивая руками, тряся головой, даже не поздоровавшись и не снимая ватного пальто, пропитанного дождем, спеша, точно боясь как бы не забыть чего-нибудь, начал поручик рассказывать мне о своем посещении князя.

— Представьте! — с трудом переводя дух и вытирая ситцевым платком мокрое лицо, говорил поручик. — Нет, вы представьте! Ведь я сейчас был у князя, его сиятельства!!... И он, по милости своей, обещал написать обо мне письмо к нашему господину губернатору... А еще-то что! Вы вообразите! Ведь я продал там картину!.. Первый раз в моей жизни продал!.. Помните ту девицу, что из окна голубей кормит? Ее-то и купил господин адъютант его сиятельства. И какую цену дал! Сам назначил! Поверите ли, двадцать пять рублей мне выдал!.. Что это такое? Сон какой, что ли?.. Ей богу, не могу понять! — и он протер глаза. — Вообразите, — с тою же торопливостью продолжал поручик, — так вот, как теперь перед вами, в этом самом грязном костюме, являлся я к его сиятельству! Всю дорогу, когда шел туда, думал: как явиться? Как представиться такому важному лицу? А как вошел в дом и попросил дежурного чиновника доложить о себе, все забыл —

и костюм свой и даже то, что одет не по форме. Вспомнил же опять обо всем, когда был на улице и когда наскочил на толстого-претолстого господина, который так сильно толкнул меня, что я ударился спиной об стену и моментально отрезвился; ну, точно проснулся от глубокого сна. — Но какая жалость! Ведь князя-то я и не помню! Какой он из себя? Ну, совсем не помню! Так что, встреться он мне теперь на улице, не узнаю, право, не узнаю!

И долго, долго еще говорил поручик, перебивая самого себя, рассказывая разные подробности своего представления, припоминая их непоследовательно и передавая несвязно. Наконец, утомившаяся душа его, видимо, пожелала покоя и уединения: он стал прощаться, при этом так пожал мне руку, что у меня захрустели пальцы.

На другой день поручик-художник уехал в свой глухой провинциальный городишко, ожидая с нетерпением благоприятных последствий от своей поездки в столицу.

Спустя месяца три, я получил от него письмо. Очень сожалею, что оно затерялось, постараюсь, однако, рассказать его содержание, насколько могу припомнить. Вот что он писал:

„М[илостивый] г[осударь]. Вы не можете себе представить, в каком я нахожусь, не только затруднительном, но даже тяжелом положении! И каким образом мне из него выйти? Право, не могу придумать! Верьте мне, что говорю все это искренне. Очень часто раскаиваюсь я, что ездил в столицу и беспокоил высокочтимого князя, его сиятельство. Лучше бы мне оставаться в том положении, в котором я находился до моей поездки. Но, что уже раз сделано, того не воротишь, „снявши голову, по волосам не плачут",— говорит пословица. Итак, чтобы вам яснее понять мои душевные муки, расскажу по порядку все то, что со мной случилось после свидания с вами.

Приехал я в свой город благополучно. Все семейство мое с радостным приветствием встретило меня еще на улице. Наскоро поздоровавшись, я тотчас же сообщил им о своих похождениях в столице; и не прошло нескольких часов, уверяю вас честью, как весь город узнал обо всем случившемся и, конечно, в самом преувеличенном виде. Но этого еще мало. Целую неделю по моем возвращении я ходил по приглашению из дома в дом: то к г. исправнику, то к становому приставу, даже к градскому голове и к другим богатым купцам, рассказывая со всеми подробностями о моем путешествии, а, главное, о посещении его сиятельства. И до того привык рассказывать одно и то же, что, ей-богу, не лгу, иногда в постороннем разговоре попадется знакомое слово из моего рассказа, ну и пошло... дальше и дальше... до тех пор, пока меня не остановят; а иногда сам, опомнившись, соображу, что говорю не то, что следует, и даже совестно станет! Ну, точно сумасшедший какой! Да и во сне-то вижу одно и то же: то еду по железной дороге и сижу не в вагоне, а на самом передке машины, у круглого фонаря и держусь за него обеими руками. И так мне страшно! Дух захватывает от быстрого дви-

жения... Мне тяжко!.. душно!.. Ой, помогите! — кричу я, просыпаясь в испуге... То являюсь к его сиятельству, и там меня сажают в темный чулан: ко мне входит господин адъютант с поварским ножом, при фартуке, молча берет мою ногу и начинает ее резать. Кровь льется... и я вскакиваю весь мокрый.

Так прошло недели две.

Вдруг в одно утро получаю от губернской полиции предписание: явиться немедленно. Сначала я испугался, но тотчас же успокоился, при мысли: вероятно, это требование по поводу письма его сиятельства. Простившись с семейством, я немедленно отправился в путь.

На третий день утром, прямо с телеги, не успев ни умыться, ни причесаться, я, как был в дороге, так и явился к господину полицмейстеру.

Он с большим вниманием, даже любопытством, осмотрел меня, прищурив правый глаз и покручивая свои длинные усы, спросил:

— Ты был в столице?

— Точно так, ваше высокородие, был-с.

— А с чьего разрешения?

— С разрешения господина исправника.

— И являлся к его сиятельству?

— Являлся-с, ваше высокородие.

— Ну, — так явись теперь немедленно к его превосходительству господину губернатору: он желает тебя видеть!.. Да ты, брат, хоть бы маленько причесался!.. А впрочем,—добавил он, махнув рукой,— отправляйся и так!..

Пришел я в губернаторский дом. Тут, милостивый государь, несмотря на надежду, такая во мне явилась робость, что и сказать не умею. Я вдруг почувствовал какую-то необыкновенную усталость, точно от нашего уездного города и до губернского пробежал без отдыху. Ноги мои не двигались, а язык как будто распух и высох, так что мне им и шевелить стало трудно. С большим усилием объяснил я дежурному чиновнику, что явился по требованию г. губернатора. Чиновник ушел, и не прошло и минуты, как меня позвали в кабинет к его превосходительству. Войдя в кабинет, я вытянулся у дверей, а губернатор подошел ко мне и ласково говорит:

— Вы господин Д.?

— Точно так, ваше превосходительство! — выкрикнул я так громко, что самому стало неловко.

— Мне об вас писал его сиятельство. Он очень хвалит ваши картины... Скажите, пожалуйста! Вот уж никак не думал встретить здесь художника!.. Ну-с, очень рад вас видеть и с вами познакомиться!

И он (о боже! И это было наяву!), он протянул мне свою белую пухлую руку, а я, совсем оторопевший, в недоумении отвел свою назад. Ну посудите сами, мог ли я даже помыслить подать свою руку его превосходительству, г. губернатору: так это казалось мне невозможным и невероятным!

Улыбаясь, взял тогда меня его превосходительство за локоть, подвел к столу, на котором лежало множество книг и бумаг, и посадил. Затем,

усевшись сам в большое бархатное кресло, взял сигару и подал ее мне вместе с зажженной свечой. Я взял то и другое и еле-еле мог удержать в руках: так руки у меня сильно дрожали.

— Ведь я не курю, ваше превосходительство! — хотел я было сказать, но язык мой не шевелился.

Покорный судьбе, я только раскурил сигару и тут же чуть было не задохся от дыма. Губернатор же продолжал:

— Сейчас познакомлю вас с моей женой; она большая любительница живописи, даже сама недурно рисует, но больше ландшафты. А вы какой жанр предпочитаете?

Но я хлопал глазами, задыхаясь от крепкой сигары, и ничего не отвечал. В это время вошел чиновник.

— Попросите сюда ее превосходительство! — сказал ему г. губернатор. — Мы уже с ней говорили о вас, — добавил он, обратясь снова ко мне, — и она очень желает с вами познакомиться.

Вошла генеральша. Я вскочил при ее появлении, а его превосходительство взял меня за плечи и подвел к ней, говоря шутливо:

— Вот рекомендую нового художника! Прошу любить и жаловать, главное же ободрить его, а то он уж чересчур застенчив, как вообще все молодые таланты.

Генеральша также подала мне свою маленькую, чуть не детскую ручку и, жестом пригласив сесть, начала расспрашивать о том, что я пишу, где учился и проч., и проч. Долго она со мной беседовала, но вошел лакей, полный, солидный, чисто выбритый, во фраке, в белых перчатках, в таком же галстуке и проговорил:

— Кушать подано!

Я вскочил с намерением немедленно удалиться, но не тут-то было. Его превосходительство взял меня под руку и, громко засмеявшись, сказал:

— Эге! Любезный художник! Вы хотите бежать от нас, мой милый? Нет, уж извините! Теперь вы наш пленник, и мы с вами так скоро не расстанемся. А пойдемте-ка лучше завтракать!

И он повел меня в столовую, где уже много было дам и кавалеров, военных и статских. Все они смотрели на меня с удивлением, а я в своей квартальнической форме, с длиннейшей шпагой на боку, которая мне ужасно мешала, был совершенно как в бреду, уж именно в полном смысле в невменяемом состоянии. Как меня всем представляли, как я прикладывал ко лбу свою руку, по-военному, как затем за столом развернул сильно накрахмаленную салфетку — все это я помню, но помню как-то странно, точно это было очень давно и уже много лет прошло с той поры, как будто это было в лета самого раннего детства, даже далеко раньше того времени, когда у меня явилась страсть к рисованию.

Я сидел, молчал, фыркал носом, прикладывал к нему палец, зная, что за столом сморкаться неприлично, и тыкал во что-то мясное неуклюжей серебряной вилкой. Потом положив это что-то в рот, долго усиленно жевал

и уже хотел было проглотить, но вдруг — представьте мой ужас! — горло у меня точно сузилось, ссохлось, и кусок не проходил. Передо мной стояла огромная рюмка, наполненная красным вином. Я хлебнул из нее и кое-как, вместе с вином, проглотил гастрономический кусок, но в это время его превосходительство обратился ко мне с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, милейший художник, какие картины показывали вы его сиятельству?

Я хотел сейчас же рассказать обо всем и быстро повернулся к его превосходительству всем корпусом вместе со стулом.

Но его превосходительство задал еще вопрос:

— А как велики ваши картины?

Я засуетился и, желая как можно нагляднее представить величину картин, сильно размахнул руками и... о ужас! Зацепил по лицу соседа, седенького, сморщенного старика и опрокинул стоявшую передо мной рюмку красного вина. Вино разлилось по белой, как снег, скатерти. Лишнее говорить о том, как я сконфузился. Не помня, что делаю, я схватил солонку и всю ее высыпал на пролившееся вино, бормоча: это ничего-с, ваше превосходительство! Это отстанет.

Никто из присутствующих не обратил, по-видимому, никакого внимания на это несчастие, только дама, сидевшая против меня, необыкновенно худая и с пробором на боку, закашлялась, закрыв лицо свое салфеткой, а г. губернатор, снова обратясь ко мне, заговорил:

— Сколько же времени вы пробыли в столице, любезный художник?

Что я отвечал, право, не помню.

— Ну, а как она вам понравилась? — продолжал он. — Надеюсь, там лучше и веселее, чем в вашем уездном городе, не правда ли?

И так затянул меня в разговор, предлагая вопрос за вопросом, что я совсем забыл о пролитом вине и, поверите ли, даже ободрился. Но, несмотря на это, от всей души благодарил бога, когда окончился завтрак.

Встали из-за стола. Ее превосходительство повела меня в свой кабинет и там показала картины своей работы. Выбрав одну из них за оригинал, она велела мне приходить каждый день, снимать с этой картины копию.

И вот почти ежедневно я бываю у генеральши, и не только работаю у них, даже завтракаю с ними. Меня там ласкают, стараются ободрить, поощрить. Я это вполне чувствую, но не могу, хоть убейте, не могу победить своей проклятой робости.

Когда приближается час идти к ее превосходительству, и я невольно вспомню, что опять буду с ними завтракать, бедное сердце мое так тоскливо заноет, так болезненно сожмется, что, верите ли богу, готов бываю заплакать!.. Тяжелее же всего для меня вот что: почти каждый раз, как вхожу в приемную залу, его превосходительство тут как тут, прямо подходит ко мне, пожимает мне руку и говорит шутливо:

— А! Знаменитый художник! Как поживаете! Как идут ваши дела?— И, не дожидаясь ответа, прибавляет,— однако торопитесь, мой милый! Скорее

спешите к ее превосходительству! Кажется, она давно вас ждет и уже принялась за свое рисование.

Я прохожу мимо своего полицейского начальства, иногда даже с самим его превосходительством, который держит меня под руку, точно боясь, чтобы я не убежал. Мы направляемся на половину генеральши, а кто-нибудь из моих начальников стремительно бросается вперед и, суетливо распахнув дверь, стоит, держась за ручку, словно солдат во фронте, дожидаясь, когда мы пройдем. Но представьте вы себя на моем месте!.. Тут, в этой приемной зале, на моих глазах, лица, к которым я не осмелился бы без доклада войти и в прихожую, не только в кабинет — гг. частные пристава, исправники, даже сам его высокородие г. полицмейстер и другие важные особы — все они стоят на вытяжке! Я же, жалкий поручик, в должности квартального надзирателя, подчиненный им, последняя спица в колеснице, я прохожу мимо их, под руку с его превосходительством! И они все нам низко кланяются, но при этом как-то насмешливо смотрят на меня... Да, милостивый государь, положение мое, как вы сами можете видеть, очень тяжелое".

Года через полтора я получил от него второе письмо, в котором он писал уже вот что:

„Благодарю господа бога, его сиятельство, его превосходительство и вас, милостивый государь! Я провел в Петербурге целый год и занимался в Академии художеств. Г. губернатор, по доброте своей, давал мне отпуск и содержание на это время. Я работал очень усердно, как в Академии, так и в Эрмитаже. Возвращаясь из Петербурга, заходил к вам, но, к сожалению, не застал дома. Не осмелился явиться лично к его сиятельству, чтобы еще раз принести ему мою искреннюю благодарность.

Теперь скажу вам о моем положении, которое совершенно изменилось. Я получил милостивое повышение от начальства и из уездного нашего города переведен в губернский , где и служу. Все же свободное время от служебных занятий провожу за моим, с детства излюбленным искусством, т. е. пишу картины и портреты, которые показываю ее превосходительству, и она их очень одобряет."

ПОД КРЕСТОМ

И бывает для человека
того последнее хуже первого
(ЕВ. от Матф. Гл. 22, ст. 45.)

В тот день, с которого начинается мой рассказ, небо сплошь затянулось темными, как осенняя ночь, тучами; они стремительно неслись с запада, точно стараясь догнать и поглотить одна другую. По временам как из ведра лил дождь, гром почти не умолкал; нередко блестела, ослепляя прохожих, яркая молния. Вверху все было грозно, мрачно и могуче, а внизу, на земле — мокро, тоскливо и беззащитно. Прижавшись к стенам под выступами подъездов, православный люд крестился ежеминутно. Идущих и бегущих ветер преследовал с ожесточением, как будто старался сбить с ног, чтобы свалить в грязную бурлившую воду, заливающую даже тротуары. Погода, словом, была такая, когда добрый хозяин, как говорится, собаки на двор не выгонит.

В такой-то именно день кто-то постучался в дверь моей мастерской. Я крикнул обыкновенное „войдите“... Дверь отворилась... Из двери, прежде всего, показался мокрый зонтик, а за ним моя хорошая знакомая Вера Николаевна Добролюбова.

Я бросил работу и, подходя к Вере Николаевне, встретил ее восклицаниями:

— Вера Николаевна!.. какими судьбами!... по какому случаю!... в такую убийственную погоду вы, с вашим расстроенным здоровьем!..

— Подождите, — ответила Вера Николаевна, — поставив мокрый зонтик в угол у двери и начав снимать намокшее драповое пальто.

— Вместо того, чтобы удивляться, поражаться и так далее, вы бы лучше сделали, если бы помогли мне снять пальто...

Я извинился в своей недогадливости; и когда пальто было снято, повешено, Вера Николаевна сняла шляпу, отряхнула ее, повесила и потом, поправив обеими руками свои намокшие густые черные волосы, проговорила:

— Ну, теперь давайте поздороваемтесь, — причем протянула мне свою беленькую, худенькую ручку, — а я к вам с большим и даже очень большим делом.

Грешный человек, я просиял от удовольствия, услыхав о деле. Да и поистине — для человека, живущего своим трудом, что может быть приятнее, как не слова: „я к вам с большим делом!..“. Но увы! На этот раз очарование мое было очень непродолжительно...

Прежде, впрочем, чем приступить к сущности рассказа, считаю необходимым познакомить читателя с личностью Веры Николаевны — старой девы, как любила она себя называть. Ей было около тридцати лет. Среднего роста, худая, бледная, почти всегда больная, вечно принимающая Kali bromatum, вечно на диете. Одетая всегда во все черное, она походила скорее на монахиню из бедного монастыря, чем на девушку, живущую в мире и притом в весьма зажиточной семье. Собой она была так себе, или довольно симпатичная, как любят определять все дамы и девицы красоту своих подруг и знакомых, не желая сказать правду. Впрочем, глаза у нее были большие, совсем черные и чрезвычайно выразительные; они всегда горели лихорадочным блеском, как в большинстве бывает у больных чахоткою. Чтение было ее страстью; и чего-чего она только не перечитала из немецкой, французской и английской литератур, преимущественно, впрочем, любя русских писателей. Не говоря уже о Гоголе, Пушкине, она восторгалась также Гончаровым, Достоевским (тогда только что напечатавшим свой роман „Преступление и наказание“); кумирами же ее были и впоследствии остались Виктор Гюго и Томас Гуд. „Песню о рубашке“ она читать не могла иначе как без слез, „Les Misérables“ сравнивала с притчей из евангелия, которое было всегда ее настольной книгой. Кроме чтения, в последние годы у Веры Николаевны развилась и еще одна страсть — это благотворительность. Повсюду отыскивала она бедных, больных и угнетенных, словом, всех тех, которым нужно было утешение, а еще более — помощь. Хотя ее плохое здоровье и осторожность, особенно относительно простуды, мешали ей всецело предаться этому богоугодному делу, но, тем не менее, она все-таки немало помогала нуждающимся. Вот и все, что можно сказать о Вере Николаевне.

Пожав ее маленькую ручку и не выпуская из своей, я довел Веру Нико-

лаевну до кресла. Мы сели друг против друга, и, горя желанием узнать о большом для меня деле, я заговорил первый.

— Должно быть, Вера Николаевна, дело очень важное и интересное, если вы, вопреки вашей осторожности, пожаловали ко мне в такую невозможную погоду?

Вера Николаевна, видимо, заметила и поняла, или угадала мои мысли и мое нетерпение...

— Прежде всего, — проговорила она, опуская глаза вниз, — я прошу вас извинить меня за то, что я неточно и неверно выразилась, Я приехала к вам не предлагать что-либо, а, напротив, просить вас; и о том, как дорога и велика для меня моя просьба, вы можете судить именно по этой ужасной погоде. —Эти откровенные слова относительно не дела для меня несколько меня сконфузили. Я чувствовал, что покраснел; но Вера Николаевна смотрела вниз, вероятно, этого не заметила, а вернее — не хотела заметить.

— Вы знаете, Вера Николаевна, всякое ваше желание будет исполнено мною с великой радостью; сделайте милость — приказывайте, и вы увидите, с какою готовностью я исполню вашу просьбу.

— Благодарю вас, я это ожидала.

При последних словах она подняла свои блестящие глаза, смотревшие до сего времени вниз.

— Просьба моя заключается вот в чем, — продолжала Вера Николаевна,— неделю тому назад у одних своих знакомых я увидала на дворе колющего дрова старика. Он имел такую угнетенную жалкую фигуру, что, глядя на него, у меня болезненно сжалось сердце, и я тотчас же спросила, что это за несчастный старик? Мне сообщили вот что. Этому старику восемьдесят четыре года. Он — бывший крепостной сначала какого-то князя, а затем чуть ли не целого десятка господ, к которым он переходил из рук в руки; теперь же, после девятнадцатого февраля, он, свободный человек, но правдивее сказать — брошенный человек, или оставленный без крова, без семьи, без родных и знакомых. Ходит он по городу из дома в дом, отыскивая работы. Где наколет и натаскает дров, где принесет воды и выметет двор; за это ему кое-что дают и кормят. Но что дают и чем кормят?! Где же он ночует, — это уж одному богу известно. Быть может в поле, на кладбище или где-нибудь под мостом. Так он живет и не ропщет...

По мере рассказа лицо Веры Николаевны становилось все грустнее и грустнее; затем грусть эта незаметно перешла в какое-то страдание, очень похожее на выражение лица у изболевшегося ребенка, когда уже он не плачет, не жалуется, а, приподняв высоко свои тоненькие брови, раскрыв запекшиеся губки, как-то жалостно, покорно смотрит на всех и молча просит ослабить его муки и возвратить ему угасающую жизнь.

— О, если б вы видели его, — продолжала Вера Николаевна, — если б видели, как высоко поднимается его исхудалая грудь!.. Как тяжело он дышит, опустив иногда усталые руки, и как при этом в груди его что-то хрипит, клокочет и точно переливается!..

При этом глаза Веры Николаевны наполнились слезами, и одна за другой они стали скатываться на ее бледные и худые щеки.

— Да, если б вы видели этого несчастного старика, я уверена, вы бы не отказали ему в помощи; конечно, не денежной, — денег он не берет. Я уже не раз предлагала их ему, но он всегда отказывался, говоря: „Не пришла еще пора жить Христовым именем"... Вот какой это несчастный старик... Я много думала о нем и вот, наконец, что придумала сделать...

Вера Николаевна утерла смоченное слезами лицо и, обратясь ко мне, спросила:

— Вы знакомы с Саввой Прохоровичем Щукиным?

— Да, знаком; но настолько, насколько мог познакомиться, когда писал с него портрет. Если я и бываю в его доме, то не иначе как по делу...

—Уж и этого довольно,—перебила меня Вера Николаевна.—Щукин, как я слышала, очень добрый человек. Да иначе и быть не может; он, говорят, любит искусство и науки. Он помогает трудящимся, раздает милостыню бедным и, наконец, выстроил приют или дом для призрения бедных с отделением, специально предназначенным для престарелых бывших крепостных и дворовых людей, оставшихся без крова и пищи, в награду за многолетнюю и нередко самую преданную их службу. Так вот в чем дело. Нельзя ли вам попросить г. Щукина поместить в свой приют и этого несчастного страдальца. Если уж Щукину, первому в России, пришла такая высокохристианская мысль, прежде даже чем дворянам, людям более интеллигентным и по совести обязанным сделать что-либо для бывших своих рабов, то я уверена, что он будет рад такому случаю, — таких немного. Ведь этот старик, о котором вы будете просить, ведь это вполне материал для осуществления его наигуманнейшей, высокочеловечной идеи.

— Ради бога, не откажите, — снова проговорила со слезами Вера Николаевна. — Попросите его!.. Попросите хорошо!..

И с этими словами Вера Николаевна вдруг стала опускаться передо мною на колени.

Я схватил ее за руки, поднял и как-то сердито, даже грубо, закричал:

— Послушайте, Вера Николаевна, это ни на что не похоже... Это уж из рук вон!..

Вера Николаевна стояла передо мной, опустив руки, молча смотрела вниз и тяжело дышала.

Мне стало совестно за мой несколько грубый порыв и, успокаивая ее, я обратился к ней, как мог только ласковее.

— Вера Николаевна, не сердитесь на меня... Вы знаете, что я готов для вас все сделать, зачем же такие крайности!..

— Вы не правы, вы не понимаете меня. То, что я хотела сделать — не крайность; это не больше, как самая ничтожная доля выражения моей любви к ближним и желания что-либо сделать для этого несчастного старика. Я готова сама ехать к Щукину и просить его, просить со слезами, на коленях, целуя даже его ноги, чтобы помочь старику. Но меня не пустят, во-первых,

к Щукину; к нему доступ труден, а, во-вторых, он, вероятно, так много видал перед собой плачущих и молящих о помощи, что вряд ли слезы незнакомой женщины тронут его. Я решилась просить вас; вы как знакомый и как художник сумеете выразить ему все горькое, все безвыходное положение и упросите его дать старику-страдальцу какой-нибудь угол в приюте.

Я обещал, разумеется, сделать все, что могу; но прежде чем приступать к делу, просил прислать ко мне старика, чтобы расспросить поподробнее,— кто он, откуда и т. д.

Вера Николаевна, сейчас же после окончания своей просьбы, несмотря на проливной дождь и на мою просьбу переждать, стала собираться домой. На этот раз я догадался уже сам помочь ей одеться. Одеваясь, она постоянно повторяла свои мольбы о старике; затем, смотря на одну из начатых мною картин, сказала: „А может старик и для вас пригодится, для вашей картины"; и, взявшись наконец уже за ручку двери, она остановилась и торжественно, даже театрально проговорила:

— Во всем этом деле нам будет помощником и покровителем вот он! — она указала рукой на большую голову Христа — этюд, висевший у меня в мастерской.

Сказав это, она опустила вуаль и медленно вышла из комнаты.

На следующий день, около полудня, в дверь мою, как и накануне, снова постучались. На приглашение войти дверь тихо отворилась, и вошел ожидаемый мною старик. Переступив порог мастерской, он остановился шагах в двух от двери и начал сперва осматривать углы комнаты. Отыскивая глазами, видимо, образ, он вперил свой взгляд на этюд головы Христа и стал на него молиться, точно Вера Николаевна шепнула ему, кого она избрала в помощники и покровители и от кого надо ждать помощи. Перекрестившись несколько раз на этюд, он подошел ко мне, низко поклонился и четко, даже громко, старческим голосом произнес:

— Желаю здравствовать, сударь! Я к вам от доброй барыни Веры Николаевны.

Он подал маленькое письмо, в котором повторялась, конечно, одна и та же просьба.

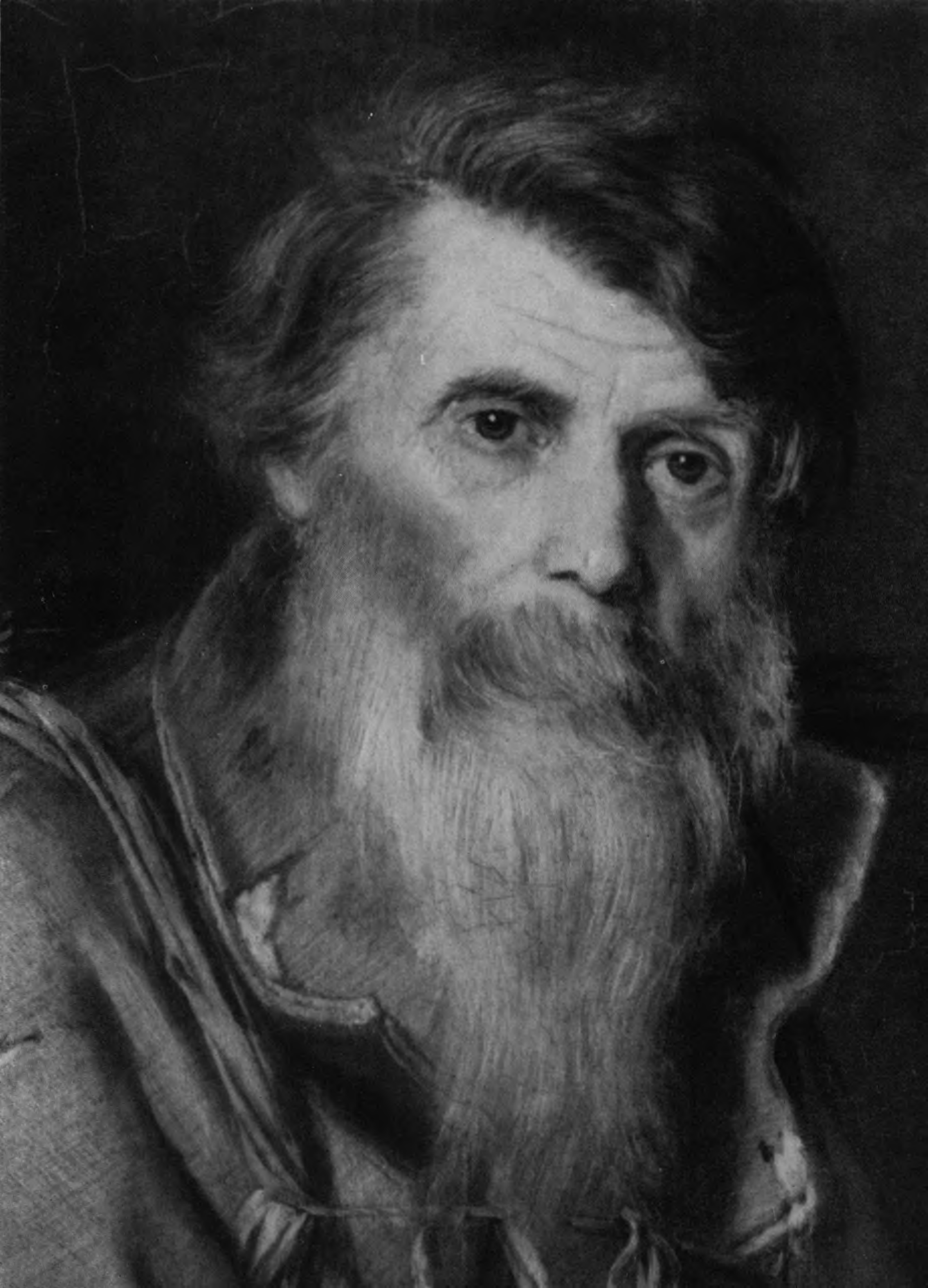
Я попросил старика сесть.

— Не извольте беспокоиться обо мне, сударь... Мы постоим, наше дело привычное... — ответил почтительно старик и остался на ногах.

Внешность старика была почтенна, красива и очень симпатична. Сразу он мне напомнил тоже старика, несколько лет тому назад виденного мною на одном из наших бульваров. Помню, раз как-то проходил я бульваром. Навстречу мне шел маленькими ровными шажками, медленно передвигая ноги, какой-то старичок в бархатных черных сапогах, узких черных панталонах, в старомодном плаще с большим воротником и полою, закинутою на плечо. Взглянув на его лицо, я не мог оторвать своего взгляда: такого благородства, такого внешне аристократического вида ни прежде, ни после



Странник. *1870*



не случалось мне видеть. Его наклоненная несколько набок голова, его сосредоточенно устремленные вперед задумчивые и уже потухающие глаза, его белая, с ногтями как большие миндалины, рука, опирающаяся на высокую трость, его подстриженная довольно коротко и, как осенний снег, белая борода; ну, словом, весь он всецело и каждая часть его старческого тела могли быть названы вполне изящными и кровно аристократическими. Даже платье, в которое он был одет, и оно могло служить превосходной моделью для художника. Счастлив тот художник, которому пришлось бы написать портрет или вылепить статую с такого благородного, с такого почтенного и красивого старца. Не надо обладать и особой наблюдательностью, чтобы, посмотрев на него, сразу решить, что он принадлежит к истым аристократам. Но мне хотелось узнать — кто он? И я последовал за ним. Старик медленно подвигался вперед, шмыгая своими бархатными сапогами по желтому песку бульвара. За ним с зонтиком в руках шел по пятам его высокий, бравый лакей, одетый в щегольскую ливрею. Пройдя бульвар, последний, подскочив к старику и взяв его под руку, повернул с ним направо. Они прошли вместе улицу и затем вошли в ворота большого барского дома. Дворник при их появлении почтительно снял шапку, и, когда они удалились, я спросил его, кто этот старик?

— Этот старичок, — повторил дворник, глядя на меня искоса и надевая свою баранью шапку, — это его сиятельство князь Н.

Так вот кого, — аристократа-князя напомнил мне и мой старичок — старик-крепостной, бывший, быть может, раб такого же князя, как и Н. Правда, что у моего крепостного раба-старика не было той белизны и нежности кожи ни на руках, ни на лице; не было также того покойного задумчивого взгляда, как у князя; не было, конечно, и того, изящного, живописного костюма и белых ногтей, напоминающих миндалины; но, тем не менее, сходство во всем, особенно в благородстве всего — существовало, и сходство несомненное...

Старик, стоящий передо мною в моей мастерской, был высокого роста, но уже согнувшийся, как верхняя ветвь высокой ели, когда среди теплой зимы ее облепит пушистый снег. Борода его была не такая белая, как у князя, а скорее серая, напоминающая цвет подержанного серебра, но так же подстриженная; глаза грустные, как бы задернутые черным флером или временем долгого страдания, и на одном из них виднелось большое белое пятно. Вместо плаща на нем красовался широкий с заплатами крестьянский кафтан цвета ржаного хлеба, подпоясанный узким ремнем с медной пряжкой. На ногах, одетых в шерстяные чулки, торчали опорки. И несмотря на такой неприглядный костюм, во всей фигуре старика, особенно же в его лице, было что-то, несоответствующее его костюму и положению.

Таким показался мне старик при первом с ним знакомстве; таким же он казался и после. Имя старика было Христофор, фамилия же Барский; быть может, к ней нужно было бы прибавить еще и нарицательное — сын...

Когда я стал писать со старика, мы вступили в разговор. Говоря, он часто удушливо кашлял, придерживая грудь ладонью правой руки.

— Вы давно в нашем городе? — спросил я между прочим.

— Скоро, сударь, два года будет, как я пришел сюда, — ответил он и закашлялся.

Когда кашель унялся, я снова спросил:

— И все время занимаетесь поденной работой?

— Точно так, сударь, почти что все время; только один месяц прожил как-то у одного отставного капитана. Был я у него, сударь, садовником; жить было хорошо, работа была по мне, не особенно трудная; кормили вдоволь, и все было ладно, да уж очень ругался капитан, самыми что ни на есть неприличными словами обзывался, так что на старости моих лет ежеминутно слушать его ругань мне показалось и зазорно, да и грешно. Я и ушел от него...

— А чьих господ вы были до освобождения?—продолжал я расспрашивать.

— До освобождения... то есть до свободы-то... — проговорил старик медленно и как-то горько улыбнувшись. — До свободы, — шептал он задумчиво, —и потом вдруг, подняв голову и устремив на меня свои грустные глаза, заговорил:

— Не так, сударь, изволите спрашивать: „Чьих был господ?“. Вам бы следовало спросить, чьих я не был господ?.. Многим, сударь, переслужил на своем веку... о-о-ох, как многим... — говорил старик, качая головой. — Начиная от князя Хмурова, у которого до двадцатилетнего возраста был я чтецом, музыкантом, а затем камердинером, и далее — у князя Блудова, у графа Максютова, у генерала Беклешева, а потом у Нащокина, у Попова, Щербатова, Полторацкого и кончая господином Пустоваловым, при котором и получил свободу. Господин Пустовалов продал землю, лес, дом с родительским благосостоянием, продал все, что мог продать, а сам уехал за границу, оставив нас без куска и угла, и, уезжая, только сказал на прощанье: „Ну, милые, ступайте теперь к тому, кто даровал вам свободу, — он милосерд, всех вас напоит, накормит, обует и оденет, а я вам, други мои, больше не кормилец“. Крикнув затем ямщику: „пошел“, он выехал со двора и только за воротами, обернувшись к нам, провожавшим его дворовым, сделал ручкой... Уехал, а мы, спустя день-другой, взяли по котомочке да и разбрелись мыкать горе в разные стороны.

— Мне говорила о вашем положении Вера Николаевна, и я завтра же поеду к Савве Прохоровичу Щукину и буду убедительно просить его, чтобы он поместил вас в свой приют.

Старик быстро встал и поклонился мне низко-низко. Тут только я заметил, что глаз, на котором было у него белое пятно, совсем не закрывается. С этим незакрытым глазом он заговорил сквозь слезы:

— Ах, милостивый господин, если бы это возможно было вам сделать!.. Если бы господь милосердный помог этому!.. Может Савва Прохорович и услышит вашу просьбу и мои мольбы, может и даст мне по доброте своей

угол да кусок хлеба при конце дней моих... Еще поднимаются, сударь, мои старые руки и бродят пока ноги, а ведь страшно, сударь, — и старик при этих словах как бы действительно чего-то невидимого пугался, — страшно даже подумать, когда откажутся они и придется протянуть руку христа ради... Господи, господи милосердный, — обращаясь снова к этюду Христа, говорил старик, — прекрати лучше мои горькие дни!.. — И, закрыв лицо руками, старик затрясся всем своим старческим телом.

Он плакал... плакал тихо... тяжело.

На другой день утром я отправился к Савве Прохоровичу... Считаю не лишним рассказать тут же кое-что и о Савве Прохоровиче. Это был почетный гражданин, первой гильдии купец, по своему богатству и благотворительности известный не только нашему городу, но и всей России. В былое и очень даже недавнее время он строил церкви, лил колокола, жертвуя их в разные обители; но, съездивши за границу и случайно познакомившись с художниками и учеными, бросил отливать колокола, обрил бороду, по-немецки остригся, по-немецки оделся и как-то вдруг стал слыть меценатом и даже археологом. Ради этой археологии он покупал всякую рухлядь, начиная с глиняных горшков, гобеленовских совсем полинялых ковров и кончая гетманской булавой, которая досталась ему за весьма большие деньги. Одновременно с такой любовью к древностям он почему-то возымел неудержимую страсть к музыке и до того ею увлекся, что даже и сам стал учиться играть на виолончели. Окружив себя музыкантами, художниками и учеными, он все-таки, надо отдать ему полную справедливость, не переставал иногда благодетельствовать и бедному народу. Довольный всегда собой, веселый до неуместной шутливости и подчас резонер до фразерства, Савва Прохорович являл из себя тип самообольщенного богача, но богача, который не удовольствовался еще имеющимися у него миллионами, и потому ежедневно бросал на несколько часов вышеупомянутые бредни и всецело, даже с каким-то азартом, предавался увеличению своих капиталов. Трудно понять, ради чего он их с такой жадностью увеличивал. Он был один-одинешенек, жена у него давно умерла, а детей не было.

Собой Савва Прохорович был некрасив, но далеко и не дурен. Среднего роста, чуть-чуть что не толстый, с серыми маленькими глазами, с двойным подбородком, небольшим носом и такими же губами. Вообще он был человек, о котором говорят, — метет, — то есть мужчина солидный, приличный и больше ничего. Чтобы вполне, однако, закончить описание Саввы Прохоровича, я должен прибавить, что одевался он всегда франтом и не выпускал никогда изо рта благовонной гаванской сигары, предлагая гостям сигары похуже. Вот и все, что можно сказать о Савве Прохоровиче, если не касаться его нравственной стороны. В последнем случае мы ограничимся двумя словами. Он был несомненно человек доброй души и с хорошими стремлениями; но убийственное воспитание и окружающие люди, окуривавшие его вместо истины лестью и ложью, сделали из его восприимчивой натуры не то, чем бы она могла быть при других условиях.

Я приехал к нему утром. Меня пригласили в кабинет, до которого нужно было пройти целую анфиладу комнат, убранных роскошно, но не с большим вкусом. Прежде всего бросались в глаза красный штоф и золотая мебель. Повсюду были приспособлены разные полки и полочки, на которых в бесчисленном множестве, вместе с горшками и какими-то черепками, стояли этрусские, китайские, японские и другие вазы. Между ними помещались какие-то из дерева резные раскрашенные уродцы. Множество книг и древнего оружия украшали стены. К довершению же всего в одном из углов на высоком пьедестале стоял мраморный бюст самого Саввы Прохоровича. Я помню этот бюст, когда он как-то красовался на одной из столичных выставок. Вся публика особенно обращала внимание на лаконическую надпись под ним „Бюст мужчины".

Вторая комната также была наполнена старыми вещами, но в ней я увидел и разные великолепные музыкальные инструменты; третья опять в том же характере, как первая и вторая, и т. д. вплоть до кабинета, где сидел, пощелкивая на счетах, Савва Прохорович. При моем приходе он как-то развязно, переваливаясь с ноги на ногу, мотая головой и закидывая ее кверху, устремился ко мне. Протянув мне обе руки, он любезно и улыбаясь заговорил часто и картавя:

— А! Господин художник! Милости просим! Очень рад! Что, батенька, прикажете? Ну, что хорошенького?.. Садитесь пожалуйста... Сигарочку...

Он достал из ящика и подал мне сигару, несмотря на то, что я чуть ли не в сотый раз отказывался от его сигар, так как никогда не имел и не имею привычки их курить.

— Ну, батенька, Егор Иванович (меня же никогда еще и никто не звал Егором Ивановичем), ну-с, рассказывайте, что новенького? Рассказывайте, голубчик...

И вдруг ни с того, ни с сего, закатившись громким смехом, Савва Прохорович вскричал: — Ах, вы художники, художники! Люблю я вас!.. веселый вы, право, народ!..—Но, приняв опять серьезный вид, он добавил: — Так-тось, батенька!.. — и ударив по моему колену своей жирной рукой с большим перстнем на указательном пальце, сказал не то деловым, не то шуточным тоном: — Ну-с, в чем у нас с вами, Федор Егорович, будет дело?.. говорите...

— У меня до вас, Савва Прохорович, большая просьба, — начал я; и не успел еще высказаться, как заметил, что Савва Прохорович точно потянулся, лениво зевнул и поморщился. — Вы человек известный всем и каждому своей благотворительностью... — при этих словах Савва Прохорович еще более поморщился... — Много сделали полезного для науки и искусства... Наконец, вы выстроили дом призрения для бедных рабов, оставленных без куска хлеба своими бывшими господами... Многих из сих несчастных вы собрали под один кров и составили из них как бы одну семью... Это дело великое... Довершите его и еще одним благодеянием... Приютите одного несчастного восьмидесятичетырехлетнего старика...

Я рассказал ему подробно все, что знал о Христофоре Барском. Савва Прохорович был, по-видимому, тронут положением несчастного старика и дал мне слово поместить его непременно в свой приют.

— Впрочем, — добавил он, — вот беда! Не знаю, батенька, есть ли теперь там свободные места. Если нет, то ему придется подождать недельку-другую... Но во всяком случае будьте уверены, что мы его поместим... Благодарю, — сказал Савва Прохорович с особенным чувством, — вы дали мне случай утереть слезы еще одному несчастному. Пришлите его ко мне завтра. Мы с ним потолкуем.

На все это я, уходя, ответил низким поклоном.

— Прощайте, прощайте, голубчик! — и Савва Прохорович пожал мне руку и, засмеявшись, добавил, — ах, вы, художники, художники! Веселый народ! Ну, бог с вами, батенька, прощайте!..

Мы расстались.

Все мною рассказанное, надо заметить, происходило в конце лета.

На другой день я сообщил старику Барскому о результате разговора с Саввой Прохоровичем. Нечего и говорить о радости Барского. Он начал креститься на этюд и, кажется, имел намерение поклониться мне в ноги.

Написав к Савве Прохоровичу записку, я просил Барского на обратном пути от Щукина зайти ко мне.

Почти к вечеру зашел ко мне Барский, веселый, даже, как мне показалось, бодрее обыкновенного. Он рассказал мне, что видел Савву Прохоровича самого и от самого получил визитную карточку, на которой было написано: принять немедленно в число призреваемых. Только смотритель приюта, когда Барский к нему явился, сказал, что теперь в приюте места нет и что надо понаведаться недели через две.

— Слава тебе Господи, царь небесный!.. — заключил Барский, набожно перекрестившись. Теперь и жить-то, сударь, как-то веселее стало... даже словно дышать-то легче, право, легче... Пошли вам... — начал он снова меня благодарить.

Я попросил его сходить к Вере Николаевне и сообщить обо всем ей.

— Как же-с! Как же-с! — заторопился старик, — прямо от вас побегу к ней... Ах, сударь, какая добрейшая барыня эта Вера Николаевна... Вот уж истинно можно сказать, это не женщина, а сама добродетель. Как она обрадуется за меня!.. Прощайте сударь! Пойду, уведомлю ее...

И, постукивая своей палкой, весело улыбаясь, вполне довольный и счастливый, он удалился.

Прошло далеко более месяца. Дни стали уменьшаться, ночи растянулись чуть не в бесконечность, и скучная осень с неприветливыми до тоски дождями, с холодными, как рыдание смерти, ветрами и разными болезнями, всегдашними ее спутниками, уже приближалась к концу. Барский заходил ко мне в это время раза два, но в приют, за неимением места, помещен еще

не был. Наведывался же туда, в ожидании благ и заманчивого покоя, аккуратно через каждые две недели.

Прошла, наконец, скучная для всех и каждого, кроме борзятников, северная осень; наступала зима с вьюгами и метелями: время близилось уже к празднику Рождества Христова, а Барский все еще ходил наведываться в приют и все еще свободного места там не находилось. Но я узнал стороной, что в приют принято за это время несколько городских мещан, даже один промотавшийся купец, которого за отчаянное буйство и беспросыпное пьянство скоро выгнали. Барский же холодный, зачастую голодный, продолжал кашлять, хрипеть, колоть дрова, носить воду, сгребать снег, ночуя где в сенях, где в сарае, и за особую милость на кухне.

Наступил февраль месяц. Как-то раз в сильно морозный день вошел ко мне Барский. Лицо его было сине-зеленое, глаза совсем потускли. Он тяжело дышал и чаще обыкновенного кашлял. Я предложил ему стул; он както немощно на него опустился.

На мой вопрос о деле он ответил:

— Ничего нет, сударь! — и отчаянно махнул рукой. — Я и пришел к вам насчет этого, — говорил Барский. — Что мне делать, сударь, право не знаю... Уж не бросить ли все?.. Вот уже более полугода аккуратно я хожу в приют, и конца моему хождению никогда, как видно, не будет... Дал мне г. Щукин и еще письмо к смотрителю, но смотритель говорит все то ж: „Подожди да подожди, нет места". Силы мои, сударь, слабеют... работать почти не могу... Что мне делать? Научите, ради бога... О, господи, господи! — простонал Барский, безнадежно опустив на грудь голову и ухватясь руками за колено.

— Вот что надумал я, — едемте завтра вместе к Савве Прохоровичу и попросим его убедительно еще раз...

На следующий день мы отправились к Щукину. День был морозный. Барский, одетый в один только рваный кафтан, подпоясанный ремнем, прозяб, видимо, жестоко. На извозчике он поставил палку между ног, засунул глубоко руки в рукава и, съежившись, весь дрожал.

Более получаса тащились мы до дома Щукина, наконец, приехали. Я позвонил и, узнав, что Савва Прохорович принимает, вошел в дом. Барский же остался дожидаться на морозе. Доложив барину, лакей пригласил меня в кабинет, где сидел Савва Прохорович за счетами. Мы поздоровались. Он немедленно же предложил мне сигару.

— Не курю, благодарю вас! — сказал я, невольно улыбнувшись.

Г. Щукин положил сигару обратно в стол и опять произнес свое привычное:

— Ах, вы художники, художники!..

— А я к вам, Савва Прохорович, не один...

Он взглянул на меня вопросительно.

— Со мной старик Барский. Помните, о котором я просил вас?

— Ах, да! Как же, помню. Ну что, он покоен? Доволен?..

Я в свою очередь взглянул вопросительно и также спросил:

— Чем же это быть ему довольным?

— Как чем!.. Я устроил его в приют и думаю, что живет он там, — ну... ну, словом, как у Христа за пазухой.

— То-то и есть, Савва Прохорович, что он теперь не у Христа за пазухой, как вы говорите, а стоит на морозе, дожидаясь позволения войти к вам и еще раз самолично, слезно умолять вас сжалиться над ним и поместить его в приют.

— Как же это так?! — как бы сконфуженно проговорил Щукин. — Я был уверен, что он давно там... Это какое-нибудь недоразумение... — и он позвонил.

Вошел лакей.

— Там на дворе стоит старик, — обратился к нему Савва Прохорович, — введите его туда, ну, хоть в столовую. — Это черт знает, что такое!.. — начал он снова, закинув назад голову.

— Это все каналья Недыхляев выделывает разные штуки. Я вполне был уверен, что старика давно уже поместили.

Проговорив все это сердито, он затем вскоре успокоился и начал мне рассказывать о новых пьесах Антона Рубинштейна, о разных концертах и проч. и проч.

— А вы бы как-нибудь ко мне... на квартетное собрание. У меня по четвергам всегда музыка... Я и сам немножко балуюсь этим... А вот кстати... Это мне посвятил... видите, и моя фамилия напечатана... А. И. Дюбюк. Он показал мне тетрадку, в которой помещались две-три русские песни.

Закурив свежую сигару, Савва Прохорович продолжал:

— Я вот тоже очень люблю Листа...

Но в этот момент вошел лакей, доложив, что старик пришел и дожидается. Савва Прохорович встал, запахнул свой бархатный малиновый халат и, опоясавшись шнуром с большими кистями, обратился ко мне.

— Ну-с, пойдемте к нему.

Он взял меня под руку, и мы направились в столовую, поддерживая друг друга как бы два закадычные приятеля.

Столовая, комната громадных размеров, роскошно отделанная дубом, с люстрой и канделябрами оксидированного серебра. Громадный буфет украшен множеством старинного серебра. По стенам столовой в рельефные рамы помещены вместо гербов барельефы, изображающие всякую дичь от толстого кабана до гаршнепа, — маленькой птички, состоящей из длинного носа и больших крыльев.

Это одна из лучших комнат в доме Щукина. Она напоминает столовые знатных баронов, герцогов и даже королей в средние века. Когда мы вошли в нее, вот какая картина представилась нашим глазам. Старик Барский стоял у самой двери, а в стороне налево у буфета вытянулся лакей в белом галстуке и во фраке. Последний, видимо, караулил серебро, считая вполне естественным, что такой оборванец не упустит случая и стянуть что-либо.

Мне показалось, что Барский понимал это, и потому стоял точно сконфуженный.

— А! Здравствуй, старик! — подходя вперевалку к Барскому, заговорил Савва Прохорович, опустив мою руку и закинув кверху голову.

— Как же это ты, любезный, до сего времени не в приюте? Я уже собирался к тебе туда с визитом ехать... а ты, на-тко, кутишь еще на свободе, точно наемный охотник, которого собираются сдавать в солдаты, — говорил Савва Прохорович, смеясь. Барский низко поклонился и закашлялся. Спустя же минуту, тяжело дыша, медленно и хрипло ответил:

— Все еще места говорят нет, ваше степенство, Савва Прохорович! До сего времени еще не освободилось ни одного места, вот, какое горе мое. А силы мои все слабеют... не только работать, но и бродить становится тяжело. Чувствую, что жить мне осталось немного. Не допустите, батюшка, благодетель наш, умереть мне, горькому, на улице... как псу, у ворот опустелого дома.—И он, неожиданно, буквально упал к ногам Саввы Прохоровича, так что тот отпрыгнул от него на несколько шагов.

— Встань, встань, старик! — зачастил Щукин, видимо, озадаченный неожиданным падением Барского. — Встань! Я тебе говорю встань. Не люблю я, чтобы мне поклонялись... Богу надо поклоняться, а не человеку.

Барский с трудом, кряхтя и кашляя, приподнялся с паркетного пола, но оставался на коленях. И, как священник перед престолом, во время совершения св. таинств, распростер он к Щукину свои старческие руки, заговорив снова прерывисто:

— Разве любовь к ближнему, батюшка, ваше степенство, и милосердие к страждущим не есть заповедь сына единородного? Ты милосерд, ты исполняешь заповедь Христову, а потому я тебе и поклоняюсь и взываю: не допусти меня, благодетель милостивый, возроптать на всевышнего, сотворившего меня, и на мать мою, породившую меня на свет божий. Дай мне возможность с верою окончить жизнь мою скорбную, исполнить долг христианский перед кончиною, чтобы мог я с миром и любовью предстать на страшном суде перед лицом всемогущего.

Он снова повалился на пол к ногам Щукина; когда же опять хотел приподняться, то уже не мог. Я и лакей подняли его на ноги.

— Полно, полно, старик, так убиваться! — видимо, тронутый всем происшедшим, заговорил с ним ласково Савва Прохорович. — Умирать тебе, любезный, рано. Еще мы с тобой поживем на славу. Помещу я тебя в приют, а когда ты там поотдохнешь и соберешься с силами, тогда мы выберем тебе старушку помоложе, сосватаем вас, да и женим; и будете вы жить в удовольствии, не выпуская друг друга из объятий. Да чего доброго, еще, пожалуй, дети пойдут. Не правда ли? — весело смеясь, обратился ко мне Савва Прохорович.

Я молчал. Лакей во фраке улыбался. Барский же, обратясь к Щукину, заговорил снова и еще более хрипло.

— Нет, благодетель, ваше степенство, Савва Прохорович! Не о женить-

бе и мирской суете мне думать, не те уж мои лета; мне уж восемьдесят пятый год, а в эти годы не пригоже не только говорить, даже и помышлять об этом. Вся забота моя о душе, чтобы не погубить ее в муке вечной, да к тому же, милостивый отец мой, ох, как болит мое старое тело, а кости мои так и мозжат и ноют, что кроме отдыха и покоя, ничего я и не прошу от вас, милостивец, и от господа бога.

— Ну, полно, любезный!.. все так говорят, когда чего-нибудь выпрашивают, — смеясь продолжал Савва Прохорович. — Там, как обогреешься да раздобреешь, не только забудешь о своих болестях, а еще, пожалуй, развратишь всех моих целомудрых старух и будешь, как турецкий султан, выбирать, которая из них покрасивее, покрепче, помоложе, да поядренее. Ведь правда? — обратился он снова ко мне, довольный, видимо, своей шуткой и хохоча на всю столовую.

Я молчал, лакей фыркал, прикрыв рот ладонью и отвернувшись к буфету; Барский же стоял, смотрел вниз и только шевелил как-то нервно губами.

— Ну-с, старый молодчик, так ты подожди! — заговорил опять Савва Прохорович. — Я сейчас напишу письмо, и будь уверен, что завтра же ты будешь в приюте. А что это будет исполнено, даю тебе честное слово Саввы Щукина. Только смотри, любезный, уговор лучше денег, — старух моих не развращать, а уж если очень будут обуревать тебя страсти, то выбери одну по сердцу и сочетайся с ней законным браком. Я буду посаженым отцом, а вот они, — указал на меня Савва Прохорович, — дружкой, — и он, хохоча, хлопнул меня при этом по плечу и ни с того, ни с сего опять проговорил:

— Ах, вы художники, художники! Уж именно артисты!

Повернувшись затем спиной, развалистой походкой Савва Прохорович пошел в кабинет.

Лакей уж без церемонии хохотал, а Барский стоял, смотрел в пол и продолжал шевелить губами, как будто шептал молитву, в которой благодарил господа бога, что, наконец, искус его кончился, и настал день отдыха и покоя. Я подошел к нему и тронул за плечо.

— Так вы смотрите же, дождитесь письма и прямо от Саввы Прохоровича отправляйтесь в приют, — сказал я ему.

Но старик не пошевельнулся; он, видимо, моих слов не слыхал. Я тронул его сильнее. Тогда, как бы проснувшись, старик взглянул на меня мутным взором и прошептал:

— А?.. Что?.. Чего изволите?..

Я повторил свои слова.

— Подождать письма ... от Саввы Прохоровича, — шептал он, как во сне. — Слушаю-с! Хорошо-с! Подожду.

Савва Прохорович писал между тем наистрожайшее письмо о немедленном принятии старика в приют и закончил письмо следующими словами: „Даже если нет места, то все-таки принять сверх комплекта“.

Закончив письмо, он позвонил и велел лакею сказать старику, чтобы тот немедленно шел в приют.

Поблагодарив еще раз Савву Прохоровича за старика, я отправился домой, вполне довольный результатом нашей поездки. Я даже похвалил себя за то, что мне пришла счастливая мысль ехать самому вместе с стариком к Савве Прохоровичу.

Но, однако, на следующий же день случилось то, чего я никак и ни в каком случае не мог предвидеть. Около полудня неожиданно ко мне явился Барский. Он был утомлен, печален и казался совсем убитым.

— Что? Опять не поместили? — встретил я его вопросом. Барский, прижимая ладонь к груди, закашлялся. Но прошел припадок кашля, и он, грустно-тоскливо взглянув на меня, медленно проговорил:

— Нет, сударь, нет! Они и не могли меня поместить... Я ведь не ходил в приют ни вчера, ни нынче.

— Почему же вы не ходили? — спросил я, немало удивленный его поступком.

— Почему не ходил? — повторил он мои слова, задумавшись на минуту. — Почему не ходил?.. — прошептал он снова, как бы в раздумье, видимо, не желая меня обидеть. — А вот почему, — начал он, быстро закинув кверху голову и смотря на меня в упор. — Мне, сударь, как вам уже известно, восемьдесят пятый год. Лет семьдесят я гнул спину и перетерпевал всякого рода несправедливости и оскорбления... Лет семьдесят честно служил многим господам... и остался на старости лет нищ и убог, как вы сами изволите видеть.

Высказав это, он опустил голову на грудь и развел широко руками как невинно осужденный на смерть. Помолчав затем с минуту, он продолжал:

— Встретила меня, сударь, добрая барыня Вера Николаевна. Сжалилась она, милосердная, над моим бедственным положением и указала мне путь, через вас, государь мой, обратиться к известному всем благодетелю господину Щукину (при слове *господин* он как-то искривил губы). Были мы, сударь, с вами у него, и я и вы изволили видеть, что это за благодетель и что за человек. Я его молил о помощи, а он надо мной стал издеваться. Шел я к нему с любовью и надеждой, а вышел с тоской и отчаянием. С тоской о том, сударь, что не кончилось еще рабство и, должно быть, никогда не будет ему конца. Семьдесят лет, сударь, надо мной издевались разные господа мои... семьдесят лет в глазах их я был не человеком — с разумом и чувством, а какою-то неодушевленною вещью... Многие, многие годы ждали мы себе свободы и, наконец, дождались ее.... Что же я узрел вчера?.. Снова нужно вступать в это рабство, нужно гнуть спину и снова видеть и слышать, как издеваются над полумертвым, немощным человеком, которому хотят оказать какую-либо помощь... И прежде чем дадут ее, унизят, оскорбят, истерзают, а затем бросят кусок хлеба.... Да еще бросят ли? Но что наверное будет, сударь мой, так это то, что прокричат они на весь город: мы, дескать, отцы и благодетели!.. благодетели!.. — Нет, сударь!..

Он полез при этом за пазуху, вытащил оттуда письмо Саввы Прохоровича и, подавая его мне, сказал:

— Возьмите, сударь, это письмо, передайте его господину Щукину (он снова сделал какое-то особое ударение на слове господин); скажите ему, что стар я... конец мой близок и в новое рабство, еще более постыдное, чем то, в котором я находился весь свой век, больше не пойду!.. В том я с детства привык считать себя рабом, рожденным от рабов отца и матери... А здесь нужно добровольно надевать это ярмо и смиренно нести его. Нет! этому не бывать!.. Уже если были у меня господа, мои повелители, богом и царем данные за наши великие прегрешения, то все-таки они были господа законные и господа по крови и плоти, по образованию и воспитанию, и по заслугам царю и отечеству... Как худы они ни были, все же не чета господину Щукину. Меня, умирающего старика, которому не только говорить, даже дышать-то подчас трудно, господин Щукин нашел удобным утешать шутками, да и какими шутками... Вы сами, сударь, изволили слышать. Ну, да что и говорить... довольно... — и старик махнул рукой. — Так передайте ему. сударь, вместе с письмом мою благодарность и прибавьте, что Христофор Барский был раб и стал свободным человеком; был добр — и через него, благодетеля, озлобился; был кроток душой, а ныне возгордел и не примет от него никаких богатых и щедрых милостей... Он идет умирать, как та, никуда не годная, хромая и ослепшая рабочая лошадь, у которой умер старый хозяин, — идет умирать в поле, на большую дорогу...

Барский положил при этом письмо Саввы Прохоровича на близстоявший стул, а затем, перекрестившись несколько раз на этюд Христа, сказал:

— Прощайте, сударь! Прощайте!.. Господь над вами... благослови он вас за добрую помощь...

Барский ушел, а я все еще стоял на одном и том же месте; я остолбенел... Мне стало стыдно за самого себя... мне все еще слышались правдивые, умные слова Барского...

Прошло некоторое время. Я ничего не слыхал о Барском. Как-то, встретив Веру Николаевну, спросил ее: не знает ли она чего о нем? Но она также ничего не могла сообщить, кроме того, что Барский заходил к ней проститься и что он ушел куда-то совсем из города.

В мае месяце этого же года я с товарищем своим поселились на одной даче близ небогатой и небольшой обители. В этом монастыре был замечательный сад, большой и тенистый, с проточными прудами, наполненными всякой рыбой. Настоятель монастыря этот сад любил, холил и держал в чистоте изумительной. Мы с товарищем ходили в этот сад каждый день гулять. Проходить в него нужно было через монастырский двор, вымощенный камнем, мимо келий, собора и церквей. У одной из церквей красовалось несколько мраморных памятников и крестов. Здесь были похоронены богатые жертвователи и умершие настоятели монастыря. Между этими

могилами была одна, вся усаженная цветами, посреди которой возвышался большой мраморный белый крест, а под ним покоился монах, уже лет двадцать умерший, отец Серафим. В монашестве он считался святым, память о нем и уважение к его имени не ослабевали с годами, а, напротив, росли изо дня в день. К нему на могилу ходили не только богомольцы, но на его могиле монахи служили панихиды три раза в год целым собором. Служба эта совершалась в день его ангела, в день кончины и в день праздника всех святых. Раз вечером, возвращаясь с товарищем с прогулки, мы встретили знакомого нам монаха. Поговорив о том о сем, он, между прочим, сказал нам:

— Вы бы, господа, пожаловали к нам завтра.

— А что у вас завтра? — полюбопытствовали мы.

— У нас завтра большая панихида; служить ее будут всем собором на могиле отца Серафима. Приедет настоятель Н-ского монастыря, и он также отслужит вместе с нашим. Пожалуйте! Посмотреть любопытно... После поздней обедни начнется панихида часов в 12. Услышите, как заблаговестят в большой колокол... Пожалуйте!..

Мы обещали и пошли домой.

На другой день к нам приехал еще товарищ; вследствие чего на панихиду в монастырь мы не попали и пошли гулять в монастырский сад только вечером. В монастыре мы встретили целую толпу монахов около могилы о. Серафима. Между ними находились оба настоятеля, они о чем-то разговаривали. Мы спросили у встретившегося монаха, что там случилось?..

— А ничего особенного-с! Скончался какой-то неизвестный богомолец.

Подойдя к монахам, мы увидали прислонившегося спиной к кресту сидящего человека. Поздоровавшись с настоятелями, я взглянул в лицо сидящего человека и всплеснул руками. Под белым крестом на могиле о. Серафима сидел Христофор Барский, уснувший сном вечным, угасший и давно уже охолодевший.

— Знаете ли вы, святые отцы, кто сей человек?.. — обратился я к стоящим монахам. — Это сподвижник и мученик, которого возлюбил Христос и привел его скончаться у подножья того символа любви, терпения и страдания, на котором он сам испустил свой божественный дух. Поклонитесь ему, братия!.. — как-то уж чересчур торжественно сказал я, так что самому стало неловко. Затем, оправившись, я рассказал им все, что знал о мученике Христофоре Барском. Оба настоятеля и все монахи слушали мой рассказ с большим вниманием. Даже Христофор Барский, сидевший от меня в двух шагах, склонил свою голову и, вытянув вдоль ног свои усталые руки, тоже как будто прислушивался к тому, что я говорил. Мутный глаз его с белым пятном не закрылся и был устремлен как-то вперед, точно перед ним раскрылась вечность и он видит доселе им невиданное. Я кончил. За мной тихо и медленно заговорил настоятель.

— Сей раб божий, Христофор, волею божею скончался в день памяти нашего славного сподвижника о. Серафима; и сам он в жизни, как мы только

что слышали, много потрудился. Сие как бы указывает нам, братья, почтить его память, а потому и погребем его соборне.

Все монахи поклонились.

— Возьмите его, — продолжал настоятель, — оденьте его в чистую и новую одежду, снесите в братский покой и приготовьте все к погребению.

Несколько человек из братии подняли и понесли на руках покойника мимо собора. Незакрывшийся глаз Христофора Барского как будто смотрел на стену церкви, на которой был изображен во всей своей славе смотрящий вниз и благословляющий всех обеими руками всеведущий бог-отец.

Был поздний вечер. Солнце давно уже спустилось за горизонт. Монахи с телом исстрадавшегося брата рисовались темными пятнами на светло-розовом безоблачном небе. Вся картина была проста и поэтична.

На третий день торжественно на братском кладбище всем собором похоронили Барского. На могиле его настоятель сказал теплое слово о смирении, кротости и послушании, а все монахи хором пропели „вечную память" рабу божию Христофору, скончавшемуся под крестом.

ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА

I

„Благословен еси Господи, научи мя оправданием твоим!“, — пел, заливаясь, сапожник Мелентьич, идя по пустынной Пресненской улице в самом лучшем расположении духа. Заказчик, от которого он возвращался домой, остался очень доволен его работой, заплатил деньги сполна да еще дал на водку. Вдобавок Мелентьич так устроил дело, что сделался годовым поставщиком и по случаю всех этих радостей, выпивши порядком, воздавал хвалу богу, с умилением вытягивая „Ангельский собор удивись...“.

— Чего ты орешь, беспутная голова? — заворчала на него высокая, полная женщина, выходя из мелочной лавки с хлебом и угольями. То была его супруга Авдотья Ивановна, или Душа, как он звал ее. — Видно, тебе в части захотелось посидеть, — добавила она.

Мелентьич остановился, замолк и уже сконфузился и, как-то нерешительно протянув руку с баранками, сам пошатываясь, сказал:

— Душа, а Душа! А я тебе филипповских купил.

— То-то тебя и разобрало, что орешь на всю улицу, — проворчала Авдотья Ивановна и, не взглянув на мужа, пошла домой. Мелентьич по-

стоял, покачал головой, смотря куда-то в сторону, взглянул на небо, как будто прося его защиты и, вздохнув, пошел вслед за супругой. Он был совершенный контраст со своей крупной Душей: маленький, с рыжей редкой бородкой, как будто и родился-то он для подтверждения пословицы, что „маленькая собачка до старости щенок“. Одет он был в длиннополый купеческий сюртук, дутые сапоги, на голове высокий ватный картуз. Костюм его, благодаря Авдотье Ивановне, был довольно опрятен.

Живи Мелентьич в настоящее время, я рекомендовал бы его читателю, как сапожника, известного всему околодку. Сапоги он шил, сказать по правде, не изящно, не то что Пироне или другая какая-нибудь знаменитость, и товар тонкий ставить не любил, находя его непрочным, но зато работал крепко, ну словом здорово. Сам надзиратель второго квартала и священник местного прихода отзывались с большой похвалой о его работе. Жил он недалеко от того места, где встретился и был сконфужен своей супругой. Если от мелочной лавочки Федора Иванова идти прямо, то, прошедши шагов сто, направо будет переулок. Идите по нем до старых каменных ворот, украшенных двумя львами, похожими на лягушек; взглянув в ворота, вы увидите флигель, в нем-то и живет Мелентьич. Над окном его квартиры прибит железный лист, на котором самым нелепым образом изображены два сапога с желтыми отворотами, внизу надпись „Никита Мелентьев“. На окнах висит много клеток с разнообразными певчими птичками и стоит банка цветов.

Войдемте, пожалуйста, не стесняясь в квартиру Мелентьича; там не то, что у других сапожников: грязь, вонь и всякая мерзость. У него этого не встретите. В квартире его чисто, пол вымыт, у двери рогожка, между окон зеркало с повешенным на нем шитым полотенцем. У окна влево на широкой лавке лежат сапожные инструменты, на полке расставлены разнообразные колодки, начиная с самой маленькой, кончая самой большой; на гвоздях бумажные мерки с надписями, писанными рукой Авдотьи Ивановны. Перед лавкой бочонок с кожаной вроде блина подушкой, тут восседает, работая, Мелентьич, направо всегда сидит его супруга за шитьем для соседей и знакомых. Милосердия божьего у них много: Мелентьич — человек набожный. Заказов у него много, даже из отдаленных частей города, в некоторых домах Мелентьич состоит годовым и хвалится этим: „мы, дескать, того... вот оно что“. Вообще живут они безбедно, даже очень безбедно: едят хорошо и чай пьют раза по три в день. Большой также охотник Мелентьич ловить птиц; стены и потолок его квартиры увешены клетками с птицами, которых он иногда продает, но барыша от этого не имеет, нет, говорит, настоящего покупателя. Водку Мелентьич пьет редко, разве при счастливой сдаче работы, или в двунадесятый праздник. Жены не то что боится, но как-то конфузится, работает с утра до вечера. И живут они таким порядком довольные и даже счастливые.

Особенно приятно посмотреть на их тихую и покойную жизнь в летний солнечный день: окно отворено, перед ним сидит Мелентьич и, посту-

кивая молоточком да размахивая жилистыми руками, тачает сапоги, распевая нескончаемую песню. Кругом пернатые заливаются на разные голоса, как будто стараются заглушить хозяина, но напрасно: он поет ровно, не возвышая, не понижая своего тенора. Вдруг некстати, невпопад общего пения, хватит к потолку подвешенный перепел и собьет всех. Мелентьич замолчит, поднимет голову, и все птички замолкнут, как бы ожидая, что будет, а перепел уже опять сидит нахохлившись, точно околевать собрался. Мелентьич сплюнет, примется за работу и опять затянет свою песенку, птички зачиликают, и вся комната наполнится разнообразными звуками, а солнышко своими лучами пробирается в комнату, крадется по стене, где стоят колодки, переходя с предмета на предмет, добирается и до Мелентьича и дрожит на его работе. Мелентьич встанет, прицепит к окну занавеску, которая нет, нет да и колыхнется от легкого ветра, обжигающего Мелентьича свежестью, а он сидит себе, постукивая, и все тянет свою любимую песню: „Что ты, матушка, меня журишь, бранишь...“.

Вернулась из лавки Авдотья Ивановна, видимо, не в духе. Все начала швырять, а в дверь смиренно вступил Мелентьич, держа в протянутой руке баранки. Авдотья Ивановна не обращает внимания ни на мужа, ни на баранки, до которых большая охотница.

— Душа, а Душа! — заговаривает Мелентьич. — Меня сделали, примерно будет... годовым.

Авдотья Ивановна молча продолжает швырять невинные предметы и, наконец, садится за работу.

— Вот, получи того... — он подает ей деньги. Она искоса глядит на Мелентьича, на деньги и берет бумажку, а затем баранки. Мелентьич вдруг заохал.

— Что ты? — спрашивает она с беспокойством.

— Устал... примерно... — и он опустился на стул, притворяясь совсем расслабленным. — Ох, — кряхтит он, — ходил, ходил... страсть! Хоть бы закусить малость.

Авдотья Ивановна встала, сложив на стул работу, а Мелентьич уже совсем ослабевшим голосом продолжал:

— Оно бы и водочки малость...

— Не будет ли? — говорит супруга, пристально глядя на Мелентьича, который скорчил такую рожу и так печально опустил голову, точно по нем читали отходную. Авдотья Ивановна, посмотрев на расслабленного, махнув платком, вышла из комнаты, а он тотчас оправился и, пошатываясь, принялся подсыпать корм своим любимцам, вступая с каждой в разговоры.

— Ты что не поешь, мерзкая? — обращается он к юле. — Вот я тебя кормить не стану, ты и запоешь! — а сам подсыпает ей корму. — А ты трещишь только, а голоса настоящего не имеешь! — говорит он синице. — Ах ты, голубушка! — говорит Мелентьич с нежностью, смотря на пеночку, которая, нахохлившись, сидит, прижавшись в углу клетки. — Хо-

роша ты птичка, да только на воле, и держать-то тебя грех, надо бы выпустить! — он запирает клетку.

Авдотья Ивановна принесла продукты для закуски к выпивке. Мелентьич, опять ослабевший, садится за стол и, покончив с принесенным, идет спать за перегородку, а супруга его садится за работу. Сцены, подобные этой, повторялись не часто, но всегда в том же роде, разве случится, что денег истратится больше, чем бы следовало. Авдотья Ивановна пристанет тогда к Мелентьичу с расспросами, куда он их дел? И он начнет высчитывать по пальцам, куда девались деньги, а сам задумается: „Примерно будут туда-то, — загибает палец. — Да еще, значит, туда... — загибает другой. — Да еще...“ Но как он не присчитывает, денег все не достает, а супруга неотступно спрашивает: „Ну, а остальные где?“. Путается, путается Мелентьич, да уже видя, что ничего не поделаешь и брякнет: „Ах, да! Забыл... Бедным отдал... Уж очень, Душа, бедные приставали...“, — говорит он как-то глухо, а сам рассматривает клетку, где сидит дрозд. Жена знает, что он врет. „Ну их уж, — махнет рукой, — нечего попусту разговаривать!“ Мелентьич ослабнет, начнет стонать и охать, попросит закусить и выпить и ляжет спать, а проспавшись, сядет за работу, и все пойдет по-прежнему: слышится общее пение, да стук молоточка, и в доме опять мир, да благословение божее.

II

Счастье непрочно на земле, и на долю Мелентьича выпало горе... Задумался он, а супруга его втихомолку много плакала, да ничего не сделаешь, — сила солому ломит! Как он не толковал: „Примерно, будет... того“, — а все ничего не выходило. Наконец, крепко засела в голове его новая мысль; даже мороз пробежал по спине, когда она его озарила. Ходит он и ног под собой не чувствует, а мысль его все растет и растет...

— Я, Душа, — начал, наконец, Мелентьич, — задумал порешить, — а самого точно бьет лихорадка. Авдотья Ивановна с испугом взглянула на мужа.

— Все едино выходит: живи, живи, а так уже лучше сразу, — продолжал он.

— Что ты говоришь? — почти вскричала побледневшая супруга.

— А то, что значит, примерно, надоть на волю! — И Мелентьич начал рассказывать, как он придумал откупиться от барина: денег попробовать призанять у давальцев, да и самим начать копить, водку не пить, чай тоже можно бросить. Словом наложить великий пост и во что бы то ни стало откупиться на волю.

Авдотье Ивановне также очень понравилась мысль эта, хотя и жаль было расстаться с самоваром. Главное затруднение было — деньги: где их занять? Толковали, толковали и порешили: завтра же идти к богатому знакомому купцу, что живет в Рогожской и всем известен за благодетеля. Много капиталу жертвует он на разные благотворительные учреждения,

никому, говорят, у него нет отказа. „Авось, и к нам будет милостив и окажет свою помощь, — рассуждали они, — а потом уж напишем барину, что он назначит за выкуп?“ Эгу часть взяла на себя Авдотья Ивановна, уверяя, что барин для нее все сделает. Так и порешили. Мелентьич не работал целый день: все обдумывал, как вести разговор с купцом-благодетелем, и, сидя у окна, глядел с удовольствием, как наступал вечер. Рано улегся он на свою мягкую перину, но заснуть не мог, да и супруга его все ворочалась. Не спится обоим. Примутся разговаривать, а там опять замолкнут; так прошла вся ночь. Утром Авдотья Ивановна, напоив чаем своего супруга, отпустила с миром, наказав зайти в часовню и поставить свечу. Мелентьич помолился, простился с женой и отправился. Идет он по улице, а навстречу ему как раз ковыляет Филипыч, дьячок ихнего прихода.

— Здравствуй, раб божий! — говорит Филипыч, снимая картуз, из которого посыпались хлебные крошки и выпала какая-то грязная тряпка. — Гряди с миром, де не преткнеши о камень ногу твою!

Мелентьич не очень доволен этой встречей: хороша примета! Однако, делать нечего, отвечал дьячку:

— Здорово, Филипыч! Как живешь, можешь?

— Эх-ма, что жизнь наша! Не пещитесь убо об утрии, да и все тут! А вот что, человече! Утоли душу жаждущу, пожертвуй гривенник.

Мелентьич полез в карман, а Филипыч зачастил:

— Блажен муж иже не иде... — и, получив деньги, продолжал, чуть не обнимая Мелентьича:

— Пойдем, друже, выпьем чашу бражну, да возрадуются сердца наши!

Мелентьич отказался.

— Ну, так воздаст тебе господь сторицею, — благодарит Филипыч и обещает принести женины башмаки в починку.

Заковылял Филипыч, куда следует; пошел и Мелентьич своей дорогой. Подходит он и к часовне, где у наружной двери, на накрытом столике, стоит большой образ Николая угодника божьего, перед ним медная тарелка, а на ней несколько старых позеленевших копеек. Поставив свечу, стал Мелентьич молиться помощнику и покровителю бедных, а святитель так смотрит на него, точно хочет сказать: „Напрасно ты, Мелентьич, это затеял! Ничего не могу я сделать с окаменелым сердцем благодетеля. Проси чего другого, я помогу тебе, человек ты хороший! А в этом деле никто тебе не поможет, кроме самого бога!“. Но Мелентьич все молится, прося его помощи, и не может понять выражения его больших темных глаз. Положив еще несколько земных поклонов, пошел он к богатому купцу и чем ближе подходил к его дому, тем тяжелей становилось ему, ну хоть бы вернуться. „Нет, — думает он, — это гордость смущает меня“. И он идет дальше и дальше. Вот подошел и к воротам громадного дома, где жил благодетель. Замирает его сердце, и какое-то утомление чувствует он во всем теле. Железные ворота на запоре, только отворена калитка, у которой сидит сторож.

— Кого тебе? — ворчит он, как цепная собака.

— Приказчика, — ответил робко Мелентьич, и его ударило в краску. — Велел, примерно, прийти мерку снять.

— Иди, — промычал сторож и уткнулся в тулуп свой.

Мелентьич вошел на двор, по двору пробегали босиком фабричные, накинув на плечи полушубки. Лица их были точно выветрены, руки синие, как будто в перчатках. Кругом амбары с железными засовами и громадными замками — все крепко и мрачно. Мелентьичу почему-то показалось, что он точно в острог зашел, только по своей воле. „Чудно!“ — подумал он и пошел к флигелю, на котором висела дощечка с надписью „Контора“.

— Где хозяин? — спросил он встретившегося на лестнице приказчика.

— В конторе, — небрежно отвечал тот и быстро сбежал вниз.

Мелентьич вошел в контору. Там сидело много приказчиков, один из них молча показал рукой на соседнюю комнату; Мелентьич вошел туда: комната знакома, он бывал там. На полу лежало много ниток, на стене шитая картина и портрет митрополита Филарета вся в золотых рамках, даже дипломы с разных выставок, у окна благодарственное письмо за какую-то жертву; в углу большой образ, перед ним лампадка. Перед большим столом у окна сидел тучный хозяин: мясистая левая рука его лежала на толстой книге, большим пальцем он как бы придерживал цифру, чтобы она не убежала, а правой щелкал на больших счетах, голова его наклонена. Мелентьич кашлянул, переступая с ноги на ногу на мягком ковре.

— Что тебе? — сказал хозяин, не поворачивая головы и не переставая щелкать.

Мелентьич начал путаться, беспрестанно повторяя: „Значит... примерно... того... теперeча...“.

— Говори делом! — нетерпеливо сказал купец, не отрываясь от своих занятий.

Мелентьич, хотя не скоро, но объяснил, насколько сумел, в чем дело и даже довольно ясно высказал, что пришел просить денег. „Задумал теперeча откупиться, будьте отцом-благодетелем. Заставьте за себя вечно бога молить!.. Я Вам помалости заработаю (Мелентьич шил сапоги для его приказчиков). Вы меня знаете, — продолжал он. — Будьте благодетелем... не откажите!“ Он говорил все это с волнением. Голос его дрожал, а благодетель все слушает, пощелкивая на счетах. Когда Мелентьич замолк, низко наклонясь, купец повернул к нему голову, встал, потягиваясь и подошедши близко к нему, положив ему обе руки на плечо, стал смотреть в глаза негрозно и неласково, говоря: „Ах ты, Лазарь, Лазарь, убогий! Смотри, что он выдумал!“. И, быстро повернув его лицом к двери, выпихнул вон из комнаты, добавив: „Нет, брат! Ты приноси товар, деньги готовы, а вперед не даем“. И купец захлопнул дверь под носом растерявшегося Мелентьича.

Тяжелое бремя, ты, бедность! Тяжелей ты тяжелых и крепких вериг, что врастают в иссохшее тело удалившихся от мира. Не ходи, бедняк, к богатому! Не проси его помощи! Осрамит тебя, опозорит он. Смешны горькие слезы для зачерствелой души его: он крепок, как металл, собран-

ный им с бедняков неправдою. Непонятна для него любовь к страдающему брату, как непонятна скряге-хозяину красота цветущих лугов, в которых он видит только барыш от скошенной травы.

Идет осрамленный и опозоренный Мелентьич по многолюдной Рогожской улице, опустив руки и голову, а в уме его, цепляясь одна за другою, вертятся и путаются разные мысли. „Эх! Кабы знал я это... срам-то... срам! Нет, ни за что бы не пошел! Уж лучше быть в неволе, чем таким способом откупиться!"

Проходит он мимо часовни, а святой угодник глядит на него и точно хочет сказать: „Ну, что, Мелентьич, испил чашу скорби и унижения? Говорил тебе — не ходи! Жаль, что ты меня не понял". Мелентьич перекрестился и пошел домой. Спустя неделю опять ходил к двум давальцам, и хотя денег не получил, зато не испытал и позору... И то слава богу! И решил он самому копить деньги, а на чужую помощь не надеяться, как на зимнее солнышко, что ярко светит, да плохо греет. И начался для него с женой великий пост.

III

Пора сказать причину, почему Мелентьич так упорно задумал откупиться на волю. Он был крепостной, дворовой человек, родившийся в крестьянстве, родители его рано умерли от свирепствовавшей тогда холеры. Его взяли во двор и воспитывали в людской. Много били его, били все, кому было не лень, и рос он одиноким в многолюдном обществе. Старый барин не любил его за ротозейство и вялость, кликал его не иначе как „увалень". Подрос Мелентьич, тогда еще Никитка, его отдали в ближайший город к сапожнику, пьянице отчаянному. Так и вырос Никитка, никем не обласканный, ничему не наученный, а если и шил сапоги, то больше самоучкой: хозяин не заботился обучать его, да и сам Никитка занимался больше ловлей птиц, чем работой. Умер старый барин: управление принял сын его. Он повел дело как следует под руководством мамаши. Спустя несколько времени и хозяин Никитки, как говорится, тоже отвалил. Его взяли обратно во двор и так недоученного посадили чуть ли не за печкой в скотной избе и заставили тачать сапоги для всей дворни. Время идет, а Никитка сидит да сапоги тачает.

Вот в один прекрасный день позвала его барыня, поднесла собственноручно стакан водки и приказала ему жениться на своей горничной Дуняше, обещая в награду пустить их по оброку. Барское слово — закон: Мелентьича женили, выдали паспорт и пустили на все четыре стороны, наказав строго-настрого высылать оброк вовремя. Мелентьич с женой поехал в Москву. Он считал жену полубарыней и даже как-то конфузился ее. Это так и осталось навсегда в его характере.

Много труда и лишений перенес Мелентьич, да и на долю Авдотьи Ивановны выпало немало горя, пока они устроились и зажили покойно, можно сказать счастливо. В это счастливое время, в часы отдыха Мелентьич во-

зобновил свою страсть к ловле пернатых. Платил оброк он аккуратно не год, не два, а побольше десятку, — и вдруг получил от старосты письмо, в котором тот извещает, что барин, по стесненным обстоятельствам соблаговолил приказать прибавить оброку, немало-немного — ровно вдвое. „А если ты, — писал староста, — почему-либо не хочешь или не сможешь платить, то немедленно возвращайся в деревню и с женой. Мы вам работы найдем“. Озадачило Мелентьича это письмо, знал он, что ожидает его в деревне, да и Авдотью Ивановну оно немало огорчило. „Ну уж! Этого я не ожилала от барина!“ — говорила она, разводя руками. После долгого совещания решили они послать назначенный бариным оброк и во что бы то ни стало откупиться на волю, справедливо рассуждая, что через несколько времени оброк увеличат вдвое, а там и еще... Вот причина, почему Мелентьич ходил по разным благодетелям, прося их помощи. Что из этого вышло — уж известно и также известно и решение его—самому копить деньги.

IV

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, так нескоро прибывает и капитал в сундуке у Мелентьича. Сберегает он каждую копейку, даже уменьшил птичек. Проходит год и другой в строгой экономии, накопилось денег уже далеко за сто рублей. „А что, Душа, — говорил он, — если теперь написать барину и спросить примерно сколько он возьмет за выкуп да попросить его сделать уступку: ему может и даже не грех... Как ты думаешь?“ „Хорошо!“ — ответила Авдотья Ивановна и написала к барину жалостное письмо, называя его и благодетелем, милым барином и даже намекнула на прошлое. Через несколько времени они получили и ответ, только не от барина, а от старосты, который писал, что барин, благоволя их просьбы, назначает, по снисхождению своему, такой-то выкуп — ровно в три раза больше того, что они скопили.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — сказал Мелентьич, прослушав письмо, которое дрожащим голосом читала Авдотья Ивановна, но духом он не упал, а только еще сильнее прежнего принялся за работу.

Авдотья Ивановна много плакала: это ей было как-то обидно.

Опять пошла жизнь по-старому, и прошло уже немало времени, как вдруг точно молния в ночную пору, в народе пронесся слух, что все будут вольные!.. Поговорили, поговорили о воле и замолкли, а Мелентьич работает да копит деньгу. Но тут вдруг ни с того ни с сего заболела Авдотья Ивановна. Ей все хуже и хуже.

— Душа! А Душа! Побегу я за доктором, — говорит Мелентьич. Но она ни за что не хочет этого. „Как это можно! — говорит она. — Сколько ему нужно платить! Да и на лекарство сколько уйдет!.. Нет, не надо! Бог милостив, и так пройдет!“ „Что тут делать?“ — думает Мелентьич и ходит как в воду опущенный, повесив голову. Жаль ему тронуть и заветные деньги, да жаль и Души: она уж начинает бредить. „Нет! — думает он, — лучше все,

что скопил, истрачу, чем допущу ее умереть без помощи: только совесть будет мучить, да и воля-то опостылит. Пусть будет, что будет!" И он, махнув рукой, побежал к знакомому доктору.

Доктор был человек молодой и ко всем добрый, кроме бедных пациентов; вдобавок большой охотник бродить с ружьем по болоту. Мелентьич не раз снабжал его охотничьими сапогами, поэтому и надеялся, что он ему не откажет.

— Спит еще! — сказал лакей доктора, встретив Мелентьича, позвонившего у двери.

Долго дожидался он появления доктора, не один час прошел в тревожном ожидании, не раз повторял он: „Ах, ты, Господи! Господи! Хоть бы поскорее!". Наконец явился доктор, умытый, одетый, надушенный, и весело заговорил:

— А, живая душа на костылях! Что хорошего?

Мелентьич объяснил чуть не со слезами в чем дело и просил убедительно посмотреть больную.

— Хорошо! Хорошо!.. — сказал доктор. — Ужо вечерком... Да, кстати, брат, твой сапог никуда не годится: жмет ужасно в подъеме.

Мелентьич обещал сапог исправить и стал опять просить не забыть заехать. — Хорошо! Заеду вечером, часа в 4, — сказал доктор и ушел.

В ожидании доктора Мелентьич старался напоить чем-нибудь жену, чтобы хоть немного освежить ее растрескавшиеся губы и сухой язык. Настал вечер... Мелентьич в волнении ходит от окна к окну и все ждет доктора; слушает, не застучит ли карета и смотрит, не покажется ли она; но никого нет на пустынной улице. „Господи, господи! — думает он. — Что же это будет?"

Пробило десять часов, бьет и одиннадцать , а доктора нет! Так напрасно и прождал его Мелентьич.

Утром он опять побежал к доктору. „А, живая душа! — заговорил он. — Я вчера, брат, не мог быть, извини и нынче вечерком в семь часов жди непременно". Велев лакею отдать охотничий сапог для поправки, доктор поспешил сесть в ожидавшую его карету. „Ты ведь там же живешь?" — закричал он уже из кареты и, не дождавшись ответа, съехал со двора. Пошел с сапогом Мелентьич домой, ждал весь вечер с нетерпением доктора, да опять напрасно.

Взяло раздумье Мелентьича, что делать, куда идти? Пошел он за советом к лавочнику Федору Ивановичу и рассказал ему чуть не со слезами свое горе; а тот, стоя за прилавком и постукивая пальцами, слушает да приговаривает: „так-с!". „Вот уж третий день, — говорит Мелентьич, — как она не в себе. Научи, что делать тепереча?" „Так-с!" — опять повторяет лавочник и, встряхнув волосами, сказал: „А вам бы к генералу сходить", „К какому генералу?" — спросил Мелентьич. „А вот тут недалеко живет; он хотя и генерал, а тоже доктор и человек очень обходительный. К нему ходит много бедных и неимущих, которым он не только оказывает

помощь, но даже дает и на пропитание!" Лавочник так убедил Мелентьича, что тот прямо из лавочки и отправился к генералу.

Доктор-генерал жил в большом старом доме. Мелентьич позвонил; его впустила горничная, сказав, чтобы он обождал: барин кушает. Мелентьич сел. „Эх-ма! Ноги забыл вытереть". Из-под них текла лужа по чистому крашеному полу. Выхватив из кармана платок, стал он торопливо вытирать пол и сапоги; но в это время загремели стулья, и он услышал чьи-то торопливые шаги. Спрятав быстро платок, он остановился в ожидании. На пороге показался старичок высокий, худой, голова его как-то вылезала вперед, а сам он весь наклонился набок. Шел он торопливо, как будто не имея сил идти тише от перевесившего его копруса. На нем было черное, узкое платье, острые воротнички закрывали половину щек; широкий черный галстук и совсем голое темя — вот каков на вид был генерал, к которому пришел Мелентьич.

— Что тебе, мой милый? — заговорил ласково генерал, подходя к Мелентьичу.

Тот, не зная зачем и почему, повалился генералу в ноги.

— Отец родной! Ваше превосх...

Доктор не дал ему договорить, сказав довольно громко и даже сурово:

— Встань, встань, мой милый! Я этого не люблю. Если ты не желаешь мне неприятного, то встань и говори просто, что тебе нужно.

Мелентьич встал; на глазах его были слезы. По обыкновению он начал путать и нескоро объяснять в чем дело.

Доктор стоял, склонив набок голову, слушал его терпеливо и, когда тот кончил, сказал приветливо:

— Успокойся, мой милый! Беда еще не так велика. Бог милостив! — и посмотрел на Мелентьича так сердечно, что тот хотел опять повалиться в ноги, но доктор движением руки удержал его.

— Иди домой, а через час я буду! — и он записал в памятной книжке адрес Мелентьича. — Прощай, мой милый! — добавил он и скоро, скоро пошел по зале.

Мелентьич бежал домой в каком-то упоении; ему казалось, будто никакого горя с ним и не бывало; какое-то спокойствие наполнило его душу, так велика сила сочувствия и любви ближнего. По дороге забежал он к лавочнику, поблагодарил его и, уже спускаясь с лестницы, вспомнил, что пришел он к нему за советом, сколько дать доктору, и вернулся назад. Федор Иванов развел руками и, качая головой, сказал, что и сам не знает; молодые де меньше рубля не берут, а этому надоть накинуть. И решили они дать генералу два рубля.

По приходе Мелентьича домой, ровно через час, подъехали незатейливые сани в одну лошадь; на козлах сидел древний кучер, а в санях генерал-доктор. Мелентьич выскочил на крыльцо, а доктор, кряхтя, вылез из саней. Поддерживаемый Мелентьичем, он, взойдя по ступеням, остановился и сказал:

— Я сам болен, мой милый! На боку, вот тут мушка, — он показал рукой, где она, — а на ноге финтанель, — добавил он, улыбаясь своей старческой, доброй улыбкой. Мелентьичу стало как-то совестно, что обеспокоил старичка-генерала.

— Ну! — начал доктор, — покажи, где твоя больная?

Мелентьич, введя его в комнату, с трудом стащил с него старую медвежью шубу и подвел к жене. Та металась в бреду. Доктор потер сначала свои руки, пощупал голову больной, сосчитал пульс и затем выслушал грудь и спину. Мелентьич все это время удерживал дыхание. Пощупав еще раз голову, доктор сказал: „Ничего, мой милый! Дело поправимое. Кладите ей на голову капустные листья; к ногам и рукам поставьте горчицы, да я пропишу микстуру, давайте ее. Будет лучше, благодарите бога, а хуже — уведомите меня. Теперь дай мне клочок бумажки, я напишу рецепт". Мелентьич бросился отыскивать бумагу, долго искал ее и, наконец, нашел.

— Ах, беда! Чернила засохли. Влив воды и поболтав, поставил он оловянную чернильницу; тут не оказалось пера.

— Ах, чтобы тебе пусто было! — бормочет Мелентьич и суетится без толку. А доктор со вниманием рассматривает птичек, которые весело чиликают, как бы приветствуя его. Нашлось и перо. Мелентьич покусал его, вытер полой сюртука, положил на стол и подошел к доктору, а тот, обернувшись к нему, спросил:

— У тебя много птиц! Ты их сам ловишь?

— Точно так, ваше превосходит...ство! — отвечал Мелентьич и уже хотел предложить парочку в подарок. Но доктор, не дав ему сказать, продолжал:

— Да, это приятное занятие для человека, но тяжелое для пернатых... — и пошел к столу. Написавши рецепт и сказав несколько утешительных слов, он простился. Мелентьич, низко кланяясь, робко предложил ему деньги.

— Оставьте их у себя! — сказал доктор, отводя руку с деньгами. — Вам они будут нужны на лекарство, которое стоит недешево. Прощайте! — И выйдя из комнаты, он, кряхтя, залез в сани, уехал. Мелентьич все стоял у крыльца, кланяясь ему вслед. Проводив доктора, он побежал в аптеку за лекарством, с него взяли двадцать семь копеек, а он было захватил три рубля, думая, по словам доктора, что хорошее лекарство стоит дорого.

Вернувшись из аптеки, Мелентьич налепил жене на руки и ноги толстые слои горчицы, на голову положил капусты и начал впихивать ложечку с хорошим лекарством в стиснутые зубы жены — так и продолжал это целый день. С легкой руки доктора, или уж лекарство было очень хорошо, только на другой день ей стало лучше, а через неделю она и совсем поправилась. В продолжение этой недели однако раз было ей так нехорошо, что Мелентьич бегал опять к доктору. Генерал приехал во второй раз, спросил у Мелентьича, есть ли деньги на лекарство, и, получив утвердительный ответ, ласково простившись, уехал на своей старенькой лошадке.

V

Авдотья Ивановна совсем поправилась, Мелентьич тоже успокоился и принялся за работу. Все пошло по-старому, кругом пение, не поет только Мелентьич, все думает да головой качает: „Неужто и взаправду воля!..". А слух о ней все более и более распространялся в народе. „Врут!" — думает он, тачая сапоги. — Ну, как это вдруг, ни с того ни с сего, всех на волю! При чем же господа-то останутся: и им ведь тоже есть надоть!

И Мелентьич убежден, что всего этого быть не может, а в сердце его какая-то смутная надежда. Не верит он, а беспрестанно заводит разговор вроде следующего: „Кто это тебе, Душа, говорил, что скоро будет того?". Ему как-то неловко выговорить „воля", как влюбленной девушке произнести заветное имя. „Да все говорят, — отвечает Авдотья Ивановна, — и даже господа что-то очень шушукают: дело-то их, говорит Федор Иваныч, плохо... Да чего лучше — на днях Антон столяр напился да и орет на всю улицу: скоро, братцы, воля! Молись, говорит, богу да и ложись спать! Идет он это мимо части и тоже все орет про волю!.. И ничего! Только старший ундер закричал на него: „Что ты глотку-то дерешь? — И прибавил: Ей, Антон! Не посидеть бы тебе в сибирке, а то и подальше". А тот никого не слушает, орет себе: воля, братцы, да и только!

„А что, Душа!" — говорит Мелентьич. — Ну да так в самом деле того...?" — и глаза его блестят, а сердце радостно бьется.

Проходит еще год. Слух о воле уже так ясен и определителен, как густой, громкий бас соборного протодьякона, провозглашающего многолетие, но скоро ли дадут ее? — Вот в чем вопрос... Скоро, скоро!..

Был вечер; народ ложился спать; заря последней яркой красной полосой потухала на западе, и никому не приходило в голову, что это потухает последний день рабства, и что с рассветом другого дня, с восходом красного солнышка настанет свобода. Как-то негаданно наступил давно желанный день; это день — 19 февраля. В приходскую церковь, где слышался благовест в большой колокол, толпами валил народ. Каждому хотелось узнать и самому услышать из верных уст радостную весть о свободе. Все столпились к налою, стоявшему на амвоне; отец Федор еще не показывался. Он с чем-то возился в алтаре. Царские двери были затворены; завеса спущена. Прибежал и Мелентьич, он не может передохнуть и, бледный, старается пробраться вперед; жена его тут же. Все стоят и шепчутся в каком-то недоумении. Из южных дверей вышел в стихаре Филипыч, совершенно трезвый; коса его была распущена; он встал на клирос. Тишина настала мертвая.

Вдруг раздался резкий звук металлических колец, сдернутых по железному пруту: это отец диакон отдернул завесу, а затем молча, как-то даже сурово, растворил царские двери.

Показался отец Федор, величавый и немного бледный. Молча, торжественно вышел он на амвон, молча положил на налой какую-то бумагу и

на нее сложенные, немного дрожащие руки и как-то особенно стал смотреть на стоящих в церкви.

Православные! — выкрикнул он, наконец, дрожащим голосом, перекрестившись. Как будто электрическая искра пробежала по народу: все в одно время подняли руки и осенили себя крестным знамением.

— Православные! — повторил он более спокойно, подняв кверху руки, — Христос воскрес и расторг узы смерти.

Он говорил громко, резко, а лицо его сделалось еще белее. „Христос воскрес из мертвых и узы адовы сокрушил, так и великий царь наш расторгает узы рабства и милосердно дарует вам свободу". Он остановился как бы перевести дух. Потом, перекрестившись, продолжал: „Вместите радость великую в сердца ваши и слушайте со вниманием!". И он начал уже спокойно читать манифест. Что же народ? Что чувствовал народ — это сказать трудно... Он онемел, застыл и стоял без звука и движения.

Кончилась обедня и благодарственный молебен. Народ начал выходить из церкви. Ни шуму, ни ликований, ни восторгов — ничего нет! Молча идет он и с каким-то недоумением, молча расходится по домам...

День склонялся к вечеру. Народ бродил по улицам — был не то праздник, не то будни; пьяных почти не было. Толковали между собой втихомолку, передавая разные нелепые слухи: будто где-то стоят солдаты с заряженными ружьями и даже царь-пушку сдвинули с места и поставили в Никольских воротах. Многие бегали смотреть, но царь-пушка стояла на своем месте, и солдат было не видать, кроме тех, которые гуляли по улице и вместе с народом рассуждали о великом событии.

Сидит Авдотья Ивановна одна дома. Давно уже супруг ее ушел на минутку потолковать с Федором Ивановым. Пора бы и вернуться, — его нет. „Что за чудо!" — думает она и начинает смотреть в окно. Прошел еще час, пока услыхала она шаги своего супруга. Он вошел немножко того!.. Авдотья Ивановна не рассердилась, а скорей удивилась, отвыкнув видеть его в хмельном виде. Спустя немного, она спросила: „Никак ты, Мелентьич, разрешил?" „Разрешил, Душа, во славу божию ради великого дня!»— сказал он, покачиваясь, затем, набожно перекрестившись, неожиданно запел: „Ангельский собор удивись!"

— Ну, ну! будет! — проговорила жена неласково и несердито. — Ложись спать!

Мелентьич по-прежнему попросил выпить на сон грядущий, та предложила ему, по случаю позднего времени, квасу. Напившись квасу, лег он, бормоча о великом событии и тихо напевая что-то божественное. Уже спит Авдотья Ивановна, слегка похрапывая, а Мелентьич что-то шепчет, но все тише и тише. Вот он вздохнул глубоко и вдруг замолк, точно отошел в вечность. Ничего более не слышно в их комнате, только как будто громче стал тикать маятник, да иногда всхрапывает Авдотья Ивановна. Покойной ночи вам, свободные люди!

VI

Прошло дня два или три, не похожих ни на праздник, ни на будни, а там потекло время и занятия своим чередом. Мелентьич с женой ведут разговоры по поводу оставшихся денег, которых по счету оказалось скопленными рублей под триста. „Ну! — говорит Мелентьич, — что нам с ними делать?" Душа не знает и он — тоже. „Ну-ка подумай, раскинь умом! И я подумаю... а зря их тратить не приходится: нелегко достались!" „Разумеется", — говорит жена. И оба думают, что делать с деньгами. Первый выдумал Мелентьич, и это случилось так.

Пошел он раз в город покупать товар. Идет по Никольской и думает, на что бы полезное употребить деньги. Проходя иконный ряд, где меняют или продают образа, в одной лавке слышит он следующий разговор: „Ты, брат, не скупись! — говорит торговец. — Дело это великое, коль по обету, да еще за свою свободу! Тут, брат, жалеть нечего!". „Ах ты, милый человек! — отвечает ему крестьянин в бараньем тулупе и малахае, — и рад бы не жалеть, да со всего-то миру собрали только... а порешили беспременно купить новые хоругви, чтоб на одной было Воскресение Христово, а на другой Всех скорбящих радость!.. А то стал бы я торговаться. Да кабы деньги, мы бы вот это евангелие купили, — и он показал на большое блестящее евангелие, что стояло за стеклом, — да капиталу не хватает... Вот оно что, милый!" — добавил крестьянин и, подняв малахай, почесал в затылке.

Мелентьич все стоял и слушал. Вдруг счастливая мысль влетела в его голову и как роковая пуля засела там. Идет он дальше, а мысль купить евангелие не покидает его. Купил он товару и вернулся домой. „Дай поговорю с Душой!" — думает он и начинает: „Душа, а Душа! Знаешь что теперича пришло мне в голову? Если бы на те деньги, к примеру, купить евангелие?".

— Как это евангелие? — спрашивает жена, положив работу на колени и повернув к нему голову.

— А так, значит, купить и пожертвовать в церковь!

Авдотье Ивановне не особенно понравилась эта мысль: она было думала купить что-нибудь для дома, но уж никак не для церкви. Вначале она только это подумала, но ничего не сказала. Мелентьич продолжал: „Что же! Готовили их для барина, а пожертвуем для бога. Ведь лучше?.. Как ты думаешь?".

— Не знаю, Мелентьич! — сказала жена. На нее напал какой-то страх отговаривать мужа пожертвовать деньги на церковь. — Как знаешь! — и она принялась за работу. Муж тоже принялся выкраивать передки, а сам нет-нет и начнет разговор.

— Вот, Душа! Во святом евангелии, говорят, тоже написано о воле! Вот оно что лестно! — и он начинает резать кожу, половина которой упала на пол. Подняв ее, начал Мелентьич мелом означать точками по ней линию, а сам продолжал: „Каждый праздник будут читать его, и все право-

славные будут им любоваться“, — и он отрезал еще кусок кожи по назначенной линии. Душа молча продолжала шить.

— Ну, что же ты ничего не скажешь? — Мелентьич повернулся к ней и ждал ответа.

— Не знаю, Мелентьич, не знаю! — повторяла она. — Твои деньги, ты им и хозяин: как сделаешь, так и будет! — И она начала вдевать нитку в иглу.

Разговор в этом роде продолжался до самого вечера. Вечером Авдотья Ивановна уже соглашалась с мужем, находя, что это действительно будет хорошо, тем более, что имена их запишут в вечное поминание; это также нравилось и Мелентьичу.

Дня через два Авдотья Ивановна без сожаления отдала деньги мужу, а он, уложив их бережно в карман, пошел к отцу Федору, рассказал ему свое намерение, показал деньги и ждал, что скажет батюшка. Отец Федор выслушал его и когда он кончил, обнял его и поцеловал. У Мелентьича навернулись на глазах слезы. Затем, просунув голову в дверь, ведущую в другую комнату, батюшка кликнул свою жену. Она вошла в большом неглиже, опуская засученные рукава, с ней вбежала куча ребятишек. Батюшка, взяв ее за руку, подвел к Мелентьичу, вставшему при ее появлении.

— Посмотри, мать — сказал он с волнением, — на этого человека, на этого свободного теперь труженика земли русской! Какое великое дело затеял он в память свободы: он хочет украсить храм наш на тот капитал, который грошами собирал много лет, чтобы откупиться на волю! Теперь задумал он купить драгоценное евангелие, в котором также Христос вещает свободу миру. Благословен ты, чадо, от меня, благословен и от Господа! — Мать! — продолжал он. — Дай мне шелковую рясу и шитый пояс: мы идем покупать святую книгу. — И, подошедши к зеркалу, он начал расчесывать свои еще черные волосы и уже побелевшую бороду.

Спустя немного времени, батюшка с Мелентьичем ехали в город на маленькой серенькой лошадке, которую извозчик неистово хлестал кнутом и дергал возжами. Не стану рассказывать, как они приехали, как выбирали евангелие и как, наконец, купили его. Мелентьич рассматривал все гвоздики, все его подробности и даже пробовал на вкус. Нечего говорить о том, как они уходили из лавки, пили в сундучном ряду малиновый квас и съели по несколько сладких пирожков. Довольно сказать, что они вернулись очень нескоро, но зато евангелие купили наславу. Отец Федор и Мелентьич были в восторге и даже в умилении от своей покупки.

Приехав домой, батюшка немедленно послал за дьячком Филипычем, который явился под хмельком и все улыбался, растягивая рот свой чуть не до ушей. Батюшка приказал ему отпереть церковь, евангелие поставили на стол и показали матушке, которая немало ахала и, всплескивая руками, говорила: „Ах, какое торжество! Ах, какое великолепие!“. Все дети также окружили стол и смотрели, разинув рот, на блестящее евангелие, некоторые из них изъявили желание пощупать пальцами его выпуклости, но батюшка запрещал им это, говоря строго и махая руками: „Не прикасайтесь, дети, не

прикасайтесь!“. Пришел Филипыч из церкви и также немало любовался евангелием, выставляя беззубые челюсти. Наконец, отец Федор, сопровождаемый Мелентьичем и Филипычем, понес евангелие в церковь и там поставил его на жертвенник, накрыв большим платком, на котором был нашит из позумента крест.

И начал Мелентьич ждать первого воскресного дня, чтобы посмотреть, как отец диакон в первый раз вынесет евангелие, а за первым воскресеньем он ждал с таким же нетерпением и второго, а там третьего и четвертого и так далее.

Встретит, например, Мелентьич своего знакомого и сейчас же начнет его спрашивать: „А что, Вы давно не были в нашей церкви?“. „Давненько! — отвечает тот. — А что?“ — „Да так... зайдите послушать: уж очень хорошо теперича поют“. „Надо зайти“, — говорит знакомый. „Да вы бы завтра.... завтра служба большая. Вот и евангелие там купили тоже... очень хорошее! И его бы, примерно, посмотрели“. — „Зайду как-нибудь, — говорит равнодушно знакомый, не поняв невинной хитрости Мелентьича.

Так обращается он ко всем, всех приглашает зайти послушать хорошее пение. С кем ни заговорит он о чем бы то ни было, а речь свою сведет непременно на церковь, на певчих, на евангелие, а сам ходит не только каждый праздник, но и каждую большую службу. Придет рано, встанет у стены, что против царских врат, все ждет и не может дождаться, скоро ли растворят царские врата и вынесут блестящее, дорогое его сердцу евангелие. Наконец, настают минуты восторга: врата растворили и отец Федор подает торжественно заветную книгу диакону, который, возложив ее на лысую главу, выносит на амвон, где уже стоит приготовленный Филипычем налой и, раскрыв книгу, громко, густым басом диакон возвещает: „Услышим святого евангелия чтение“. Все преклоняются, а Мелентьич падает ниц. И стоит он на коленях все время чтения, не столько слушает, сколько смотрит, а душа его полна какого-то неземного счастья: все ему мило и близко в эти минуты, вся церковь и все в ней стоящие кажутся ему кровными родными. Что-то цельное, какое-то блаженство ощущает он в существе своем, слезы умиления текут по его впалым щекам и путаются в жидкой бородке. Всё ликует, всё говорит ему о счастье. Вот и весеннее солнышко ударило в растворенные окна церкви, за которыми слышалось чиликание птичек, и быстро нагревает кусок каменного пола и часть налоя, на котором лежит разверстое евангелие. По церкви, как громадный шмель, гудит бас диакона; он носится в куполе и вылетает в открытые окна на соседнюю улицу. Вот заблестела освещенная солнышком и седая голова Филипыча и резко выделилась профилем на темном фоне почерневших образов. Он поднял голову, собираясь затянуть своим дребезжащим, известным под именем козлиного, голосом: „Слава тебе, господи!“. А Мелентьич стоит на коленях, поднимая кверху глаза, а иногда и руки, и благодарит с умиленным сердцем создателя, что сподобил его украсить дом божий и вложил мысль сделать такой великий вклад.

ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ

В пятидесятых годах в Москве, где-то на большой улице, кажется на Пречистенке, жил маститый, древний старик — генерал Самсонов. Это был такой бескорыстный любитель искусства, такой благодетель учащейся художеству молодежи, что едва ли когда еще будет ему подобный. Любовь его к живописи и юношеству, занимающемуся ею, можно сравнить разве только с любовью матери к своим детям, о которой так много писали и пели поэты всех веков и народов.

Он для меня лично ничего не сделал: я был еще тогда учеником, только что начинающим заниматься живописью и мне не пришлось даже услыхать от него ни одного слова, прямо ко мне обращенного. Почему же мои воспоминания о нем полны такого умиления и восторга? Мне кажется, причины этого лежат в том, что Самсонов был живою воплощенной добротой, живою истиною в притче, когда-то образно высказанной нам боговдохновенными устами спасителя.

Каждый приезд генерала Самсонова в Училище живописи и ваяния был великим праздником для учащихся. Весть о нем распространялась по всему училищу с изумительной быстротой каким-либо юрким мальчуганом

с ощетинившимися на голове волосами. Мальчуган вбегал точно бешеный в класс и как исступленный, сияя от восторга и радости, выкрикивал во весь свой пискливый голос, махая с азартом руками: „Господа! Господа! Идите скорей! Скорей идите! Генерал Самсонов приехал!!! Право приехал!“. И, прокричав это, мальчуган исчезал, как молния в ночную пору. При этом все прилежно работавшие ученики торопливо вскакивали со своих мест, бросали все и как на пожар или какое-то необычайное происшествие, случившееся внезапно, бежали сломя голову, чтобы встретить, посмотреть и послушать почтенного старца. Все они спешили с каким-то восторгом навстречу к нему, даже и те, которые не имели в виду получить от него никакой денежной помощи, никакой милости, бежали же просто по влечению своего пылкого сердца. Приезды генерала Самсонова в училище повторялись раза четыре или пять каждую зиму в продолжение более чем десяти лет. Обыкновенно происходило это так.

После полудня, у крыльца тогда еще „Школы“, как гласила вывеска, ныне же „Училища живописи, ваяния и зодчества“ останавливалась громадных размеров карета на крепких полозьях, грубо выкрашенная яркой зеленой краской и более похожая на деревянный сундук, чем на карету, вполне свидетельствующая об отсутствии изящного вкуса в изделиях наших, когда-то существовавших доморощенных мастеров. Ее с трудом притаскивала пара рыжих, рослых, ленивых и, кажется, очень старых лошадей. На гигантских козлах кареты с кожаными громадными карманами восседал совсем дряхлый кучер с седою, длинною чуть не до самых колен бородой и с носом острым, как сапожное шило, даже загнутым кверху; на голове у этого замечательного возницы красовался какой-то мохнатый сибирский малахай. Небольшого труда стоило ему остановить лениво плетущихся генеральских рыжих коней; да, кажется, кони и сами знали, что именно у этого-то крыльца училища им и нужно было стать, и, остановившись, они тотчас начинали сладко дремать, отвесив свои толстые и мягкие нижние губы.

Выходил на крыльцо наш старый солдат, Иван Афанасьевич, как его все звали. Он был у нас швейцаром и до того обленился, что даже повернуться с боку на бок казалось ему великим трудом; он при этом всегда долго кряхтел и ругался и так ругался, что, при всем моем желании, я не могу привести подлинных его слов, кроме тех, которые он обыкновенно прибавлял к ругани: „Эх, ты жисть распроклятая! Хуже всякой злой каторги!“. А подобное повертывание с ругательством повторялось нередко, так как он лежал целые дни и целые ночи на своем жестком, кожаном диване, с кожаной подушкой в головах, непрестанно куря убийственные по запаху сигары, которые покупались им, кажется, по рублю за тысячу. На вопрос учеников, желавших подшутить над ним и спрашивавших его, где он покупает такие мерзкие сигары, Иван Афанасьевич сердито сплевывал на пол, приговаривая: „Ах вы, паршивые висельники! Наживите-ка хоть такие, беспутные! А то еще смеяться вздумали!“. И он провожал убегающих учеников самою

отборною бранью. И вот Иван Афанасьевич медленно, как бы нехотя, как бы через великую силу подходит к карете и с большим трудом, ворча себе под нос, отворяет ее забухнувшие дверцы, высаживая оттуда старого генерала.

Пока происходило общее кряхтение при высаживании, весть о приезде генерала Самсонова уже успевала облететь все училище, и ученики толпами выскакивали на крыльцо встречать любимого своего старика. Отстранив прежде всего Ивана Афанасьевича, который бывал этому очень рад, и, окружив старого генерала, они, бывало, берут его под руки и ведут на крыльцо с такой любовью и таким почтением, какого только можно ожидать от преданной и мягкосердечной молодежи. А навстречу им прибывают все новые и новые толпы, и только слышится повсюду: „Здравствуйте, ваше превосходительство! Здравствуйте, ваше превосходительство! Давно вы у нас не были... Мы уж соскучились о вас!“ „Здравствуйте, ваше превосходительство!“ — тут же пищит под самыми его ногами маленький шершавый ученик, немного разве более аршина, тот самый, который с быстротою электричества успел известить всех своих товарищей во всех классах о приезде генерала.

Ученики же, между тем, медленно и как-то торжественно, точно патриарха, продолжают вести старика по широкой каменной лестнице, поддерживая его не только под руки, но даже и сзади. Достигнув верхней швейцарской, где в то время у нас еще не бывало никакого швейцара, ученики принимаются раздевать генерала, стаскивая с него тяжелую пушистую медвежью шубу, громадные на медвежьем меху сапоги, бесконечно длинный радужный шерстяной шарф, окутывающий его старческую шею и бобровый с громадными наушниками картуз. Весь верхний костюм его был такой прочный и теплый, что в нем смело можно бы было съездить покататься по ледовитому морю, не боясь не только замерзнуть, но и даже сколько-либо озябнуть.

Наконец, генерал раздет. Ученики толкутся вокруг него, как комары в летний теплый вечер, наперерыв приветствуя его на всякие лады и разными голосами, начиная от самого тонкого, как писк маленькой мыши, и кончая густым и сильным, как низкая нота контрабаса. Маститый же старец стоит, опершись на свой костыль с ручкой из слоновой кости, стоит такой радостный, но весь согнувшийся под тяжестью чуть ли не всей сотни лет, налегшей на его когда-то могучие плечи. Белые, как снег, и густые, как львиная грива, волоса тяжелыми красивыми прядями лежат на широких плечах старца; на груди его болтается множество маленьких орденов, нанизанных на маленькую золотую саблю, полученную „за храбрость“. Лицо же его светится великой любовью к „детям“, как он зовет всех учеников, а глаза из-под белых, густых, нависших бровей блестят, точно яркие звездочки, еще не успевшие потухнуть ранним утром. Старческий рот его складывается в восторженную улыбку, в улыбку праведника, стоящего пред лицом всемогущего бога. Старый генерал медленно, как великий древ-

ний оракул, поворачивает белой, словно высеченной из мрамора, головой своей и говорит с учениками ласково и приветливо:

— Здравствуйте, дети мои! Здравствуйте, мои будущие знаменитые художники!.. Давно я вас не видал... Ой, как давно! Даже стосковался по вас... Ну, как вы поживаете? Много, чай, наработали хорошего за это время?... Показывайте скорее, все показывайте! И, постукивая костылем своим, он направляется в залы, окруженный густою толпою восторженной молодежи.

Проходя по классным залам, где в изобилии развешаны были по стенам копии различных картин, генерал останавливался подолгу перед каждой из них, рассматривал все их с большим вниманием и восхищался ими, как будто видел их первый раз в жизни. Затем обратившись вообще к ученикам или к кому-либо в особенности, прибавлял со своей младенчески доброй улыбкой:

— Ну что, братцы мои, какова картина-то эта! А! Когда-то вы меня порадуете и напишете такую же! А напишете, верно, напишете! — добавляет он уже серьезно. — Я вам говорю, что напишете: это подсказывает мне мое старое сердце, которое любит вас. Вы ведь все молодцы! Я давно это знаю и вижу, за то и люблю всех вас. Всех люблю без исключения!.. Правда ли? — обращается он к маленькому ученику, взяв его за острый подбородок.

— Ну что, правда ли? Говори?

— Правда, ваше превосходительство! — отвечает тот, целуя при этом в ладонь его белую руку, а генерал гладит шершавую голову мальчика и идет дальше, останавливаясь перед следующей картиной.

— А чья, бишь, эта картина? — спрашивает он.

— Тициа́на, ваше превосходительство.

— Тициана, да-да-да, Тициана, Тициана... — повторяет он, как бы запоминая фамилию художника.

— Вот, братцы, и такую картину надо написать. Тоже ведь хорошая картина, не правда ли?

— Очень хорошая, ваше превосходительство! — отвечают ученики хором.

— Ну, а это чья? — спрашивает он о следующей.

— Рафаэля, ваше превосходительство.

— Да, Рафаила... Помню, помню... Это точно Рафаила, — говорит он, произнося по-своему имя художника. — Это тоже хорошая картина! И такую напишете.

Таким образом, он обходит все классы, с любовью пересматривая чуть не в сотый раз все картины.

Но вот, наконец, старец, видимо, устал. Ему подают большое, высокое кресло, словно архирейское сидение, на которое он опускается с удовольствием, продолжая разговаривать с учениками и не переставая весело улыбаться.

— Ну, братцы мои, спасибо вам! Налюбовался я досыта заморскими знаменитыми картинами. Покажите-ка мне теперь ваши работы!

Ученики толпами бросаются и несут все, что у кого есть. Конечно, более всего приносилось классных этюдов, писанных с голых натурщиков: Кривого Ивана, Тимофея, Петра и других. Попадались и головы, исполненные со всевозможных стариков и старух, добытых из разных богаделен, и именовавшиеся в каталогах обыкновенно так: старик с шапкой, старик с палкой, старик с грибами, старик с яйцами.

Генерал Самсонов, сидя торжественно в кресле, снова с полным вниманием и восторгом рассматривает нередко ужасную, ученическую пачкотню, хваля ее усердно.

— Ну-тко, брат, отойди подальше, — говорит он ученику, показывающему этюд свой. — Отойди-ка, брат, на известное расстояние, да поверни-ка этюд свой направо. Еще... еще немножко... вот так. Ну довольно! Подожди... постой!.. И генерал, наклоняя свою белую голову направо и налево, прищуривая глаз, а иногда устроив из руки своей что-то вроде трубы, смотрит в нее и любуется этюдом, говоря с восторгом: — Хорошо, брат, чудо как хорошо! Ну, словно живой: только что не дышит... Неужто это ты сам написал без поправок учителя?

— Сам, ваше превосходительство, — отвечает польщенный ученик.

— Ура, брат! Честь тебе и слава, милый мальчик! (А этому мальчику лет двадцать пять и черная борода его длиннее генеральской).

— Вот где настоящее-то художество! — продолжает говорить восторженно старец. — А еще уверяют все, что был когда-то в старину знаменитый живописец Рафаил. Будто великий он был художник! Эх ты, Рафаил, Рафаил! — говорит с усмешкой генерал. — Велик ты, брат, был только потому, что тогда еще не было класса художеств*, а то бы тебе нос-то утерли так, что и не быть бы тебе великим Рафаилом... Ну, братец мой! — обращается он снова к ученику, — заверни теперь ты эту картину поосторожнее и снеси ее ко мне в карету. Да смотри не изомни! А то вы все хоть и большие мастера по своему делу, зато и вертопрахи большие... Ну-ка покажи и ты что наработал? — обращается он к другому ученику, стоящему тоже с этюдом и с нетерпением ожидающему своей очереди, чтоб показать его генералу. — Ну-ну, показывай! — говорит он.

Ученик быстро ставит этюд, наколоченный на громадную доску, искоса посматривая на старца, который принимается хвалить и его работу, повторяя все те же похвалы.

— Хорошо, брат, и у тебя тоже! Очень хорошо!.. Ах, какая жалость, что стар я и очень тяжел на подъем, — добавляет он с грустью. — А то нарочно поехал бы в С.-Петербург и доложил бы обо всех вас государю императору: „Вот мол, Ваше императорское величество, какие у нас молод-

* До шестидесятых годов Училище живописи и ваяния было известно под именем «Школы и художественного класса».

цы находятся в художественном классе. Имею счастье Вам их представить!.." — Ну, что же ты, брат, так удивленно смотришь на меня? Свертывай-ка лучше свою картину и неси ее тоже в мою карету, — заключает старец.

Ученик торопливо сдирает с доски плохой этюд свой, писанный на бумаге и уже до половины разорванный и, свернув его в трубку, несет в карету. А генерал продолжает рассматривать другие работы, которые в изобилии приносят ему.

— Хорошо, брат, и у тебя! — говорит он третьему, — хорошо! Только уж ты его больно нарумянил. Ишь, какой весь красный, словно платок деревенской девки... А у тебя, — замечает генерал четвертому, — человек-то, с которого ты написал, совсем зеленый, будто выкупался в болотной тине. Ни дать, ни взять зеленый чижик!.. А все-таки очень хорошо!.. Ну, несите обе ваши картины в карету.

И ученики радостно несут свои разноцветные, как перья попугая, этюды.

Затем, обратившись к старшему ученику, генерал спрашивает его: „А скажи-ка ты мне, братец, правда ли это говорят, будто всякий художник видит в известном цвете, то есть по-своему: один все видит зеленым, другой — красным, а третий — все синим и т. д. И будто бы поэтому-то и узнают, какой художник писал ту или другую картину".

— Право не знаю, ваше превосходительство, — отвечает ученик.

— Это нехорошо, мой милый! Как же это ты не знаешь своего дела? Ведь я тебя спрашиваю, братец, не о том, как пушка заряжается или какой напев на осьмый глас. Это тебе можно и не знать. А то, что относится до художества, ты должен знать. Спроси учителей своих, либо почитай; говорят, есть книжки об этом. — Высказав это, генерал снова принимается рассматривать этюды.

Налюбовавшись каждым, вновь представленным произведением и сделав некоторым ученикам замечания, вроде вышеприведенных, он отсылал все произведения в свою карету, иногда штук двадцать, а нередко и больше, из которых два, три этюда попадались хороших, три или четыре порядочных, остальные же в большинстве случаев бывали весьма плохие. Впрочем, попадались даже и такие, на которые и смотреть-то было грешно. Но старца это не огорчало: он все без исключения хвалил, отправляя их к месту назначения, т. е. в свою карету, которая зачастую наполнялась чуть не доверху этими прелестями искусства.

Когда показывать более уже было нечего, генерал кротко укорял учеников за леность, говоря:

— Что же это вы, братцы мои, мало наработали? Словно в прошлый раз было гораздо больше.

— Нет, ваше превосходительство, не больше! — отвечают ученики.

— Как нет! — махая рукой, говорит генерал. — Больше было... Я наверно знаю, что много больше было. Заленились, шельмецы вы этакие, заленились! — смеясь продолжает старец, и, обратясь к старшему ученику,

просит его взять на себя труд сосчитать: сколько приходится ему заплатить за все купленные картины.

Ученики суетливо начинают считать, переспрашивая каждого товарища: „Иванов, ты снес свой этюд? Ты тоже, Горбунов? И ты, Рогов?“ и т. д.

Оказывается, всего снесено в карету двадцать четыре этюда, по шести рублей за каждый. Ученик считает на бумажке, наконец объявляет, что следует заплатить за все сто сорок четыре рубля (у генерала было правило платить за живописный этюд, какой бы он ни был, плохой или хороший, по шести рублей).

Старец немедленно вынимает громадных размеров темно-зеленый сафьяновый бумажник с бесчисленным количеством отделений и, порывшись то в одном, то в другом отделении, отдает следуемые деньги старшему ученику, прибавляя:

— Ну, на вот, брат, получи заработанные вами деньги! Раздели их между всеми. Да смотри, не обижай никого, а обидишь товарища, знай что бог тебя дважды обидит.

Но в семье не без урода. К стыду нашему нужно сознаться, что генерала иногда обманывали и самым бессовестным образом обманывали. Он это ясно видел, но никогда благородные уста его не только не произносили укора, но на них даже не появлялось презрительного выражения, также как и взор его никогда не загорался негодованием к неблагодарным и обманывающим его ученикам.

Делалось это так. Два ученика, сговорившись между собой, делили один этюд на два, разрезая его поперек так, что у одного оставался торс, т. е. корпус человеческий и голова с руками, а у другого — одни ноги. Представляя генералу как бы разные труды свои, они продавали ему: один — ноги без торса, а другой — торс без ног. Рассматривая последний, т. е. этюд без ног, генерал спрашивал ученика:

— Что же это, братец ты мой, написал ты его без ног? Разве господь бог так сотворил человека?

— Такое уж мне место пришлось получить, — отвечает сконфуженно ученик. — От меня совсем не было видно ног, ваше превосходительство.

— Так ты уж, братец, в другой раз выбирай такое место, чтобы всего человека видно было, — говорит он, посмеиваясь. — А то что хорошего! Ну вдруг придется ему бежать по какой-либо надобности, ан хвать! Ног-то и нет: бежать-то и нечем. Ну что ему тогда делать, бедняге?.. Ну-тко, попробуй с тобой это сделать? Отними-ка у тебя ноги, что ты на это скажешь? — И старец из-под густых своих бровей в упор смотрит на пристыженного ученика, а последний молчит, стоит красный, сконфуженный, и как-то растерянно, не моргая, смотрит на свои сапоги.

— Ну, ну, не печалься, — продолжает генерал, — Не вздумай заплакать. А снеси-ка лучше картину свою в карету, пока еще у тебя ноги целы и безжалостные доктора их не отрезали во имя науки... Ну, а ты что та-

кое написал? Показывай, братец, — обращается он к его товарищу, стоящему с другой половиной разрезанного этюда.

— Ха-ха-ха! — смеется искренне старец. — Это уж еще лучше: одни ноги без головы и всего прочего! Ха-ха-ха! — весело продолжает смеяться он, вытирая при этом платком свои добрые глаза. — Ну-тко, отойди подальше... Дай полюбоваться... Да как же это ты, братец мой, так ухитрился: написать человека без головы и всего остального, что следует иметь ему?.. Куда же голова-то его девалась? Неужто и с твоего места не видать было ничего, кроме ног?.. Неси-ка, брат, скорей свои ноги в карету... Отправляйся! — И генерал, махнув рукой, добродушно хохочет.

Ученик, совсем уничтоженный смехом генерала, растерянно, трясущимися руками, со слезами на глазах, завертывает ноги этюда, уносит их в карету и уже не возвращается обратно, даже не провожает старца, который все-таки платит за торс отдельно и за ноги отдельно по шести рублей за каждый.

По уходе сконфуженного ученика генерал, обратясь снова к одному из старших учеников, спрашивает его:

— А что, братец ты мой, правда ли, что мы все предметы видим вверх ногами и что будто уж в голове нашей, т. е , так сказать, в самом мозгу, они опять приходят в настоящий вид?

— Не знаю, ваше превосходительство! — отвечает озадаченный ученик.

— Э-эх, дети, как вы мало знаете! — продолжает генерал. — А все это происходит от того, что мало живете на свете. Поживите побольше, больше и узнаете... Впрочем, утешайтесь тем, что человеку всего знать нельзя. Слыхали ли вы о великом полководце, знаменитом генералиссимусе князе Суворове?

— Как же, знаем! — отвечают ученики хором.

— Ну, так вот! Уж на что он был великим и непобедимым полководцем, а и то не все знал. Раз молодой офицер, вот, вроде тебя... (указывает генерал рукой на одного из учеников), пристыженный Суворовым за какое-то незнание, сказал ему: „Да что, ваше сиятельство, вы хоть и смеетесь надо мной, а ведь и сами не все знаете“.

— Как! Не все знаю! — загорячился Суворов. — Говори, чего я не знаю?

— Чего вы не знаете, ваше сиятельство? — отвечал офицер. — Вот вы не знаете, как мою бабушку зовут.

Суворов помолчал, улыбнулся и ответил ему:

— Это, брат, твоя правда. Как твою бабушку зовут, я не знаю; но зато и ты не знаешь, сколько времени просидишь у меня на гуптвахте.

И старец в заключение весело смеется.

Нередко бывало, что ученик подходил к генералу с такими словами:

— Ваше превосходительство! Я вот никак не мог написать этюда нынешний месяц.

— Почему же это ты, братец, не мог написать? — спрашивает его старец.

— Красок совсем нет, ваше превосходительство.

— Это нехорошо! Но беда еще не так велика. У тебя нет красок? Ну так я дам тебе задаток, ты купишь их и напишешь мне этюд к следующему приезду. На вот тебе задаток. Да не забудь, что мне приплатить тебе остается только половину, — говорит он, подавая ученику три рубля.

Но надо прибавить, что генерал Самсонов не всегда покупал одни только классные этюды. Нет! Он покупал также картины, но исключительно только, как я слышал, ученические, платя за каждую по пятнадцати рублей. Для него было совершенно безразлично: какого качества, какой величины была она — цена назначалась всем одинаковая — пятнадцать рублей. Если же на картине была золотая или какая-либо другая рамка, то за нее платилось отдельно, или же она возвращалась обратно ученику со словами:

— А рамку-то, брат, ты возьми назад, да напиши в нее опять что-нибудь.

И ученик брал рамку обратно, писал в нее новую картину, которую и продавал опять же генералу. Так это и повторялось иногда по несколько раз сряду.

В последние годы его посещений училища один ученик, принесший продавать ему картину, высказал с сокрушением сердца, что уж очень краски вздорожали за последнее время.

Генерал помолчал немного, грустно покачал белой головой своей и сказал ему на это:

— Да, братец ты мой, истинная твоя правда. Все без исключения неимоверно быстро дорожает, а жизнь нисколько не улучшается. Вот что печально видеть! — И тут же прибавил ему три рубля. С тех пор он начал платить всем ученикам за всякую картину не пятнадцать, а восемнадцать рублей.

Но мы оставили генерала с учениками. Возвратимся к ним.

Итак, все осмотревши, всем налюбовавшись и накупивши иногда всякой всячины более чем на двести рублей, генерал как бы с грустью прощался с учениками, приговаривая:

— Ну, дети мои, прощайте! Мне уже пора домой ехать... Устал я, братцы!.. Ну, прощайте! Старайтесь работать больше, как можно больше. Утешайте меня, старика, вашими успехами и прославьте нашу матушку Москву и ваш художественный класс... Я же скоро опять к вам приеду... А ты, братец, — обращается он вдруг к ученику, продавшему ему этюд без ног, — не пиши людей без ног. Зачем уродовать человека, венец творения божия! Да и товарищу своему скажи, чтоб он не писал одни ноги, — говорит, улыбаясь, генерал. — Ну что в них, в одних-то, хорошего? Посуди сам. Да и ноги-то нашел чьи писать! Какого-то мужика, да еще с мозолями... Ну, прощайте, прощайте, братцы! Бог с вами!

И генерал всех учеников крестил.

Ученики бросаются, толкая друг друга, одевать генерала, как те, которые продали ему что-либо, так и те, которые ничего не продали. Все они наперерыв хватают его вещи, натягивая на него шубу, сапоги и ушастый

бобровый картуз. Затем они снова под руки, целой толпой, бережно и торжественно сводят с лестницы и сажают старца в карету, наполненную этюдами, совершенно вроде того, как старая няня сажает младенца в тележку, окружив его подушками. Усадив генерала, ученики снова прощаются с ним, прося его приехать опять поскорее. И эта просьба вовсе не объяснялась корыстью. Нет! Она искренне и от всей души выливалась из юношеского сердца. Старец еще раз прощался, просил всех стараться, чтоб утешать его— и затем дверца кареты с шумом захлопывалась. Кучер чмокал старыми губами своими на старых лошадей, хлопал ременными вожжами, и лошади медленно, точно просыпаясь от глубокого сладкого сна, еле-еле сдвигались с места, волоча карету с генералом и с плохими, в большинстве, ученическими этюдами.

Ученики же долго еще стоят толпой на крыльце, смотря вслед медленно удаляющейся карете, и что-то теплое и любовное видится в их взорах. Но вот карета скрылась, и они обратно, стремглав, бегут по лестнице, перегоняя друг друга. А налево, в швейцарской, изленившийся Иван Афанасьевич, кряхтя, перевертывается на правый бок, приговаривая с ругательствами: „Эх, жисть распроклятая! Хуже ты всякой каторги!".

Опустелые классы снова наполняются возвратившимися учениками, которые еще долго потом говорят о приезде старца, смеются над товарищами, советуя им разрезать этюд не на две, а на четыре части, уверяя, что это будет гораздо лучше, даже выгоднее. Но я никогда не слыхал во всю мою бытность в училище какой-либо остроты, насмешки, или какого-либо глумления над самим стариком — почтенным генералом Самсоновым.

Итак, описанные мною приезды повторялись, как я уже говорил выше, по несколько раз в зиму, и с каждым посещением училища генерал увозил массу ученических этюдов. Словом, в зиму он покупал чуть ли не на тысячу рублей, постоянно, ежегодно, и делал это в продолжение более чем десяти лет.

Быть может, читателю любопытно будет узнать дальнейшую судьбу купленных этюдов? Они прямо из кареты укладывались в большие деревянные ящики и отправлялись по зимнему пути, при оказии, в имение генерала, где ставились в пустой сарай как в погребальный склеп и никогда там никем не открывались; это было, как мне кажется, самое лучшее для них назначение.

Впоследствии оказалось, что генерал Самсонов имел очень и очень ограниченные средства, которые и тратил более всего на „детей", т. е. на юношей, занимающихся искусством*.

---

* В продолжение 48-летнего существования Училища живописи т. е. с его основания и до настоящего времени, генерал Самсонов может считаться самым полезнейшим покровителем искусства в лице учеников: никто более его не принес материальной пользы для учащейся молодежи. Достойно, однако, замечания то, что администрации Училища ни разу не встало на мысль выразить этому почтенному старцу какую-либо благодарность за его сочувствие к искусству, а еще более к ученикам, и генерал Самсонов никогда не был ни действительным, ни почетным, ни членом-благотворителем, ни членом совета, ни даже просто членом художественного общества.

Когда был написан этот рассказ (странная случайность!), спустя несколько дней, я прочел в „Русских ведомостях" (1881 г. N 27-й) следующее:

„Нам пишут из Одессы, что местный университет получил довольно ценный подарок, по завещанию одного из одесситов, г. Самсонова; вся, довольно значительная картинная галерея последнего пожертвована им университету пополам с местным обществом изящных искусств. Картины уже поступили в университетский кабинет искусств".

Неужели мой старик и то лицо, которое завещало в дар всю свою многочисленную картинную галерею одесскому университету и обществу изящных искусств — одно и то же? Но может быть это уже дело его наследников, а вернее всего простое случайное совпадение фамилий и больше ничего. Во всяком же случае я от души поздравляю одесситов, приобретших галерею Самсонова.

НАШИ УЧИТЕЛЯ

М. И. СКОТТИ и А. Н. МОКРИЦКИЙ

В то время, когда посещал художественный класс генерал Самсонов, покровительствуя, или вернее, благодетельствуя ученикам, а именно в начале 50-х годов, старшими преподавателями, т. е. руководителями натурного класса в училище, были: академик, впоследствии профессор, Михаил Иванович Скотти, академик, так и умерший академиком, Аполлон Николаевич Мокрицкий, и скульптор, академик, впоследствии также профессор, Николай Александрович Рамазанов. Все они давно уже покоятся в горней обители. Цель моя — не глумиться над ними. Мне хотелось бы только указать наглядно, в чем зло, в чем причина того зла, что у нас из массы учащихся искусству выходит ничтожная доля хороших художников. Несостоятельность ли вообще учителей и некоторых из них в особенности; или же причина тому таится в ложной и рутинной системе преподавания, а также и в ложных отношениях учителей к учащимся? Вот эта-то цель и вынуждает меня набросать эти краткие биографические очерки.

М. И. Скотти — он же и инспектор школы — был преподавателем исторической живописи, но сам, как мне помнится, никогда не написал ни одной исторической картины, исключая больших и сложных образов, и то

не иначе, как по заказу. А. Н. Мокрицкий числился преподавателем портретной живописи, но также, в продолжение всей своей художественной деятельности произвел на свет не более пяти или шести портретов. Многие из учеников, вероятно, помнят некоторые из этих портретов, но особенно должны быть памятны два из них. Первый изображал А. Г. Собацинского — директора училища по хозяйственной части. Г. Собацинский был изображен на портрете в белом галстуке, в шубе с откинутым громадным собольим воротником, с открытой головой и совсем посиневшим лицом. На втором была представлена донельзя худощавая молодая девица в белом платье, с цветами на голове, играющая на фортепиано. Художник посадил ее почти спиной к зрителю и неестественно заставил отвернуть голову от инструмента к смотрящей публике.

Вот этот-то портретист, г. Мокрицкий, и состоял в училище преподавателем портретной живописи. Он был невысокого роста, с усами и клочком темных волос под нижней губой, с длинными волосами и хохлом на лбу, словом — à la артист, или скорее à la Брюллов. Аполлон Николаевич считался, вероятно, очень красивым смолоду; в тот же период, с которого начинается мой рассказ, ему было лет с чем-нибудь сорок, но, несмотря на это, он все-таки выглядел красивым мужчиной. Кроме того, он слыл за человека весьма образованного, развитого, кончившего курс в лицее, и считался товарищем Н. В. Гоголя.

Вообще Мокрицкий, по мнению многих, был человек умный и хороший, но имел два громадные недостатка. Первый, и самый важный, заключался в том, что, безумно любя искусство, он считал и самого себя весьма недюжинным художником; второй же недостаток был недостаток физический — он заикался, и заикался довольно сильно, особенно когда торопился что-либо сказать, или когда был взволнован.

„Вы, лю-лю-лю-безнейший!“ — начинал он так всегда свою речь и чем более увлекался, и чем более хотел говорить красноречивее, особенно о своем пребывании в несравненной Италии или о своем боготворимом учителе К. П. Брюллове, то „лю-лю-лю, мо-мо-мо, по-по-по“ унизывали речь его, цепляясь за каждое слово.

Я не помню Аполлона Николаевича иначе, как повествующим перед учениками о Брюллове и об Италии. Монте-Пинчио, Фраскатти, Альбано не сходили у него с языка. О чем бы он ни говорил, но кончал непременно своей незабвенной Италией и пленительной Венецией.

Ученики очень любили его слушать. Их увлекали его рассказы о великих мастерах, о живописных местностях и очаровательных картинах. И если бы Аполлон Николаевич не был обольщен собой, как хорошим, даже выдающимся художником; если бы он не предлагал каждому своей помощи и совета, даже тому, кто его об этом и не просил, а также и тем, которые от них уже по нескольку раз отказывались; если бы он не навязывал также копировать своих плохих произведений, чуть не насильно всовывая их в руки оторопелых учеников, то его наверно бы очень любила молодежь и он

несомненно мог бы сделать много хорошего и принести много пользы своими живыми и воодушевленными рассказами. Аполлон Николаевич вообще очень благотворно влиял на некоторых учеников и в особенности на нашего известного профессора пейзажной живописи И. И. Шишкина, чего последний не станет, выроятно, и отвергать.

Преподаватель исторической живописи М. И. Скотти был совершенною противоположностью А. Н. Мокрицкому. Итальянец по крови, полный брюнет, высокого роста, гордый (по крайней мере с виду), чрезвычайно красивый и солидный, всегда в черном бархатном пиджаке, безукоризненном белье, в мягких, точно без подошв, сапогах, он проходил по классу, как Юпитер-громовержец или по меньшей мере — римский император. Подняв высоко голову и заложив за спину руки, медленно торжественно подходил он к какому-либо ученику, молча смотрел на его работу и также молча, отвернувшись без слова, без звука, проходил дальше, останавливаясь у следующего. Величайшая похвала из уст его была:

„Гм, гм! У тебя идет!.. Это не дурно!.. Продолжай“...

Но иногда он удостаивал и следующими замечаниями:

„Убавь носу!.. Подними глаз!“ или „Срежь подбородок!“. Это все, что слышали от него ученики.

Говорят, что он был весьма веселый и остроумный человек в обществе, но я должен прибавить — не учеников. Он, правда, имел любимцев, с которыми иногда разговаривал, но никогда даже и с ними не беседовал, подобно Мокрицкому, об искусстве, о его целях, стремлениях и бескорыстном служении искусству. Кроме случайных разговоров об удачном натурном рисунке, или классном этюде, который собирались послать в Академию художеств для получения медали, Скотти говорил с учениками иногда об образах... В то время, о котором я говорю, он писал образа для Конногвардейского собора в Петербурге. Заказ был большой. Образов, как мы слышали, написано им очень много, но он никому их не показывал, кроме учеников, которые у него жили. Михаил Иванович работал вообще очень усердно, а при этом заказе, можно сказать, даже неутомимо; он работал с раннего утра и до позднего вечера. Вследствие этого, он неаккуратно посещал классы, особенно утренние, так называемые этюдные, и только по вечерам бывал почти всегда в рисовальных классах. Ученики, все без исключения, боялись Михаила Ивановича, но уважали его; даже некоторые и любили, считая его при этом большим мастером, что и было на самом деле.

Скотти действительно был хороший мастер, настоящий профессор, в общепринятом значении этого слова, но, к сожалению, его так же, как и Мокрицкого, нельзя назвать художником. Он прекрасно мог передавать внешние образы, внешние очертания, но эти образы были лишены жизненности; он, как говорится, не мог вложить в них душу, страсть, и потому-то „худому делу“ (отсюда — слово *художник*, по объяснению В.И. Даля), т.е. волшебству и чародейству в искусстве, он был совершенно не причастен. Конечно, никто не станет считать передачу одной внешней стороны,

хотя бы даже исполненной и до обмана глаза, за истинное искусство. К великому, однако, сожалению, публика, любители, а нередко даже и сами художники падки на эти приманки. Зачастую и эти последние восторгаются и восхищаются какой-нибудь до того натурально написанной шляпой, что от восторга в нее хочется только плюнуть; восхищаются кувшином на громадной картине, забывая о целой сотне хорошо исполненных фигур; восхищаются старинной серебряной кружкой, персидским ковром и всякой всячиной, не имеющей ровно никакого смысла, кроме виртуозного исполнения и других технических достоинств. Но об этих восторгах поговорим как-нибудь после...

Большинство учеников хотело и рвалось учиться у Михаила Ивановича, что очень огорчало Аполлона Николаевича.

Мокрицкий неустанно предлагал ученикам свои советы и делал замечания вроде следующих:

— Лю-лю-безнейший!.. — обращался он к кому-либо из учеников,— по-по-койный Карл Павлович Брюллов говорил: „Кто пишет так бесцветно и так вяло, тому бы лучше не родиться на свет божий". А вот возмите, лю-лю-безнейший, мумьицы и проложите все тени сплошь, как делал это Карл Павлович... По-по-звольте, любезнейший, я сам помогу вам это сделать! — и он протягивал руки к палитре ученика.

Но ученик отстранял палитру, говоря:

— Мне так велел писать Михаил Иванович... Я ведь его ученик и его должен слушать...

Аполлон Николаевич поднимал при этом высоко брови и плечи, разводил широко руками и говорил с саркастической улыбкой, глядя насмешливо на ученика:

— Ну, лю-лю-безнейший! Если вы с Михаилом Ивановичем больше знаете покойного Карла Павловича, то, как ни грустно, отдаю вам и кисти в руки! — Затем, вздохнув от всей души, как Кречинский после выразительного слова „сорвалось", Аполлон Николаевич отходил к другому ученику, с которым, однако, повторялась нередко та же самая история, что и с первым.

Но бывало, что ученик, завидя входящего Аполлона Николаевича, быстро клал палитру в ящик и как будто за какою-либо надобностью спешно уходил из класса. Аполлон Николаевич это замечал и провожал уходящего ученика иногда злой улыбкой, но чаще же улыбкой великого сожаления.

Раз он пришел в отдельную мастерскую, где работал один из учеников М. И. Скотти, некто Д. Д. Он писал картину — солдат рассказывает о своих походах, причем врет, конечно, не на живот, а на смерть, а окружающие крестьяне и крестьянки слушают его не только разиня рот, но даже от страха и крестятся.

Странно, этот излюбленный сюжет, в бытность мою в училище, писали чуть ли не десять человек, и особенно часто во времена Скотти.

Аполлон Николаевич, войдя в мастерскую к ученику, взял без цере-

монии его палитру и так исправил всю картину, что творец рассказывающего солдата вышел из себя, и, когда Аполлон Николаевич, довольный своей поправкой, удалялся торжественно из мастерской, он пустил ему в спину палитрой. Нечего и говорить, что сюртук Аполлона Николаевича выпачкан был разными красками до невозможности. Но такой поступок, небывалый в училище, не прошел для Д. бесследно. Д. был немедленно исключен, хотя и ненадолго. По ходатайству Скотти в скором времени он снова был принят в училище.

Эти и тому подобные истории довели преподавателей до распри или ссоры, которая весьма походила на ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Аполлон Николаевич подал в совет бумагу, в которой просил разделить учеников между преподавателями. И вот, в один из классных дней явился на стене список, на одной половине которого значились ученики исторической живописи М. И. Скотти, а на другой — ученики портретной живописи А. Н. Мокрицкого. Я не помню, к сожалению, как произошел этот раздел: записывались ли сами ученики, к кому желали, или же раздел произошел помимо их воли. Помню только, что у Скотти было учеников гораздо больше, чем у Мокрицкого.

Преподавание, однако, несмотря на раздел, шло тем же порядком. Аполлон Николаевич продолжал рассказывать о Монте-Пинчио, Альбано, Сорренто, а Михаил Иванович продолжал мычать, не удостоивая никого ни одним словом. Его замечания ограничивались иногда следующими фразами: „Фундамент у тебя легок!“, что означало — ноги малы, или тонки; или: „крыша не по зданию! не выдержит...“, что означало — голова велика.

Старшими и лучшими учениками в то время были: Шокирев, Пукирев (ныне профессор), Иванов, Малышев, Матвеев, Неврев и еще Красовский, которого многие, вследствие его чудачеств, считали помешанным. Он был далеко не первой молодости, почти что старик по виду: плешивый, постоянно нюхал табак и так повязывал галстук, что большой бант этого галстука торчал всегда или у уха, или на затылке. Определяя достоинства или недостатки рассматриваемых им этюдов или картин своих товарищей, он употреблял им самим изобретенные самые неподходящие к делу выражения. Он говорил: „Это у тебя, брат, словно кисловато написано!“ — причем и корчил, сморщивая лицо, самую жалостную мину; „Это у тебя, брат, как-то булочно!», „крупичато“, или „калачно!“ и т. д. „Шашками, брат, надо писать... лепить, брат, надо ... стегой лепить ... а то что оно!..“ — наставлял своих товарищей Красовский.

И он сам, воистину, не писал, а лепил какими-то шашками. Многие, я думаю, и до сего времени помнят торс спасителя на кресте, вылепленный Красовским шашками. Это было действительно что-то необыкновенное, но нельзя сказать, чтобы очень дурное. Красовский числился учеником Скотти; он совсем не уважал Мокрицкого и не признавал его за художника. Красовский об Аполлоне Николаевиче выражался так: „Что это за художник!.. Это белиберда!... Сапоги всмятку!.. Брюлловская тень в карика-

туре!.. Ты его, брат, — обращался он к кому-либо из товарищей, — не слушай, коли не хочешь утонуть в его мумии. Он тебя отравит, ей-богу отравит, своей возлюбленной мумьицей ... Так навеки и погибнешь!.."

За исключением Красовского, все остальные ученики были нрава кроткого, робки и к тому же крайне молчаливы. Но Красовский противоречил даже и самому Скотти. Подходит, бывало, Михаил Иванович к его этюду и, помычав, добавляет: „Гм, гм! Не худо ... идет!"

Красовский корчит самую жалостную мину и, немилосердно заныв, возражает:

— Что тут, Михаил Иванович!.. Кой шут, идет!.. Как-то навозно выходит!.. Словно совсем кирпично!..

Скотти при этом выделывает губами что-то вроде улыбки и, отходя от него, говорит басом: „Ничего, Красовский! Не беда, что навозно, не огорчайся этим! Из навоза хорошее удобрение бывает... на навозе хлеб растет... а из кирпичей воздвигаются прекрасные здания и даже храмы славы!..".

Из всего рассказанного читатель видит, что отношения между преподавателями далеко были не дружественные. Скотти относился к Мокрицкому свысока. Он ничего о нем не говорил в классе, как бы не замечал его, и только в тех случаях, когда молча брал палитру ученика, чтобы поправить этюд, и когда видел на палитре мумию, то сердито густым басом процеживал сквозь зубы:

— Что это у тебя за мерзость наложена? Выкинь эту дрянь вон... чтобы ее не было!.. Уж не Мокрицкий ли тебе подарил ее и посоветовал писать этой прелестью? — При этом он тыкал кистью в неповинную краску и высказывал сильнейшее презрение, но неизвестно к чему: к краске или к Аполлону Николаевичу.

Однажды Михаил Иванович не выдержал и под веселую руку рассказал о Мокрицком следующий анекдот:

— Как-то раз, это было давно, — начал басом Скотти, — столкнулся я на лестнице в Академии художеств с А. Н. Мокрицким. Взволнованный Мокрицкий стремительно спускался вниз, а я поднимался кверху.

— Куда это вы бежите, Аполлон Николаевич? — спросил я его.

Мокрицкий, запыхавшись, остановился и, заикаясь, проговорил:

— Я, лю-лю-безнейший, был у-у великого! (так он звал Брюллова).

— Что же вы делали у него?

— По-по-казывал, любезнейший, портрет. .. вот этот, — он показал мне какой-то женский портрет, очень плохо написанный.

— Ну-с! Так что же вам сказал великий-с? — снова спросил я его.

— Что сказал ве-ве-ликий? ... А великий посмотрел, зевнул, поморщился и сказал: „Ну, лю-лю-безнейший Мокрицкий, несмотря на то, что я пересмотрел много всякой всячины, но хуже этого ничего еще не видывал!.."

— Так куда же вы теперь спешите?

— Спешу, лю-лю-безнейший, оканчивать, — проговорил Мокрицкий и стремглав сбежал вниз по лестнице.

Вот и все, на чем как-то раз прорвался Скотти о Мокрицком.

Аполлон же Николаевич, напротив, всеми средствами старался выдвинуть себя на первый план и подпустить своему сослуживцу какую-либо шпильку. Он очень часто отзывался весьма неуважительно об образной живописи Скотти, говоря ученикам:

— Э-эх, лю-лю-безнейшие! Об их святые образа (подразумевая образа Скотти) усердный богомолец, начав прикладываться, может себе весь нос до крови исцарапать: так они пишут парчу и даже тело, кладя неосторожно белильные блики ... Но в этом они видят виртуозность техники.

— Вы бы, мой лю-лю-безнейший, — советовал ехидно Мокрицкий кому-либо из учеников, — показали ваш этюдик Михаилу Ивановичу. Он бы помычал над ним, а вы бы, милейший, и уразумели бы из этого, сколь этюд ваш прекрасен.

Иногда же он говаривал так:

— Большая Федора зачастую, любезнейший, дура, а мал золотник — да дорог. К. П. Брюллов был и небольшого роста, но великий мастер; он мало беседовал со святыми и угодниками, но изучил натуру до мельчайших подробностей, а запрещал писать от себя: он считал это пагубой для учеников!... Вот ему-то и следуйте!..

Мокрицкий считал Брюллова и себя новаторами в искусстве, а Скотти и его школу — отсталыми рутинерами.

Когда же Скотти в свое дежурство, которое всегда было ежемесячно по очереди, говорил ученикам: „Надо изучать натуру: это лучший учитель!", то в следующее дежурство, т.е. на следующий месяц Аполлон Николаевич проповедовал уже другое.

— Лю-лю-безнейшие! Что натура? Натура — дура! — восклицал Мокрицкий. — Надо изучать великих мастеров. Изучая их великие творения, только и возможно прийти к чему-либо разумному, сознательному и изящному. Ученик, прежде чем пользоваться натурой, должен изучить рисунок и живопись по образцам великих маэстро... Пожалуйте вот ко мне! Я вам покажу и дам рисуночки из страшного суда Микеланджело. Вы их почертите побольше, и я ручаюсь, что это будет для вас самое полезное... Скопируйте также что-нибудь. Я вам помогу и в этом случае. У меня есть много прекрасных образцов и, поработавши с них, вы сами увидите, как подвинетесь!..

Несколько учеников, увлеченные этими словами Мокрицкого, являлись к нему, и тогда он показывал им множество гравюр, этюдов и рисунков. Между этими последними был один, изображающий самого Аполлона Николаевича с ослиными ушами.

Во время оно это нарисовал незабвенный Брюллов, и Мокрицкий берег такой рисунок как зеницу ока, а, показывая его ученикам, всегда добавлял: „Вот какой был весельчак великий Карл Павлович!".

С каждым рисунком, этюдом и копией Аполлон Николаевич соединял какой-либо рассказ.

— Вот, лю-лю-безнейший, этот этюд писал наиталантливейший Штейн берг, когда мы с ним сидели вместе у подошвы Везувия и были страшно голодны и хотели насытиться, только, любезнейший, не хлебом и не плодами, а искусством и его познанием!

Поговорив тут при случае о Рубенсе, о Рафаэле, о Рембрандте, а также конечно и о Брюллове, Мокрицкий отбирал несколько рисунков из страшного суда Микеланджело и, отдавая их ученику, всенепременно всучивал ему в это время какую-либо головку, какой-либо пейзаж или этюд своей работы. Советуя скопировать их, как несомненно полезные вещи, он говорил: „Это по-по-подвинет вас, лю-лю-любезнейший, незаметно для вас самих".

Скотти о своих работах ничего не говорил, даже не показывал их; но раз — дело было кажется осенью — по всему училищу разнесся слух, что М. И. Скотти кончил писать заказанные образа и отворит свою мастерскую, чтобы показать их ученикам. Все ждали этого с нетерпением. И вот, в один день, как теперь помню, утром до начала классов, один из живущих у Скотти учеников объявил всем, чтобы собирались и шли смотреть работы Михаила Ивановича. Поднялось страшное волнение и, собравшись толпою человек в 200, мы ввалили, словно прорвавшаяся вода через плотину, в мастерскую Скотти.

Самого автора в ней не было; мы ахали и восторгались. Образа действительно были большие, сложные, эффектные и, кажется, очень хорошие. За достоинство, впрочем, теперь не поручусь, так как видел их один всего раз, а прошло с тех пор чуть ли не 30 уже лет.

От души восторгаясь и любуясь образами, мы подняли такой шум и гвалт в мастерской Михаила Ивановича, что в пылу горячих восторгов совершенно не заметили, как в бархатном, по обыкновению, пиджаке, мягких сапогах и с высоко поднятой головой вошел сам автор. Спустя несколько минут после его прихода, толкая один другого и указывая на вошедшего, мы конфузливо смолкли. Нам казалось, что мы вероятно шумели до неистовства, до неприличия. Но водворилась тишина, и только тут, в первый раз, мы с удивлением заметили, что Михаил Иванович умеет не только весело смеяться, но даже ласково разговаривать, конечно, не со всеми, а со старшими и любимыми учениками. Мы смотрели на Михаила Ивановича, разинув рты и чуть не затаив дыхание, а он, куря сигару, говорил:

— Вот эту голову я написал сразу (голова представляла лик божьей матери в натуральную величину). Но надо сказать, что и поработал же я над ней! Почти семь часов писал, не вставая с места... Но она мне удалась!.. Вот и этого старика тоже я сразу написал... (старик, на которого указывал Скотти, был Николай-чудотворец). Он тоже вышел не худо... А вот с этой головой я много бился... — и он показал на лик спасителя.

Так объясняя, что ему удалось и что нет, над чем долго хлопотал и что

вышло сразу, он в заключение повернулся к нам и сказал: „Ну, господа, теперь заниматься!“. Разойдясь по классам, мы, однако, весь день не принимались работать и безумолчно толковали о поразивших нас образах.

Вскоре после этого Михаил Иванович повез образа в Петербург и там получил за них звание профессора.

Когда уехал Скотти, А. Н. Мокрицкий остался полным хозяином натурного класса и как-то сразу изменился: он стал гораздо строже, нетерпеливее и не допускал никаких противоречий. Он уже садился поправлять этюды без всякого позволения; он, так же как и Скотти, брал молча от ученика палитру, не прибавив даже и своего обычного: „позвольте, лю-любезнейший, я вам помогу!“ Напротив того, он строго спрашивал, опустив очки на нос:

— А-а где же у вас мумия, мой милейший?..

— У меня нет ее, Аполлон Николаевич! — отвечал, улыбаясь, ученик.

Мокрицкий хмурился и сердито продолжал:

— Если нет, то потрудитесь сходить в мою квартиру, попросить там флакон мумии и принести его сюда.

Ученик шел и приносил флакончик мумии, а Аполлон Николаевич с наслаждением выдавливал эту мумию на палитру в таком количестве, что, говоря без преувеличения, ею можно было бы выкрасить маленькие ворота или большую калитку. Затем, поправив очки, он с любовью принимался исправлять этюд, прокладывая прежде всего все тени любимой мумией. Тут же он начинал и рассказ о божественной Италии, о великом Брюллове, а бедный ученик стоял и сокрушенно, чуть не плача, смотрел на свой видоизменяющийся этюд. Смотрел и не смел ничего сказать, не смел остановить расходившейся руки Аполлона Николаевича.

Так проходил иногда целый класс, к концу которого этюд был вполне готов. Уж именно готов — иначе и нельзя выразиться. Тогда Аполлон Николаевич, немного уставший, но все-таки вдохновленный усиленным трудом и повествованием, вставал и, отходя от этюда на несколько шагов, любовался им, медленно складывая свои золотые очки. Затем он приказывал ученику не трогать больше этюда, чтобы как-нибудь не испортить.

— Я вам советую, лю-лю-безнейший, — говорил восторженно Аполлон Николаевич, — не трогать: засушите этот этюдик... Он вышел удачно!.. Начните-ка с завтрашнего дня новый. Этот же этюд будет служить вам оригиналом. Так всегда, лю-лю-безнейший, делал великий К. П. Брюллов. А что он делал, или советовал делать, я вам с своей стороны не советую оспаривать. Деяния великих людей не подлежат контролю, а тем более учеников! — заключал Аполлон Николаевич, уходя из класса.

В то время, когда управлял и руководил натурным классом Аполлон Николаевич, одним из членов совета училища был некто Ив. Д. Лорис-Меликов, человек очень богатый, с которым директор по хозяйственной части г. Собацинский был в большой дружбе. Я уже упоминал, что Мокрицкий написал с этого Собацинского портрет в шубе без шапки.

И вот, желая отблагодарить портретиста, г. Собацинский рекомендовал ему работу, которую заказал Лорис-Меликов. Работа эта следующая. Нужно было для какой-то церкви написать большой запрестольный образ „Воскресение Иисуса Христа“. Мокрицкий принял этот заказ с большой радостью. Не могу сказать наверное, сколько времени он писал этот образ, но только вскоре по классу распространился слух, что Аполлон Николаевич пишет Христа, а также ангелов и даже воинов с своей болезненной супруги. Была ли это просто шутка, или в самом деле так происходило — не знаю.

Прошло несколько недель. В одно утро ученик, живущий у Мокрицкого, объявил по всем классам, что Аполлон Николаевич приглашает всех учеников в свою мастерскую посмотреть только что оконченный им образ. Все сразу поняли, что это было сделано по примеру Скотти, чтобы не отстать от него, а быть может даже и перещеголять.

Ученики, радующиеся всякому случаю пошуметь и поволноваться, собрались толпой и пошли смотреть произведение кисти Аполлона Николаевича. Мы входили, как бараны в овчарню, толкая и давя друг друга. Автор сам был налицо. Он имел на сей раз праздничный и самодовольный вид. На лбу его были надеты очки, на руке палитра, а на голове черная бархатная феска с большой кистью, которая лежала чуть не на самой спине.

Аполлон Николаевич встретил нас приветливо, улыбаясь и даже как будто конфузясь. „Лю-лю-лю, лю-лю-лю“, — повторил он около десяти раз и, наконец, выговорил:

— Мои любезнейшие! Прошу не взыскать: чем богат, тем и рад. Вот мой скромный труд... Я хотел вам показать это слабое, единичное произведение, а не целую массу каких-нибудь скороспелых образов (и тут не упустил он случая уколоть Скотти). Прошу вас, любезнейшие, не стесняясь сделать мне ваши замечания. Говорят: ум хорошо, два лучше, а десять, нужно полагать, еще лучше!

Проговорив это, Аполлон Николаевич отошел в сторону, облокотился на окно и, как на свое детище, с восторженной улыбкой счастья он смотрел на свою только что оконченную картину.

Ученики, окружив его произведение, стояли молча, тихо, так тихо и неподвижно, как будто в мастерской их было не более двух или трех человек. Так продолжалось более десяти минут. Я не помню подробностей образа, но помню лишь одно, что мы стояли перед каким-то весьма и весьма плохим произведением. Это сознавали все.

Но вот кто-то в этой мертвой тишине, в этой-то молчаливой массе, глубоко и громко вздохнул. Это был Красовский. После своего тяжелого вздоха, он протискался между учениками, медленно и сконфуженно подошел к Аполлону Николаевичу, скорчив при этом до невероятности не то жалостную, не то болезненную физиономию, и заныл, как умирающий.

— Аполлон Николаевич! Что это?.. Посмотрите, у вас как будто немного пшенично на образе-то!..

— Что, лю-лю-лю-безнейший? Что вы говорите? — спросил Мокрицкий, зардевшись как маков цвет.

Но неумолимый Красовский, еще более гримасничая, продолжал:

— Я говорю, Аполлон Николаевич, как будто не допрело словно что-то... сыровато маленько!..

— Как? Что не допрело... сыровато!! Что вы говорите, мой любезнейший? Я вас совсем не понимаю...

Но Красовский не унимался и продолжал:

— Оно не то, что сыровато, Аполлон Николаевич, а как-то творожно!.. словно совсем сметанно!..

Все ученики разом фыркнули, Мокрицкий еще более покраснел и, еще более заикаясь, проговорил, обращаясь к Красовскому:

— Вы, лю-лю-лю-безнейший, всегда говорите разный вздор. Но на сей раз сам господь бог не поймет, что вы хотите сказать э-э-этим: не допрело, творожно, пшенично, и т. д... Как это бессмысленно!.. — прошептал он, пожав плечами и что-то бормоча про себя, быстрыми шагами вышел из мастерской.

Красовский, по уходе Аполлона Николаевича, подошел к ученику Астрахову, известному всему училищу шутнику и каламбуристу, и, не переставая ныть, обратился к нему с такими словами:

— Ну, что, брат Астрахов! Что ты скажешь?.. Не правда ли, ведь совсем слюняво?..

— Не то! — проговорил Астрахов, покручивая свои гусарские усы. — Не то ты говоришь!.. А вот что, господа, — обратился он ко всем шепотом, — вас зачем позвал Аполлон Николаевич? Посмотреть „Воскресение“, ведь так?

Все ученики отвечали на это также шепотом: „Да, да, да!“.

— Так вот что я вам скажу. Вы ему не верьте! Это он показывает нам вовсе не «Воскресение». Это может быть понедельник, может быть среда, или пятница, ну, какой хотите будничный день и еще скорее всего постный, но только уже никак не воскресение, а тем более светлое... И как он вас ни будет уверять, что это действительно воскресение, вы ему не верьте! Это он просто шутит... Это не воскресенье!.. Это даже не скорбный день из великой седмицы!.. Это не день светлого воскресения, а просто-напросто ночь великого посрамленья, и к тому же ночь без конца и без рассвета...

Проговорив это, Астрахов, подняв гордо голову и покручивая усы, вышел из мастерской. Вслед за ним густой, шумной толпой повалили и мы. Тем и кончился осмотр нового произведения кисти Аполлона Николаевича.

Скоро после того вернулся из Петербурга, уже профессором, М. И. Скотти, но в училище он уже службу не продолжал. Устроив свои денежные дела, он уехал в Италию, где задумал написать большую, сложную кар-

тину „Се человек, или Христос перед народом“. Написал ли бы он эту картину и вышло ли бы что из этой затеи — неизвестно. Ему не суждено было даже приступить к ее исполнению, так как неумолимая смерть преждевременно, нежданно вычеркнула его из списка живых.

Я хорошо помню тот зимний вечер, когда мы провожали Михаила Ивановича. Тут были и преподаватели училища — его сослуживцы. Не могу припомнить, был ли Аполлон Николаевич?

В то время не было еще Николаевской железной дороги, а против училища помещалась станция дилижансов с большим двором и аркой, из-под которой выезжали тяжелые кареты, запряженные чуть ли не в шесть, или восемь лошадей, с великаном-кондуктором и бородастым ямщиком на козлах.

Мы все собрались на этом дворе. Вскоре из здания конторы вышел закутанный и обвязанный платками Михаил Иванович. Он, видимо, был тронут картиной прощания и на сей раз казался далеко не тем неприступным и надменным Скотти, которого мы привыкли видеть в классах. Он был не начальник, не преподаватель, а просто человек, и даже расчувствовавшийся человек.

Михаил Иванович перецеловался со всеми сослуживцами, а также с любимыми и старшими учениками, остальным же всем пожал руку. Многие заметили, что на глазах его были слезы.

Когда вышел на крыльцо подъезда чиновник и крикнул зычным голосом: „Господа, занимайте места! Дилижанс сейчас отправляется!“ — Михаил Иванович еще раз перецеловал всех сослуживцев и уселся в карету. Кондуктор поместился на козлах и затрубил. Дилижанс тронулся. Михаил Иванович еще раз сделал из окна прощальный привет и скрылся. Скрылся совсем, как для учеников, для училища, так и вообще для искусства.

Уехал Михаил Иванович, и что же осталось от него? Ничего и ничего! Кроме образов в Конногвардейской церкви, да еще слабого воспоминания о том, что он был хороший и честный человек, всегда неприступный в классе и любезный в обществе.

Что М. И. Скотти был хороший мастер — это бесспорно. Но, спрашивается, кому же он передал свое мастерство? Кого он научил и чему научил? Кого воспитал и кого развил, если уж не для творчества, то по крайней мере для понимания его? Кто может с гордостью мастера и с сознанием истинного художника сказать: „Я ученик М. И. Скотти“? Я уверен — никто. Но отчего это? Вот вопрос, который я имею намерение выяснить в конце хроники наших учителей.

По отъезде Скотти А. Н. Мокрицкий принял в руки бразды правления в училище, но только ненадолго. Скоро разнеслась весть, всколыхнув все училище, как летний ветерок задремавшие листья в знойный полдень. Этот слух удивил многих, потому что на место Скотти был приглашен известный портретист Сергей Константинович Зарянко.

Ученики были в недоумении.

— Как же это так, господа? — говорили они. — Значит, у нас будут два преподавателя портретной живописи? Ведь Аполлон Николаевич портретист и Зарянко тоже... А кто же будет преподавать историческую живопись?!

Спустя несколько месяцев, приехал Зарянко, и интересующий до крайности всех учащихся вопрос о том, кто будет преподавать историческую живопись, был разрешен. Профессор Зарянко принял на себя преподавание портретной живописи, а А. Н. Мокрицкого сделали (я не могу придумать иного выражения) преподавателем исторической живописи.

Как преподавал Зарянко портретную живопись, зачастую залезая в область исторической, как обучал Мокрицкий исторической живописи, нередко прихватывая и портретную, и как скульптор профессор Рамазанов преследовал то одного из них, то другого, а иногда и обоих вместе, будет рассказано в следующих главах.

А. Н. МОКРИЦКИЙ и С. К. ЗАРЯНКО

Интересно смотреть, как резвые, зоркие маленькие утята на громкий крик утки стремглав собираются к ней изо всех углов и закоулков заросшего травой лесного болота; как они, словно бегут по зеркальной поверхности стоячей воды, неистово махая крохотными крылышками и оставляя по себе быстро исчезающий след. Точно такое же зрелище представляли некогда и мы, ученики, спеша, как утята, собираться в начале сентября под наш общий воспитательный кров в Училище живописи и ваяния. Все мы сходились, съезжались почти в один день не только из разных углов и закоулков Москвы, но, можно сказать без преувеличения, со всех концов великой и разноплеменной России. И откуда только у нас не было учеников!.. Были они из далекой и холодной Сибири, из теплого Крыма и Астрахани, из Польши, Дона, даже со Соловецких островов и Афона, а в заключение были и из Константинополя. Боже, какая, бывало, разнообразная, разнохарактерная толпа собиралась в стенах училища!.. Ни к кому больше не шел так стих Пушкина, как к нам, тогдашним ученикам:

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний...

Действительно, каких, каких наций не было между нами!.. Были тут черные, как обгорелая головешка, болгары и хвастливые поляки, пронырливые евреи, неповоротливые и словно вечно дремлющие хохлы, донские и уральские казаки, утратившие свой, когда-то необузданный, казацкий нрав. Были между учениками робкие крестьяне, заносчивые дворяне, смиренные монахи и молчаливые попы, учился даже отставной военный генерал, молодой князь угасающей фамилии и немецкий барон по фамилии

фон Эйслер, которого все звали не иначе как: Вигейтс, или Ганцгут. „А, здравствуйте, г. Вигейтс, или Ганцгут!" — так приветствовали его все ученики, на что он никогда, впрочем, не обижался. Не видал я только между учащимися татар и бродячих цыган.

Все эти разнообразные, разноплеменные жрецы искусства не могли бы числиться учениками в Школе живописи теперь, при новом уставе, который допускает для поступления в школу только возраст от 12 до 18 лет. И если бы к несчастию явился в настоящее время величайший гений по искусству, к тому же хоть и магистр философии по наукам, но имеющий от роду 18 лет и 6 месяцев, то и он бы, несмотря на свою гениальность и ученость, по силе устава не мог бы быть в числе учеников училища.

Все мы, большинство живописцы (тогда еще не было архитектурного отделения, а существовали только отделения живописи и скульптуры), спешили после четырехмесячных летних каникул к своим преподавателям, товарищам, а главное к занятиям, которые начинались почти всегда около 7-го сентября. Точно по щучьему велению, целая масса учеников сходилась в один час в швейцарской Петра Егорова, который в то время, заметим кстати, еще не хромал, как теперь, и не носил бороды, а щеголял с одними черными усами.

Радостно приветствуя и крепко пожимая руки товарищей, мы бывали в те минуты вполне счастливы, от души веселы и всем довольны. Каждый из нас возвращался в училище с каким-либо запасом финансов, а также — новых сил на длинную, холодную, а зачастую и голодную зиму. В швейцарской, где мы все собирались, говор, шум, смех доходили до крайних пределов, и в этом гаме только ежеминутно неистово стонала, визжала и сердито хлопала дверь, впуская новые толпы прибывающих учеников.

Всюду слышались возгласы:

— А-а! Здравствуй, Мухин! Здорово, Корзухин! С приездом тебя! И тебя также, Быков!

И Быков с Коровиным, обнявшись, обменивались приветствиями и целовались.

Тут же ученики спешили осведомляться у своих товарищей: кто где был и что делал?.. Во всех углах слышались одни и те же вопросы между встречавшимися однокашниками: „Ну что, брат Свириденко, или Нестеров, много наработал за лето?..".

Ученик при этом вопросе бойко встряхивал головой с отрощенными за лето волосами, которые он не успел еще обрезать и весело отвечал:

— Я-то... Э-эх, брат! Ничего я целое лето не делал, ел только, спал, да катался.

— Как катался? — спрашивают ученики.

— А так! Вниз да вверх по матушке Волге. Катался я на пароходе... У меня, господа, брат служит в Самолетской компании, вот я к нему и присмолился, да и проездил целое лето от Нижнего до Астрахани и обратно.

Рейсов 12 сделали... И что удивительно-то, — все рейсы прошли благополучно, чего пароходное общество с основания не запомнит!..

— Ну, а по искусству ничего не делал? — спрашивал его кто-либо из товарищей.

— По искусству? Ни-ни, ничего!! — отвечал весело вопрошаемый. — Весь альбом привез чистехонек, неприкосновенным сохранил. Впрочем, две-три первых страницы зарисовал... На одной из них зачертил татарина на молитве, когда он смиренно стоял на коленях на разостланном, рваном кафтане в уголку трапа нашего парохода и воздевал руки к голубому вечереющему, безоблачному небу, а на другой начертил утонувшего бурлака... На груди у этого бурлака лежала старая, полинялая икона, а около нее наложена была целая куча медных грошей, словно неистово давивших грудь несчастного, вследствие чего он, вероятно, крепко-накрепко и стиснул зубы и сжал могучие кулаки, раскинув их по желтому, сыпучему песку... Вот и все, господа, что я сделал за лето!.. Ну, а ты-то что? — обращался он в свою очередь к расспрашивавшему его товарищу.

— Я, брат, — отвечал тот также весело, — я все́ лето на охоту проходил. Дичи набил страсть сколько! И все больше куликов да уток.

— Ты бы хоть парочку нам привез, — говорил угрюмо ученик по фамилии Коль.

Ученик этот был чуть не в целую косую сажень ростом, с угрюмым, некрасивым лицом и с рыжими усами. На нем красовался всегда коричневый пальмерстон, полы которого чуть не касались земли.

— А-а!! — кричали все ученики с такою радостью, как будто увидали отца родного. — А, Коль! Здравствуй, Коль! Ну где ты, братец, был? Что делал? Рассказывай скорей!..

Коль мрачно смотрел на всех и, как-то отчаянно махнув рукой, сердито отвечал:

— Где я был — там меня нет. А что я делал?.. — При этом вопросе он остановился и после некоторой паузы тем же мрачным тоном проговорил: — Влюблен был... в попову дочь влюбился. Все лето был влюблен в проклятую... только даром потратил время...

Сказавши это, Коль отвернулся, отошел от товарищей, а слушавшие его весело и дружно хохотали.

— Ну, а ты что, Колесников? — обращаются товарищи к ученику с большим комическим дарованием.

— Ты где был и что делал?..

Колесников — ученик не первой молодости. Он молча садится на скамейку, вынимает табакерку и клетчатый платок. Осмотрев с важностью всех учеников после сладкой понюшки, от которой на глазах выступили даже слезы, он начал с какою-то таинственностью:

— Вы, господа, желаете знать, что было со мной?

Все хором кричали ему:

— Ну-ну! Говори. Где ты был и что делал? Не мямли, говори живее!

— Где я был?.. Был, я, господа, в городе Гороховце. Что делал?.. Скажу вам после. А что со мной было? — Вот что: меня чуть было не повесили... и где же? На базарной площади!..

— Чуть не по-ве-си-ли?! — спрашивают все ученики с изумлением.

— Ну да! То есть хотели повесить! И если б не счастливый случай, то я давно бы уж висел между тушами свиней, баранов и разной живности на базарной площади города Гороховца и не видал бы ваших морд.

— Расскажи, Колесников, сделай милость, расскажи! — пристают к нему все ученики. — Это очень любопытно!..

Колесников, высморкавши опять предварительно нос в клетчатый платок, нюхает табак, а затем, ухватившись за горло и ощупав его, как бы желая убедиться, что все связки оного органа в надлежащей исправности, громко крякнув, начинает рассказ.

— Ну-с, слушайте, господа! Только, чур не мешать!.. Начну с начала. Было это так...

Впрочем, как Колесникова рассказ, так и еще два-три рассказа, сообщенные учениками, я откладываю до другого раза и посвящу для них несколько отдельных глав под названием „Рассказы товарищей".

Наговорившись вдоволь, осведомившись у всех, кто где был и что делал, мы разошлись по домам, так как классы начинались позднее обыкновенного. Уходя, каждый из учеников сунул что-нибудь в руку Петру Егорову, который, приподнимаясь с насиженного у двери места, равнодушно брал даваемое и говорил всем, слегка кивая головой, „спасибо".

Через два дня ученики собрались ранним утром и разбрелись по классам. Кто пошел в натурный, кто в гипсово-фигурный, кто в гипсово-головной и в оригинальный. Все ожидали появления преподавателей.

В этот час утра суматоха в классах бывает страшная. Все суетятся, все спешат. Кто отыскивает запропастившуюся свою папку или портфель, кто тащит громадную доску и полотно, на котором имеет намерение воспроизвести хороший этюд, кто отыскивает свой мольберт... Никто ничего не находит, никто ничего не может добыть, как будто после наводнения или татарского погрома.

Каждый спешил занять получше место. Ученики знают, где должны быть лучшие места но зачастую жестоко ошибаются. Я это говорю не в отношении одного только натурного класса, но и всех других, кроме оригинального. Все суетятся и шумят. Гвалт, говор, а очень нередко и ссоры возникают между приятелями.

Но вот бьет 9 часов, являются преподаватели, и все стихает, стихает быстро, вдруг, точно так, как это бывает на сцене при поднятии занавеса.

Такое же было утро и в тот классный день, с которого я начну рассказ о деятельности нашего старшего учителя Сергея Константиновича Зарянко.

Первым из преподавателей в упомянутое утро явился Аполлон Николаевич Мокрицкий. Он имел какой-то бодрый, чуть не торжественный вид, как человек после хорошего, продолжительного отдыха и сна. Вошедши в класс и усиленно потирая руки, он с любезною улыбкою обратился ко всем ученикам, которые, конечно, тут же его приветствовали почтительным поклоном.

— Здравствуйте, лю-лю-безнейшие! По-по-здравляю вас всех с приездом! Ну, ну! Расскажите, как вы, мои милейшие, провели лето? Много наработали? Много путешествовали? Много собрали материалов? Надеюсь, что не бесплодно прошло нынешнее лето. Лето было хорошее, теплое, а потому работать можно было вдоволь... Ну-с, итак прошу вас, расскажите мне, мой лю-лю-безнейший, — обратился он к одному ученику, близ его стоящему, — ну, что вы хорошего делали нынешнее лето?!

Ученик, опустив сконфуженно голову и пожимая плечами, словно ему было холодно, отвечал запинаясь:

— Я ничего не делал, Аполлон Николаевич! Ничего не удалось сделать... все только собирался работать...

— Это немного, лю... лю... безнейший! — заметил Мокрицкий. — Это очень немного... это даже далеко менее того, что я мог от вас ожидать. А скажу откровенно и ожидал-то я от вас очень и очень немногого... Ну, а вы, лю-лю-безнейший, — обратился он ко второму ученику, — также, как и ваш товарищ, только собирались работать?..

Ученик молчал и смотрел вниз.

— Ну, а вы? — обращался А. Н. к третьему.

Третий, весело осклабясь и тряхнув беззаботно головой, беззастенчиво отвечал:

— Я тоже ничего не делал, Аполлон Николаевич!.. Хочу зато работать в классе усердно.

— Прекрасно! Что могу я более вам сказать, как не прекрасно. Продолжайте и вперед так делать, — уныло произнес Мокрицкий.

— Ну, а вы, мой ми... милейший? — обратился он к четвертому ученику по фамилии Журавлеву, или, как почему-то звали его все ученики, „се-тре-Журавле“... — Вы много наработали нынешнее лето?

— Я, Аполлон Николаевич, работал много! — отвечал се-тре-Журавле, улыбаясь во весь свой необъятный рот. — Да работал-то только без толку: все больше для гамзы (для денег). Мазал кой-какие образишки, писал портреты, но не для того, чтобы поучиться, а просто-напросто для того, чтобы заработать гроши... Без них суровой зимой поколеешь, Аполлон Николаевич, и доучиться-то не удастся!..

Пока говорил се-тре-Журавле, весело ухмыляясь, Аполлон Николаевич как-то грустно опустил голову; когда же тот кончил, то Мокрицкий поглядел на него и, право не лгу, мне показалось, что на глазах Аполлона Николаевича были слезы.

Он заговорил затем печально и даже дрожащим голосом:

— Лю-лю-безнейшие мои, как мне больно и грустно все это видеть и слышать!.. Вы и все ваши товарищи готовитесь быть деятелями, художниками. Вы посвятили себя на служение искусству, пришли учиться сюда, в училище, по своей доброй воле, а не по принуждению. Несмотря на всевозможные лишения, несмотря иногда на тяжкую нужду, вы не оставляете дорогого искусства. Я не могу из этого, мои лю-лю-безнейшие, вывести никакого иного заключения кроме того, что вы горячо и от всей души любите искусство. Но что я в то же время усматриваю?! Вы совершенно холодны и равнодушны к нему. Я не могу никак понять вас... Я не могу понять, как можно что-либо любить и в то же время быть вполне равнодушным к любимому предмету... А между тем на деле это так... Восемь месяцев вы проводите в душных, скучных и однообразных классах, подготовляясь к будущей деятельности, восемь месяцев вы долбите азбуку, изучая прелые ноги, грязные уши и толстые с мозолями пальцы казенного натурщика... и этим вы ограничиваетесь!.. Да разве это возможно, милейшие?! Ведь классы для деятельности художника, т. е. для последующего творчества есть не более не менее как азбука, которая изучается для того, чтобы уметь ясно и понятно излагать свои мысли и чувства. Это есть период младенчества в искусстве. И в этом-то периоде изучения вы проводите долгие, почти бесконечные годы, лучшие молодые годы вашей жизни, годы пыла, любви и энергии?!.. Мне кажется, я не могу иначе думать, что для вас искусство и существует только в классах, и именно в те моменты, когда вы точите или конопатите ваш безжизненный рисунок, а также когда вылизываете ваш бессодержательный этюд в надежде получить за него медальку!.. Неужели это вся ваша цель и именно только к этому вы стремитесь?.. Неужели вы думаете, что, получив медаль — большую или малую — это безразлично, вы сделаетесь художниками?!... Неужели вы полагаете, что научившись бойко рисовать кривого Ивана, горбатого Тимошку и неуклюжего Мишку, вы постигли уже все в искусстве?!... Н-нет, вы жестоко ошибаетесь!.. Истинное искусство не только не в училище, но даже и не в Академии художеств! Не в классах его искать нужно — классы и останутся классами — искусство вне их, оно в жизни, в природе, не позирующей перед вами на казенном пьедестале, а текущей быстро, неудержимо, как горный ручей. И к этому-то роднику живого искусства, утоляющему жажду познания, вы, к моему крайнему огорчению, совершенно равнодушны!.. Чтобы быть вполне художником, нужно быть творцом, а чтобы быть творцом, нужно изучать жизнь, нужно воспитать ум и сердце, воспитать не изучением мозолей казенных натурщиков, а неусыпной наблюдательностью и упражнением в воспроизведении типов и им присущих наклонностей... Этим изучением нужно так настроить чувствительность воспринимать впечатления, чтобы ни один предмет не пронесся мимо вас, не отразившись в вас, как в чистом и правильном зеркале. Художник должен быть поэт, мечтатель, а самое главное — неусыпный труженик... Теперь посмотрим, что вы сделали и делаете для того, чтобы воспитать

в себе художника? Я спросил из вас пятерых, чем они были заняты летом? Все пятеро весело, даже как будто с удовольствием, ответили: „Ничего не делали!“. А знаете ли, лю-лю-безнейшие, что из ничего, ничего и не выйдет?!... Ноль и останется нолем, а для того, чтобы ноль получил значение, к нему нужно приставить единицу, а к вам, милейшие, — труд...

Проговорив это, Аполлон Николаевич глубоко вздохнул:

— Да, ми-ми-лейшие, повторяю вам: мне больно, грустно за вас... Сколько вы, вероятно, в лето видели сцен веселых и печальных; сколько перед вами прошло типов красивых и жалких, счастливых и несчастных, смеющихся и плачущих... Все они прошли перед вашими глазами бесследно, все они показались вам неинтересными, а быть может даже и похожими один на другого, как кажутся человеку, равнодушному к красотам природы, все деревья в лесу одинаковыми, или как для грубого уха — все песни поются на один мотив... Любезнейшие, говорю вам с истинным желанием вразумить вас... Желающий глубоко изучить искусство, все виденное им, все, что производит на него впечатление, занес бы в свою памятную книгу и сохранил бы эти впечатления в своей книге и в своей голове, так же, как сохраняет на себе горячее железо следы удара молота, даже и после того, когда остынет. И если бы вы поступали так, альбомы бы ваши наполнились прекрасной жизненной правдой, а мозг — образными впечатлениями. Вы пришли бы к вашему преподавателю и показали бы ему и то, и другое, т. е. и впечатления и альбом с рисунками. Не удивляйтесь, ми-милейшие, тому, что можно показать впечатления... Это очень просто. Представьте себе, вы приходите к преподавателю и говорите ему: „Я хочу написать такую-то картину, я видел эту сцену, и она поразила меня, вот как это было“... И вы расскажете ему все, что заметили, а из того, как вы расскажете, он увидит, насколько вы виденное вами глубоко прочувствовали.

— Будьте уверены, лю-любезнейшие, глубина чувств выразится не только в вашем рассказе, но и в каждом вашем слове... А затем вы бы показали свой альбом и сказали бы ему: „Вот мои силы. Посмотрите, имею ли я их настолько, чтобы воспроизвести в образах то, что уловил сердцем и разумом?“... И наставник ваш, как опытный сельский хозяин, живущий в природе, сказал бы вам: „Нет, еще рано — посеянное вами еще не созрело!“ — А может быть, наоборот, он сказал бы: „Настала жатва — посеянное вами созрело. Вам остается приняться за новый, но уже более приятный труд — собирать созревшее“. И добавил бы к этому: „Радуюсь и веселюсь за вас, и поздравляю от всей души; вы будете художником... я вполне и ясно теперь вижу в вас ту нетленную, божескую искру творчества, без которой немыслим ни один художник...“

— Ну-с, лю-любезнейшие! — обратился настойчиво Мокрицкий к ученикам. — А что ваши наставники теперь вам могут сказать?! Положа руку на сердце, отвечайте откровенно, что они вам могут сказать?.. Ничего!.. а затем еще раз — ничего нового и дельного, кроме: убавь носу, или подними пупок... Так учиться нельзя... лю-лю-безнейшие!.. Если вы

будете относиться к изучению искусства, как относились и относитесь теперь, то могу вам сказать с полной уверенностью, что ни один из вас не будет художником и ничего не выйдет из погубленных вами лет, употребленных на изучение воображаемого вами искусства. Оставьте мечту быть художниками и можете спать спокойно.

— Но позвольте, Аполлон Николаевич, ведь нужно же что-нибудь есть и пить? Ведь нужно же позаботиться о средствах, чтобы жить и учиться? А потому необходимо работать и для денег, — возразил ему ученик, которого хотели повесить на базарной площади.

Аполлон Николаевич грустно взглянул на него и, покачав головой, продолжал:

— Лю-лю-безнейший! Мы никогда не поймем один другого, как не поймет холодное благоразумие горячую любовь, хотя и то, и другое прекрасные чувства и оба присущи человеку. Вы благоразумны, мой милейший, а потому умеренны. А кто любит, тот возбужден до самоотречения, до самопожертвования. Кто хочет быть истинным, т. е. великим художником, тот должен последовать Христу — взять крест и нести его; отречься от благ мирских и любить искусство, если бы даже пришлось и умереть за него. Желающий быть художником должен сделаться полным фанатиком, человеком, живущим и питающимся одним искусством и только искусством. Впрочем я говорю об идеальном художнике, до которого нам с вами так же далеко, как до звезды небесной, но не могу не прибавить: плохой и тот художник, который не надеется со временем написать Помпею. Покойный великий К. П. Брюллов, написав свою божественную картину, не удовольствовался этим, а мечтал еще расписать и свод небесный.

— Я не говорю, лю-лю-безнейший, — умолкнув на минуту, снова начал Аполлон Николаевич, — чтобы художнику не нужно было пить и есть. Если бы вы попробовали это делать, то мы бы с вами наверно теперь бы и не беседовали. Но спрошу вас: неужели все часы дня в продолжение четырех летних месяцев, а скорее и всех двенадцати, употребляются вами на приобретение пищи и питания?!. Если это так, то зачем же вы ходите в класс и тратите дорогое для вас время на изучение искусства?!... Мне кажется, как вы ни поглощены заботой о настоящем и будущем, о приобретении насущных средств, но помимо всего этого все-таки вы мечтаете быть художниками. И верьте мне, если вы отбросите заботы о будущем и всей душой прилепитесь к искусству, составив с ним „два в плоть едину“, то и будете художниками. А чем лучшими вы будете художниками, тем более и приобретете средств к жизни. Средства придут сами собой, за ними не следует гоняться, вам даст их благодарное искусство. Но только помните, что все дается тогда, когда вы будете любить искусство так же горячо, как вы любите самих себя и ваши средства к жизни. Художник должен изображать евангельскую птицу небесную, которая о завтрашнем дне не заботится.

Проговорив это, Аполлон Николаевич вдруг встрепенулся и, как бы что-то вспомнивши, сказал заикаясь:

— Ах, лю-лю-безнейшие, я заговорился и забыл вас известить о том, что Сергей Константинович Зарянко, ваш новый преподаватель, желает с вами познакомиться. Он просил меня представить ему вас... Пожалуйста, соберитесь...

С этими словами он вышел из класса, но у выхода остановился и, показывая одному ученику на его только что отращенную бороду*, спросил:

— Лю-лю-безнейший, что это у вас?!...

Ученик, пощупав рукой бороду, покраснел и отвечал:

— Это я, Аполлон Николаевич, бороду отпустил.

Но Мокрицкий, не слушая его и тряся головой, продолжал:

— Нет, нет, лю-любезнейший, это не борода, это сапожная щетка, да при том сильно вытертая!..

Сконфуженный ученик еще более покраснел, а Мокрицкий не унимался:

— Я вам, лю-лю-безнейший, советую расстаться с этим сокровищем и обрить бороду, пока вас не увидал Сергей Константинович. Я боюсь, что, глядя на эту оригинальную до неприличия бороду, он о вас может составить весьма невыгодное мнение. Художник, любезнейший, должен быть во всем изящен, а ваша, как вы ее называете, борода более приличествует, извините за выражение, сапожнику.

Ученик, видимо, озлился и уже резко отчеканил:

— Рад бы бриться каждый день, Аполлон Николаевич, да бритвы нет и денег также, чтобы каждый день ходить в парикмахерскую...

— Ну, в этом я вам помогу. У меня есть одна лишняя бритва. Я вам подарю ее, а также и кусок казанского мыла. Надеюсь, что флейц**, чтоб намыливать бороду, у вас свой найдется. Правда, милейший, бритва, которую я вам обещаю, немного тупа, но тем лучше, а то острой-то, пожалуй, еще и обрежетесь.

По уходе Мокрицкого, ученик се-тре-Журавле вышел на средину класса и как только мог, громко прокричал:

— Каков, господа, Мокрицкий!.. Сам кушает разные жаркие и пирожные, пьет чай и кофе да небось и всегда и водочку за обедом, а нам проповедует взирать на птиц небесных, чтоб собирать по дорогам всякую дрянь и оной питаться!.. А! Каков гусь, господа?!...

Но ученики ничего на это не ответили...

Через несколько минут из всех классов мы собрались в один зал в ожидании, когда нас будут иметь честь представить Зарянко. Странно, не одного представляют 200, а 200 человек ведут и представляют одному!.. Но это

---

* В моей „Хронике училища“ часто упоминается о бороде — это на том основании, что в то время она составляла редкость, вследствие чего и бросалась в глаза.

** Большая пушистая кисть, употребляемая в живописи масляными красками.

так принято и, вероятно, на том простом основании, что нет учителя, директора, инспектора и даже сельского попа, который бы не был убежден, что все для него, а не для всех, и что ученики существуют в училище не для чего иного, как только для своих учителей.

Когда все двести собрались, дверь растворилась, и Зарянко вошел вместе с Мокрицким. Аполлон Николаевич шел, гордо подняв голову, с сияющим лицом. Сергей Константинович, наоборот, опустил голову вниз и ни на кого не глядел. Он тяжело дышал, что и было заметно по раздувающимся его ноздрям. Аполлон Николаевич заговорил первый.

— Вот, Сергей Константинович, имею честь представить вам наших учеников. Прошу их любить и жаловать. Они прекрасные молодые люди и будут вполне ценить ваше к ним внимание и ласку; они люди вполне благодарные.

Выслушав Мокрицкого, Зарянко долго молча стоял перед нами, все смотря вниз и все сильнее раздувая свои ноздри. Наружность Зарянко была далеко не привлекательная. Он был невысокого роста, рябой, со светлыми, словно совершенно белыми глазами, худой на лицо, худой в теле и чахоточный. Одна ноздря у него попорчена была оспой, поэтому и казалась точно надорванной; толстые губы имели бледно-фиолетовый цвет, прямые, белокурые волосы гладко были причесаны.

Помолчав минут с десять, Зарянко медленно поднял голову, обвел нас мутным взором и, затем, закашлявшись, прикрыл рот ладонью. Когда прошел припадок кашля, он отчетливо, сильно, звучно, каким-то резким голосом, что нередко бывает у больных чахоткой, проговорил:

— Господа, мне очень приятно с вами познакомиться... Я приглашен в ваше училище Московским художественным обществом.

На первых порах Зарянко сказал неправду, так как „Общество“ не только никогда не входило в дела училища, но даже никогда и не собиралось десятою долею полного состава своих членов. Но об этом после.

— Я, господа, — продолжал Сергей Константинович, — принял на себя, быть может, непосильный труд — руководить вами в искусстве. Но с божьею помощью, моим усердием, а также и с желанием принести пользу, присоединив к этому ваше старание и послушание, мы успеем что-либо сделать. Я уверен, господа, что „Общество“ не будет раскаиваться, избрав меня вашим инспектором, руководителем и воспитателем в искусстве. Но...

Зарянко приостановился и опять всех нас обвел своим взглядом.

— Господа! — продолжал он, — как бы я ни старался и ни желал принести вам пользу, но от преподавателя, если сам ученик не будет трудиться и вполне слушаться своего наставника, не всегда зависит успех ученика.

Проговорив это, Сергей Константинович снова замолчал и оглядел нас всех по очереди своими светлыми глазами. Вздохнув, как страдающий одышкой, он опять начал.

— Итак, господа, я буду заниматься с вами, но заниматься только с теми из вас, кто своим прилежанием, а главное по-слу-ша-нием (он как бы

подчеркнул это слово) будет того заслуживать... Я люблю в ученике труд, терпение, полное послушание и скажу откровенно, что ненавижу праздность, легкомыслие, туманные мечты в искусстве вообще, а в живописи в особенности. Надо, господа, пользоваться тем, что у нас есть, что находится перед нами, что доступно и возможно для понимания и осязания, но не гоняться за призраками, которых мы никогда не поймем и не поймаем... А потому повторяю вам: я люблю труд положительный, математическое знание дела и не признаю произведений по впечатлению и творчества — по вдохновению, как выражаются некоторые жалкие художники.

При этих словах Аполлон Николаевич сделал несколько шагов вперед, неестественно открыл глаза и, не мигая, поглядел на Зарянко. Губы его не то дрожали, не то, быстро шевелясь, что-то шептали; он, видимо, хотел заговорить. Но Зарянко не обращал на него никакого внимания.

— Итак, господа, если вы будете следовать моему совету, моему взгляду и указанию, то должны изучать только видимое... Я бы очень желал знать, каким циркулем можно измерить душу человека, его чувства и страсти?! — сказал Зарянко болезненно, как бы с презрением, искривив губы. — Я уверен, господа, что если вы математически будете изучать дело, то мы дойдем до положительного знания — как писать картины и портреты — и никогда не будем ссылаться на неудачи, на отсутствие вдохновения. Неудач в искусстве не существует так точно, как не существует и вдохновения... Пусть любой из вас сыграет мне по вдохновению на скрипке, или любой скрипач по вдохновению напишет портрет, а тем более картину!.. Если это кто сделает, то я признаю себя побежденным и поверю, что вдохновение существует. Пока же никто этого не сделал... Я говорю, что вдохновение есть мечта, положительный вздор, нелепость... Повторяю вам, если кто ссылается на неудачи, это значит, что он не привел всех своих знаний к одному знаменателю, а еще вернее, просто-напросто не умеет работать.

При этих словах Аполлон Николаевич опустил голову и развел руками, а Сергей Константинович тем же тоном продолжал:

— Я докажу вам, господа, все, мною сказанное, на деле. Вы увидите, что это не одни слова. А теперь, пока, до свидания! С завтрашнего дня я начну с вами заниматься.

Закончив так свою речь, он повернулся к нам спиной и вышел.

Мокрицкий с опущенной головой и с разведенными врозь руками стоял как парализованный. Мы молча смотрели на него, и так продолжалось несколько минут. Наконец, Мокрицкий глубоко вздохнул и, как бы сбросив с себя непосильно давившую его тяжесть, обратился к нам и, глядя на нас печальным взором, медленно проговорил:

— Ну, лю-лю-безнейшие, поздравляю вас с новым преподавателем!.. Желаю вам с ним полного счастья и блестящих успехов!.. Но молю господа бога и всех его угодников, чтобы он, по милосердию своему, не оставлял вас своею помощью, был бы постоянно с вами и не допустил бы погаснуть

и заглохнуть истинному свету в ваших юных и незрелых еще сердцах... Прощайте, господа! Я нынешний месяц дежурить не буду. Вы будете заниматься с Сергеем Константиновичем, а на следующий месяц мы поговорим еще с вами о „несуществующем", как говорит г. Зарянко, вдохновении и творчестве.

Мокрицкий с низко опущенной головой вышел из класса.

Из речи, сказанной Сергеем Константиновичем, мы поняли одно, что он шутить не любит и что будет строг со своими учениками. Предположение это вскоре оправдалось.

На следующий день был первый класс под руководством Сергея Константиновича. Этот первый класс, вероятно, остался у многих, так же как и у меня, в памяти; но так как рассказ о нем займет много времени и места, то я и откладываю этот рассказ до следующего номера.

С. К. ЗАРЯНКО и ЕГО УЧЕНИКИ

Во второе посещение классов С. К. Зарянко выяснил нам свой взгляд на живопись, а также и те практические способы, через которые можно скоро и успешно достигать блестящих результатов в искусстве. При этом он выяснил причины, в силу которых достигаются хорошие результаты изучения живописи почти всеми художниками через многое множество лет тяжелого труда и усиленного терпения. Объяснение свое он начал следующими словами:

— Господа! Живопись, т. е. изображение видимого, достигаемое художниками через краски, или посредством наложения красок (я говорю это в буквальном значении), есть самая труднейшая, самая разнообразнейшая и самая интереснейшая сторона искусства. Самая трудная потому, что художник в момент писания копии с видимого образа, т. е. с модели, или натурщика, как бы делит, или разбивает мысль свою и внимание на множество разновидных и разнохарактерных сторон живописи, соединяя их в то же время в одно целое, гармоничное. Так, например, в одно и то же время он следит за правильностью, или точностью рисунка (красоту рисунка, я уже сказал выше, не признаю), за верностью цвета, за точным наложением пятен и света, за передачей материала им изображаемого предмета, т. е. за матовостью кожи, если это голова или тело человека, за стекловидностью глаз, влажностью губ и глянцевидностью волос. Кроме того, он также должен наблюдать за окружающими предметами, которые непосредственно влияют на натуру, отражаясь на теневой стороне рельефных тел. Эти отражения, как вам известно, называются рефлектами... Вот, господа, какие препятствия, т. е. затруднения, встречаются художнику при изображении им видимого предмета. Словом, ни в одном из искусств не соединяется в одно время, в одни моменты столько разносторонних и разнообразных требований, как в живописи. Ввиду этого, живопись, по моему

мнению, есть самое высшее искусство после слова; да и слово, если взять его с технической стороны, оно, бесспорно, далеко ниже живописи.

Помимо всех разнообразных для художника затруднений, о которых я только что говорил, есть еще одно. Оно чуть ли не самое главное и едва ли не самое существенное, — я говорю о технике. Техника, господа, такая сторона искусства, над которой стоит остановиться и рассмотреть ее с должным вниманием... Техника так же необходима, как необходимо иметь ноги, чтобы ходить, язык, чтобы говорить, и руки, чтобы что-либо делать; без техники художник то же, что без глаз. Мысль слепого художника, допустим, вполне готова, краски — тоже, руки крепки и привычны, сил много, а зрения нет. Нет зрения, следовательно, нет ничего! Техника столько же важна для живописца, сколько необходимы гибкие пальцы и тонкий слух для музыканта вообще, а для скрипача в особенности. Техника важна настолько, что было бы желательно, если бы художник всасывал ее с молоком матери, или, по крайней мере, развивал бы ее с того времени младенчества, когда он только что начинает сознательно брать в руки игрушки. Между тем, посмотрите кругом, что делают учителя ваши, которые еще при этом носят почетное звание профессоров? Не профессорами и просветителями их нужно называть, а скорее глушителями искусства. Этого названия они вполне заслуживают. Заслуживают его уже потому, что не только ничего не сделали нового на пользу учащимся, но даже не подумали о том, что можно сделать и как нужно вести ученика, чтобы он быстро и своевременно, с развитием мысли, развивал бы и технику. Нет ничего печальнее, как видеть в художнике то, что его мысль или голова опередит руки; что является много желаний, а нет умения олицетворить эти желания, как мы, к несчастью, встречаем на каждом шагу между учащимися и почти у всех без исключения дилетантов. Происходит же все это оттого, что есть профессора, убежденные в том, что прежде всего нужно выучиться рисовать и когда пройдена школа рисования, то тогда только дозволяется приниматься ученику за изучение живописи. Это варварское убеждение практикуется, как в Академии художеств, так и в вашем училище, да и повсюду, кажется. Но я, господа, употребляю всевозможные старания, чтобы этот допотопный метод преподавания изменить на том основании, что согласиться со вредом, который, я вижу, вытекает из этого преподавания, — словом, согласиться с той бессмыслицей, которая практикуется поныне, я не могу, вполне убежденный, что живопись нужно начинать еще ранее рисунка, так как живопись несравненно сложнее, а следовательно и несравненно труднее рисунка...

Несостоятельность системы преподавания профессоров заключается еще в следующем. Я постараюсь, господа, объяснить вам это наглядным примером. Вам всем известно, что ни один художник или ученик, желающий быть художником, за редким исключением, не начинает специально заниматься искусством ранее 13, 14 или 15-летнего возраста, а в большинстве начинают еще позднее. Допустим, что ученик принялся заниматься

рисованием в среднем возрасте, т. е. с 14 лет. Чтоб пройти два оригинальных класса, я кладу два года. Итак, при переходе его в гипсово-головной класс ему 16 лет. Чтобы научиться рисовать с гипсовых голов и перейти в гипсово-фигурный класс, ученику нужно минимум два года; следовательно, при переходе его в фигурный класс ему уже 18 лет. Затем, чтобы перейти в натурный класс, ученику снова нужно самое меньшее еще два, а нередко три и четыре года. Посмотрите, господа, при вступлении ученика в натурный класс ему уже 20 или 21 год, и он только что в этот период начинает знакомиться с красками, т. е. с живописью. Для того, чтобы овладеть техникой, потребно три или четыре года, не менее, а нередко пять и более лет. Итак, когда ученик овладеет техникой, ему будет уже 24 года. Это еще исключение, так как чаще всего ученику, владеющему техникой, 25 или 26 лет. И вот в эти-то годы полной возмужалости он только что начинает получать награды, т. е. медали. До 30 лет он должен успеть получить золотую медаль, потому что после 30-летнего возраста ученик лишается права на получение ее. Наконец медаль получена. Пенсионер в 30 лет едет за границу, где снова начинает учиться, а вернее переучиваться. Проходит еще несколько долгих лет до того времени, когда начинается его художественная самодеятельная деятельность. И в те лета, когда Рубенс, Тициан и многие другие известные художники были уже знамениты, а Рафаэль даже окончил свою деятельность, написавши чуть не полтораста Мадон, наш русский художник только еще начинает свое художественное поприще. Не правда ли, господа, что это поразительно и до крайности печально! Неужели русский художник и вообще русский человек настолько бездарнее всех прочих наций? Нет, я этого не допускаю!.. Виною не раса, или нация, а также и не учащийся, а рутинное, заглохшее и покрытое плесенью преподавание. Что до меня касается, то я в последнем предположении нисколько не сомневаюсь, а потому советую всем, с полной уверенностью в успехе, начинать изучение живописи с оригинального класса; словом — с первого момента специального изучения искусства, а если возможно, то и еще раньше*.

— Итак, господа, — продолжал Сергей Константинович, — вздохнем с глубоким сожалением о потерянных вами годах, а вместе с тем приступим скорее к живописи, не теряя еще более драгоценного времени. Приступая к живописи, я скажу вам, господа, несколько необходимых слов о той односторонности, которой причастны все художники почти без исключе-

---

* Взгляд С. К. Зарянко на метод преподавания совершенно разошелся с воззрениями А. Н. Мокрицкого. Во время продолжительного спора этих двух преподавателей, в нем приняли участие даже члены совета, особенно один из них, о котором я уже упоминал раньше, — это был И. Д. Лорис-Меликов (человек совершенно незнакомый с искусством). С помощью последнего Зарянко одержал верх и с того времени в училище устроился и существует по сей день этюдный головной класс, где начинают писать красками ученики, перешедшие из оригинального в гипсово-головной класс. Класс этот называется этюдным головным, или живописным — приготовительным.

ния... В прошлый класс я говорил вам, чтобы быть вполне точным, нужно видимое рисовать и писать в натуральную величину. Большинство же художников, не сознавая этого, рисует все, ими изображаемое, в самую неточную величину, словом, надеясь на слепое счастье, или на удачу. От этого фальшь как в рисунке, так и в красках.

— Представьте себе, например, следующее. Художник сажает модель или натурщика для изучения; следовательно, для точного воспроизведения. Отойдя от посаженного натурщика на расстояние нескольких аршин, он рисует его в натуральную величину, совершенно забывая о том расстоянии, на котором находится от модели. Он предполагает, что рисует со своей модели верно, т. е. в величину естественную. Жалкая ошибка! Он рисует изображаемое увеличивая, т. е. в величину колоссальную, так как с его места модель уменьшилась на то расстояние, на котором он от нее находится. Между тем, как просто достигнуть истины!.. Чтобы рисовать математически верно, в натуральную величину, то полотно, на котором вы хотите изображать вашего натурщика или портрет, должны стоять рядом с моделью, т. е. находиться на одном плане или линии. Сами же вы можете произвольно отходить на расстояние, на которое пожелаете, и изображаемое вами, находясь рядом с натурой и имея точную меру с оригиналом, будет уменьшаться одинаково, по мере вашего удаления, а также — и увеличиваться, когда вы будете к ним приближаться. Только метод, мною высказанный, господа, вы можете признать верным, а следовательно безошибочно сравнивать оригинал с копией, которую можно таким образом довести до абсолютной точности или до обмана. Но так как этюды ваши вы пишете менее натуральной величины, то поэтому можете писать их с ваших мест. Это будет верно на том основании, что натура с места, которое вы занимаете, представляется вам в уменьшенном виде.

— Затем, господа, мне хотелось бы сказать вам еще несколько слов по поводу техники. Она доходит иногда до таких курьезов, что, бывая на выставках или в галереях и смотря на картины и портреты некоторых даже известных художников, нельзя не расхохотаться, если только не заплакать. Мне это кажется очень странным и даже смешным — не знаю как вам, — но думаю, что то же будет и с вами, когда я выясню свою мысль. Я уверен, что вы сами, если даже, допустим, не перемените вашего мнения о технике, то, по крайней мере, задумаетесь над ней. Я хочу указать вам на приемы, или технику многих художников, которые считаются хорошими, даже, если хотите, знаменитыми и которые сами себя причисляют чуть не к гениям. Я говорю о мазках кисти этих гениев, а также о неумеренном употреблении ими красок. Это неумеренное употребление красок называется виртуозностью, или бойкостью кисти — шириною письма. Мне всегда смешно, а подчас и досадно, но чаще всего невыразимо грустно смотреть на те произведения, где художник бессознательно и так наивно, так неестественно наложил куски красок, думая, что он достиг этим способом блеска, рельефа, колорита и эффекта. Жалкое заблуждение! Еще более

жалкое самообольщение!! Никогда, говорю вам с полной уверенностью, господа, ни блеска, ни рельефа, ничего остального этим способом достигнуть нельзя, а тем более — математической верности, не говоря уже об обмане, или иллюзии. Для того, чтобы достигнуть обмана, или иллюзии, нужно рабски, математически точно копировать натуру, без нелепых мазков и разных неосмысленных виртуозностей; и только так, как я вам советую, — копируя рабски точно, можно получить все вами желаемое, как-то: рельеф, блеск, эффект, колорит и сходство, словом все, что добивается каждый художник. Вглядитесь в натуру! Видите ли там какие-либо мазки кисти или комки красок? Не правда ли, ведь в натуре ничего нет подобного? В натуре все гладко и до изумительности закончено. И только точным, тщательным и обдуманным копированием вы можете достигнуть верного воспроизведения натуры.

Некоторые художники говорят, что законченности совсем не нужно, что через законченность является сухость живописи, что нужно, дескать, передать одно только впечатление натуры. Не правда! Не верьте этому! Я утверждаю, что так думать и говорить могут только те художники, которые не в состоянии, или, вернее, не умеют закончить, которые стоят на низшей ступени развития в искусстве и которые могут написать только эскиз, но не картину; могут передать намек на сходство с оригиналом и никогда не достичь поразительного сходства. То впечатление, о котором они говорят, не идет далее эскиза, а портрет или картина должна быть вполне закончена и точна с натурой. Только тогда, когда она будет абсолютно верна, в ней будет и содержание и правда. При этом повторяю вам, что никогда вы не достигнете правды и впечатления усиленными мазками, а также безобразным истреблением всевозможных красок. Но довольно об этом.

— Скажу вам теперь, господа, несколько слов о пятнах света и тени. Прежде всего нужно уяснить всем, приступающим к изучению искусства, что такое свет и что такое тень?.. Для примера и наглядности возьмем металлический шар. На этом круглом теле есть две точки, которые составляют между собой контраст, или совершенную противоположность. Первая точка, самая яркая и светлая, находящаяся на световой стороне шара, есть точка света; вторая же, противоположная ей, т. е. самая темная, есть точка тела, которая находится на противоположной стороне света. Пространство, лежащее, или находящееся между этими точками, называется полутоном, иначе средним светом, или цветом. Этот полутон постепенно ослабевает, подходя к точке света, и, наоборот, постепенно усиливается и темнеет, приближаясь к точке тени. Для того, чтобы получить полную иллюзию или рельеф шара, прежде всего художник должен определить с математическою точностью обе точки и с буквальной верностью перейти от одной точки к другой. Если эта постепенность полутона будет точно соблюдена, то изображаемый вами шар выйдет не только круглым, но и даже верно блестящим. Только этим способом вы и можете достигнуть натураль-

ности до обмана; но никогда не достигнете этого никакими мазками, или количеством белой краски, накладывая ее до смешного... Затем, меньшую, но также очень важную роль играют краски. Они не составляют сущности дела в настоящем случае — это можно доказать следующим. Напишите шар только двумя красками — белой и черной, или нарисуйте его одной тушью, или сепией, даже просто карандашом, и если постепенность полутонов от света к тени будет соблюдена, то шар, вами нарисованный, окажется круглым и до поразительности рельефным. Этот закон света и тени везде и повсюду один и тот же.

— Я должен то же самое сказать и о точке света в картинах. Все художники, хотя и бессознательно, но покоряются этому закону, чувствуют его, и, к сожалению, только не умеют объяснить понимаемое ими инстинктом. Та точка света в картине, о которой я говорю, называется на языке художников пятном. Нет ни одной картины (конечно, я подразумеваю более или менее хорошие), в которой не было бы расчета на пятно света, а следовательно и на пятно тени, т. е. на две точки и полутон. Пятно света играет в картинах первенствующую роль и когда от точки света, или пятна соблюдена постепенность к точке тени, т. е. гармония тонов, то картина получает силу, блеск, целое гармоничное и представляет тот рельеф и то впечатление, которых старался достигнуть художник и которые он видит в натуре. Голова человеческая, как бы эмблема всего мироздания, или первообраз, есть тоже подобие шара; она также имеет точку света и точку тени. Художник, изображая портрет или голову человека, должен прежде всего с математической верностью отыскать эти точки, а затем буквально верно скопировать полутон от одной точки до другой, и, если это будет соблюдено, то он и достигнет желаемого. Я должен вам еще прибавить, господа, что голова человеческая есть самый наитруднейший предмет для изображения, — это задача в искусстве. Тело человека и все остальное, существующее на земле, все видимое нами, никогда не может быть сравниваемо с головой по трудности исполнения. Но, несмотря на эту трудность, я могу вам с полной уверенностью сказать, что самый неопытный из учеников под моим ведением или указанием может написать голову или портрет настолько хорошо, что он наверное получит за него без всякого затруднения награду, т. е. медаль. Это вы можете проверить, господа, на опыте. Кто из вас желает, тот может начать писать под моим наблюдением. Вы скоро увидите результаты моих практических указаний.

— В заключение, господа, чтобы вполне выяснить мой взгляд на искусство, я скажу вам два слова об анатомии и композиции. Что касается преподавания анатомии, то преподавание этой науки стоит еще далеко ниже, чем преподавание перспективы, уже только потому, что преподают ее люди, совершенно не знакомые с искусством. Преподают ее, как вам известно, преимущественно доктора, далеко менее сведущие в живописи, чем архитекторы, преподающие перспективу. Как те, так и другие совсем не понимают того, что нужно для живописца. Доказательством этому

служит то, что как архитектор не умеет сделать точной перспективы, о чем было говорено мною, так и доктор, преподающий анатомию, сам не умеет ни начертить, ни вылепить ни одного мускула, ни одной части тела человеческого, а потому, не сознавая сам, что нужно знать для того, чтобы правильно рисовать или лепить человека, он не может также знать и того, что нужно ученику, изучающему искусство, а не анатомию для анатомии. Вследствие этого незнания они и читают по нескольку лет: один — о перспективе, которая неприменима для художника, а другой — о внутренностях человека, об устройстве горла, печени и легкого. Но это бы еще не беда, знать ученику многое — не лишнее. Но вот в чем несчастье: они заставляют бедных учеников выучивать названия не только костей, но даже и хрящей. В результате выходит то, что ученик, знающий хорошо анатомию, по мнению преподающих, и даже запомнивший названия всех носовых, ушных косточек, не умеет нарисовать в оболочке кожи ни уха, ни носа, потому что этого не умеет сделать и его учитель. Я не понимаю, господа, как можно учить тому, чего сам не только не знаешь, но даже и не понимаешь! Анатомия, по моему мнению, есть сама натура. Если вы верно скопируете натуру, то и анатомия будет верна: все мускулы и связки на местах, а также расположение и сокращение мускулов будет верно.

— Каждый анатом, я вполне уверен, знает устройство головы, а тем более положение лицевых мускулов, лучше меня; но ни один из них не напишет или не нарисует портрета не только точного, но даже мало-мальски похожего. Из этого вы видите, что анатомия при писании портрета не причем: или наоборот — она совершенно не применима практически к тому делу, для которого изучается. Я нахожу слушание этой науки бесполезной тратой времени. Впрочем, примените анатомию и перспективу к живописи, и я тогда первый скажу, что обе эти науки необходимы для усовершенствования в искусстве.

— Могу тоже сказать и о композиции или, так называемом сочинении. Есть целая теория, к счастью, кажется, изустная, где объясняются рутинные законы сочинения, как-то: контрасты, или игра линий, разнообразие поворотов и движений, пирамидальность общего сочинения, баланс или поддержка композиции и весь этот набор слов, возведенный в систему, имеет также место в преподавании. Что до меня касается, господа, то я не признаю этой классической чепухи и думаю, что каждый художник должен изображать видимое так, как оно ему представляется в натуре. Я допускаю, что можно писать историческую, даже библейскую картину, но писать ее должно, а также и компоновать не иначе, как с видимого образа, т. е. с натурщика, которого нужно подыскать и уставить так, чтобы он вполне удовлетворял требованиям художника, изображающего историческое или библейское лицо. Написав задуманное лицо, художник может прибавлять к нему последующие фигуры, смотря по надобности, до бесконечного, словом, насколько допустит величина полотна и фантазия. Но нельзя предугадать, господа, что потребует ваша будущая картина, так

точно, как нельзя знать, что будешь говорить, или делать, не только на следующей неделе, но даже на другой день. Будущее можно только предполагать, а если нельзя знать наверное, как будет развиваться в последующем фантазия в картине, то, следовательно, нельзя заранее компоновать или сочинять. В этом случае нужно положиться на будущее и вырабатывать постепенно последующее из предыдущего. Если художник свободен в творчестве и в фантазии (я подразумеваю то и другое в написании видимых образов), то как же он может связывать себя эскизом, а тем более рутинными законами композиции пирамидального сочинения! В натуре композиции не существует. Никто не ложится спать, не садится отдыхать и не ходит для моциона с расчетом на сочинение или на картинную позу. Только, как говорят, древние греки и римские гладиаторы, умирая на арене — принимали картинные, т. е. красивые или, иначе сказать, рутинные позы, да и то еще подлежит сомнению. Все же совершаемое в наше время происходит и делается случайно, в силу тех же случайных условий. Итак, чтобы быть последовательным, нужно компоновать из случайного, по мере написания картины. К тому же, господа, я должен сказать вам о той несостоятельности, или о том недоступном в искусстве, которое берется изображать иногда художник, вполне не осмыслив того, что он делает. Я говорю о действии или течении времени. В прошлой беседе с вами, господа, я сказал, что живописи доступно все видимое в мире. Теперь же я должен добавить, что хотя все доступно для живописи, но не все возможно так точно, как человеку доступно рассматривать луну, — доступно даже видеть в телескоп все ее неровности, но невозможно их ощупать. Художник может написать луну, даже может передать ее блеск и цвет, но не может написать луну так, чтобы она имела движение, т. е. перемещалась с одного пункта на другой. Следовательно, живописи доступно все видимое, но только неподвижное; если же она и изображает что-либо движущееся, то может это движение изображать только в один момент. Другими словами: живописи доступны явления моментальные, но она никак не может и никогда не должна изображать времени и действия, а также и момента, нераздельного с этим действием. Например, живописи доступно написать статую, когда она стоит на пьедестале или на чем-либо ином, а также и упавшую статую, когда она лежит на полу или на земле; но живопись не может изображать действия, т. е. ее падения и изобразить статую в этот момент — она будет все-таки не падающей, а как бы висящей в воздухе. Нет ничего нелепее, как видеть изображенные художником падающие тела, впрочем не падающие, а, так сказать, остановившиеся в воздухе или в бесформенном пространстве. Эти изображения не только невозможны, неправдоподобны, нелепы, но даже не эстетичны. Вы можете проверить мои слова, смотря на картину К. Брюллова „Последний день Помпеи“, где изображены падающие статуи. Что может быть нелепее этих падающих статуй, а также и знаменитой статуи Лаокоона с разинутым до неестественности ртом? И всего смешнее то, что древний художник, произ-

водя ее, вероятно, хотел вместе с тем произвести и впечатление ужаса от крика и страдания человека, опутанного змеями, а достиг только полнейшей неестественности и даже отвращения.

— Господа! Разве может быть крик без звука? Гром без колебания? Падение без движения? Плач без слез?.. Невозможно изображать текущие слезы, падающие звезды, бегущего или поющего человека, летящую стрелу и т. д. и т. д. Все это недоступно для живописи, потому что все это — действие во времени. Я уже сказал и еще раз повторяю, что живописи доступно изображать все, но только одним моментом. Художник, сознавая, что возможно и что невозможно, не должен изображать недоступного, т. е. невозможного. Как вы ни старайтесь нарисовать мне мельницу с вертящимися, или движущимися ее крыльями, — а также маятник, перемещающийся направо и налево, вы никогда не достигнете не только точной передачи движения, но даже и не передадите мне впечатления, получаемого от этого движения, потому что это вне законов искусства. И сколько бы вы не употребляли старания, изображая движение мельничных крыльев и маятника, они все-таки будут делать впечатление неподвижности. Из этого следует, что мельницу и маятник изобразить можно, но движения их нельзя.

— Знаменитый художник Каульбах хотел ухитриться достичь движения следующим образом. Желая изобразить лисицу, вертящую хвостом, он нарисовал ей два хвоста: один направо, другой налево, как бы желая показать этим быстроту движения хвоста, перемещающегося с одного места на другое, и что же вышло в результате? Все, видевшие его произведение, были крайне удивлены тем, что есть порода лисиц с двумя хвостами, о которой они и не слыхивали. Очень немногие догадались, с какой целью нарисованы были два хвоста... Другой французский художник, также желая изобразить вертящееся колесо, нарисовал в нем бесчисленное множество колесных спиц с намерением произвести впечатление движения, а в результате получил только то, что некоторые, и то очень немногие, догадались о его намерении.

— Скажу вам раз навсегда. Крик, смех, стон, страдания, а также и все движения, познающиеся из звуков действия и времени, — явления, недоступные для живописи. Их никогда нельзя довести не только до иллюзии и до обмана, но даже до впечатления, получаемого от них в натуре. По произведениям с этих явлений я могу только догадываться, что думал сделать художник и до чего он не додумался. А именно: он не додумался до того, что изображать эти явления так же нельзя, как нельзя заставить говорить, а тем более думать или мыслить портрет, как бы он ни был точно изображен, даже если бы доведен был до абсолютного обмана с оригиналом.

— На сей раз довольно, господа. Повторяю вам только еще раз, кто желает писать под моим наблюдением, помимо классных этюдов, того прошу без стеснения обращаться ко мне. Объявите это также и всем вашим товарищам по своим классам.

Проговорив это, Сергей Константинович вышел из класса, видимо утомленный своею длинной речью. Вследствие последних слов, сказанных в классе г. Зарянко, многие ученики обратились к нему и принялись писать по его указанию или, вернее, по приказанию. Надо сказать правду, хотя далеко не быстро, но они достигали тех результатов, которые обещал Сергей Константинович. Результаты эти заключались в том, что ученики, писавшие под руководством Зарянко, все получили в Академии художеств медали. Очень многие были поражены тем, что ученик, почти неумеющий держать в руках кисти, ну, словом, только что начинающий, по указаниям Зарянко, писал голову настолько хорошо, что получал за нее медаль. Правда для того, чтобы написать эту голову, требовалось шесть, девять, а иногда и двенадцать месяцев, но как бы то ни было, а голова все-таки выходила хорошо настолько, что заставляла удивляться многих, как мог написать это ученик, только что принимающийся за краски. Но вот в чем была беда и что случалось всего чаще. Ученик, получивший медаль за свое произведение, когда принимался за писание второй головы, то начинал ее так же плохо и так же неумело, как и в первый раз, и годовое копирование одной и той же модели приводило к тому, что ученик почти что ничему не научался. То же самое было и с рисунками. Ставили, например, группу. Рисовали, тушевали, или вернее, точили ее по нескольку недель, а иногда и месяцев; вытачивали этот несчастный рисунок до того подробно и гладко, что на нем с трудом бы могла удержаться кованая муха, — ну, словом, затачивали его не карандашом, а „комариным жалом, или носом“, по выражению остряков. Посылали затем таковой рисунок в Петербург, в Академию, где его нередко хвалили и награждали серебряной медалью. В результате же было то, что ученик, удостоенный медали, не только не умел более или менее правильно нарисовать всей фигуры человека или головы его, но даже — носа и глаза. Вообще, все время преподавания Сергея Константиновича отличалось математическою точностью, изумительною выпиской, крайней сухостью, странностью и своеобразностью взгляда, как на живопись, так и вообще на искусство, а тем более на развитие учеников. Впрочем, иначе этого не могло и быть, судя по рассказанному. Чтобы еще понятнее была моя характеристика г. Зарянко, я расскажу несколько эпизодов из системы его преподавания. Прежде всего познакомлю читателя с некоторыми из его учеников. Нахожу неудобным называть их фамилии, так как многие из них продолжают свою художественную деятельность, хотя о ней, как и о самих художниках, почти что никто и никогда не слыхал. Начнем с ученика В-ич. Он был молодой человек, блондин, не дурен собой, очень благовоспитан и скромен.

В одно прекрасное утро ученик В-ич явился к Зарянко и изъявил ему свое искреннее желание писать под его ведением. Нужно сказать, что ученик В-ич был уже в натурном классе, довольно опытный, как в красках, так и вообще в живописи. Это видно уже из того, что он несколько лет сряду собирался писать картину и для нее сочинял эскиз. Картина его

должна была носить следующее название, которое ему очень нравилось более, чем содержание самой картины. Название это было „Рассказ солдата, или два мужика“. Почему уж это название так особенно нравилось ученику В-ич, право не могу ответить.

Захватив свой эскиз, он явился к Зарянко, прося последнего о позволении писать под его руководством. Зарянко, посмотрев на эскиз, прежде всего велел его бросить, а затем посоветовал под его указанием написать портрет. Ученик В-ич отыскал модель — мальчика — и начал с него писать под диктовку Сергея Константиновича. Сколько времени В-ич писал портрет — не скажу, наверно помню только, что очень и очень долго. Наконец, портрет был готов, и нужно сказать правду, он вышел очень удачный. В нем много было свежести, рельефа, нежности письма и приятного тона. В-ич отправил свое произведение в Академию, где за него дали малую серебряную медаль. Это был, кажется, первый из учеников Сергея Константиновича, получивший медаль. Когда прошли восторги радости, нужно было приниматься за последующую работу.

В утренний час, когда обыкновенно принимал Сергей Константинович, раз явился к нему ученик В-ич. Раскланявшись с Сергеем Константиновичем, он просил указать, что ему делать и что начать писать, чтобы получить вторую по счету, т. е. большую серебряную медаль. Сергей Константинович пригласил сесть В-ича, который и уселся чуть не на самый угол стула, скромно сложив ручки и устремив вопросительный взгляд на своего профессора. Зарянко же задумался: подумав минут десять и устремив тусклый свой взгляд на ученика, он отвечал:

— Ну что же, г. В-ич! Вы получили малую серебряную медаль, теперь вам нужно написать картину, за которую бы должны вам дать большую серебряную медаль. А что вам писать, я сейчас скажу.

Зарянко опять задумался, а ученик сидел молча, не шевелясь и дожидаясь объяснения. Так продолжалось минут 15 или 20 общего молчания. Зарянко все тяжело дышал и думал. Наконец, обратившись к ученику, сказал:

— Г. В-ич! Потрудитесь сходить в богадельню. Выберите там попригляднее старика и приведите его завтра в 9 часов утра наверх в классы. Вместе с тем приготовьте полотно величиною... — Сергей Константинович снова задумался. Подумав еще минут 15, он продолжал:

— Величина полотна должна быть следующая: длина 2 аршина 4 вершка, а ширина 1 аршин 12 вершков. Приготовьте все, мною сказанное, завтра к 9 часам; в этот час я приду к вам наверх. Прощайте!

Ученик раскланялся и ушел исполнять приказания учителя.

На другой день полотно назначенной величины было готово, а также и старик, которого ученик В-ич привел, или, вернее, притащил из богадельни. Ровно в 9 часов явился Сергей Константинович в класс, а оттуда прошел в мастерскую, т. е. в отдельную комнату, где работал В-ич. Осмотрев все приготовленное учеником, как то: старика и полотно, натянутое на подрамок, он похвалил все. Затем, усевшись на табуретку, С[ергей] К[он-

стантинович] задумался, глядя на старика, которого посадил перед собой также на табуретку. Долго думал Зарянко, не спуская глаз со старика, и в то же время по временам сильно кашлял. Наконец, надумавшись, он велел старику поднять голову и глядеть кверху, повернув притом лицо к свету. Осмотрев еще раз старика, С[ергей] К[онстантинович] остался им и данной ему позой вполне доволен и велел ученику так, как старик есть, не изменяя положения, с него списывать, придерживаясь при этом математической точности.

— Это будет ваша будущая картина, г. В-ич! — сказал как-то таинственно Зарянко, уходя из мастерской.

В-ич немедленно принялся за работу и принялся следующим образом, помня советы учителя. Прежде всего он поставил полотно рядом со стариком-натурщиком; затем определил место, с которого будет сравнивать оригинал с копией. На это место он поставил табуретку и все очертил мелом, как то: старика, мольберт, на котором стояло полотно, и то место, или точку, с которой намеревался сравнивать свое произведение с натурой. Затем вынул деревянный, своего изделия, циркуль; деревянный потому, что железным, как острым орудием, по нечаянности, можно уколоть лицо, а чего доброго и выколоть глаз натурщику. Во избежание этого, В-ич придумал сделать циркуль деревянный, и вот, вымеряя им нос, рот, лоб, уши, даже толщину век и бровей, наконец длину ресниц и толщину ноздрей, он эти точные величины переносил на полотно, назначая их точками. Когда все было примерено и измерено, то по назначенным точкам и началось рисование. После каждой черты, проведенной величиною в вершок, В-ич отходил на точку или на место сравнения и там, усевшись на табуретку, сравнивал проведенную линию с натурой. Затем опять подходил к полотну и продолжал рисование носа или глаза и т. д. и т. д. Рисование продолжалось очень долго: В-ич не спешил; он делал все медленно, но зато — основательно и верно.

По прошествии немалого числа дней В-ич пригласил С[ергея] К[онстантиновича] посмотреть — точно ли им определены границы видимого образа. Зарянко пришел, сел на табуретку, с трудом отдышавшись, затем принялся, прищуривая один глаз, измерять величины как натурщика, так и контуры означенной величины на полотне. Измерение это он делал посредством вытянутой руки, в которой держал стилет от кисти. Измерив все и сделав кое-какие замечания, он разрешил ученику приниматься за краски. Ученик взялся за них немедленно же по уходе С[ергея] К[онстантиновича].

Способ писания красками был такой: бралось ничтожное количество белой, желтой и красной краски; все это смешивалось, т. е. составлялся, так сказать, тельный фон, который клался на лоб, нос, щеки и немедленно разбивался флейцом. За первым тоном составлялся следующий тон: сероватый, зеленоватый, лиловатый, или какой-либо другой, смотря по надобности. Он также накладывался, как и первый, и также разбивался флей-

цом. За вторым следовал третий и т. д. и т. д. Это постепенное накладывание — тон за тоном, цвет за цветом, конечно, большею частью по указаниям Зарянко, завершалось тем, что голова выходила настолько удовлетворительно, что за нее давали медаль. Ученик В-ич тем же способом начал свое писание, и месяца через четыре С[ергей] К[онстантинович] посоветовал ему оставить голову и продолжать писать дальше, как то: полушубок и руки.

Прошло еще несколько месяцев, пока были написаны руки и полушубок. Во все это время к В-ич постоянно заходили ученики-товарищи и спрашивали его: что он такое пишет? Какой это сюжет и что за картина будет?

— А черт его знает! — отвечал, обыкновенно, В-ич. — Ей-богу, господа, я и сам не знаю! Все собираюсь как-нибудь спросить у Сергея Константиновича, да как-то точно неловко.

— Спроси, В-ич! — приставали к нему товарищи. — Пожалуйста, спроси! Ведь это интересно знать, что у тебя такое выйдет?

В-ич решился при первой же возможности спросить у Зарянко, какой сюжет он пишет, но это намерение опять затянулось. Копия же с видимого образа подвинулась настолько, что старик был вполне изображен в полушубке, пестрых штанах, которые, впрочем, видны были только на коленях; оконечностей ног не было.

В одно из посещений С[ергея] К[онстантиновича], к немалому удивлению ученика, учитель велел старику снять полушубок, а также и рубашку, и когда старик остался голым до пояса, то Зарянко велел ученику в таком виде написать тело по полушубку.

Я считаю необходимым сделать тут следующую оговорку. Это необходимо потому, что мой рассказ принимает характер такой невероятности и неправдоподобности, что многие могут счесть его за вымысел. На этот-то случай я и желаю оградить себя и уверить читателя в том, что в моей хронике училища вымысла совсем нет. Все, мною описываемое, есть положительная истина. Конечно, я не мог запомнить каждого слова, сказанного нашими учителями — это понятно всякому; но я передаю факты действительные, существовавшие, которые могут быть подтверждены художниками, ныне живущими и всем известными.

Возвратимся к рассказу.

Ученик В-ич был немало удивлен приказанием Сергея Константиновича написать голыми руки и весь торс старика по полушубку. Но делать нечего, пришлось покориться и начать писать старика по указанию Зарянко. Когда старик был почти написан, то все ученики до того пристали к В-ичу, прося его объяснить, что такое он делает, что последний, выведенный из терпения, решился наконец спросить немедленно Зарянко. Дождавшись первого посещения Сергея Константиновича, когда Зарянко выходил из его мастерской, В-ич скромно, скромно, сконфуженно подошел к нему и спросил робко, такими словами:

— Сергей Константинович! Сделайте милость, скажите пожалуйста, что я такое пишу и что это будет: картина ли какая или что другое? Мне очень любопытно самому знать, да к тому же все товарищи пристают, не дают мне покоя, спрашивая меня, что я пишу. Я же им ничего не могу сказать положительного, так как и сам не знаю, что это такое у меня будет.

Пока говорил все это В-ич сконфуженно, потирая руки, как бы отогревая их, С[ергей] К[онстантинович] стоял с опущенной головой, а также и глазами, и когда ученик кончил, ожидая ответа, то Зарянко поднял голову и похлопал его по плечу.

— Г. В-ич! Я не думал, чтобы вы были так любопытны. Это нехорошо! Это не качество терпеливого и твердого мужчины, а скорее качество, присущее женскому полу. Я вам советую воздержаться от этой наклонности и не любопытствовать, а продолжать писать по моему указанию начатую вами картину. Время же в свою очередь покажет, что выйдет из вашего труда и терпения. Теперь же прощайте!

Проговорив это, Зарянко вышел из мастерской, а В-ич остался сконфуженный, неудовлетворенный, и должен был, находясь в той же неизвестности, продолжать начатое.

Так прошло еще несколько месяцев. Наконец старик был написан и имел такой вид: голова его была поднята кверху, с глазами смотрящими на небеса; руки опущены вниз, с повернутыми вверх ладонями, как бы просящими милостыню; торс весь голый, а на ногах полосатые штаны. Но несмотря на продолжительное время, несмотря и на то, что все уже, мною упомянутое, было совершенно окончено, В-ич все еще не знал, что он пишет: картину, или этюд, или что другое? Хотя Зарянко и сказал ему: „Это ваша будущая картина“, но как он сам, так и все товарищи не могли понять: каким образом из написанного можно сделать картину? Наконец, Зарянко разрешил вопрос.

Было это так. Пришедши раз в мастерскую, Зарянко, усевшись по обыкновению на табуретку, или на точку для сравнения натуры с копией, после наипродолжительнейшего молчания, обратившись к В-ич, сказал:

— Г. В-ич! Теперь прошу вас сходить в город, т. е. „в ряды“, и купить серого кашемиру или тонкой фланели так аршина два не более. Это для драпировки к нашей картине. К тому же настало время сказать вам, что вы пишете и что будет за картина, вами изображаемая, а вместе с тем пора удовлетворить и вашему любопытству, от которого вы, как я вижу, совсем сгораете. Г. В-ич! Вы пишете библейскую картину.

В-ич вытаращил глаза, смотря на учителя и выразив неподдельное изумление. Сергей Константинович продолжал:

— Картина ваша, г.В-ич, будет изображать сюжет библейский.

Говоря это, Зарянко как-то милостиво или снисходительно улыбаясь в упор смотрел на ученика.

— Сюжет, вами написанный, представляет „Плач Иеремии на разва-

линах Иерусалима". Ну, что вы на это скажите? Надеюсь, что вы довольны этим сюжетом? — добавил Зарянко.

В-ич радостно улыбался и искренне, от всего сердца благодарил С[ергея] К[онстантиновича] как за сюжет, так и за то, что, наконец, он узнал, что пишет. После этого В-ич начал всем рассказывать с восторгом о своей картине — даже тем, которые его не спрашивали. Это дошло до того, что он встретившись с кем бы то ни было из своих товарищей — было ли то в классе или на улице, — останавливал его и восторженно говорил:

— Ты, братец, знаешь, — я пишу не только историческую, но даже библейскую картину?!.

— Что?! — восклицал встретившийся товарищ. — Пишешь историческую картину! Когда? Где?

— Как где? — отвечал В-ич. — В классе... в училище... Старик-то мой, которого я написал, будет библейской картиной. Он будет изображать плач, братец, Иеремии, да еще на развалинах Иерусалима.

Так ученик В-ич объявлял всем о той новости, которая многим была интересна, но самого его интересовала, конечно, более всех.

Прошло еще несколько месяцев. Картина была совсем окончена, т.е. к старику, посреди полотна сидящему, была приписана серая кашемировая драпировка до того новая, что на ней ясно были видны магазинные складки. Под стариком явился большой камень и еще несколько таковых же по бокам. Вся фигура Иеремии, с комнатным освещением, рисовалась на голубом безоблачном небе; из-за горизонта поднимался трубой дым. Вот, кажется, и все. Картина была окончена, затем отослана в Академию художеств, где за таковое произведение совет академический присудил В-ич, как за вещь вполне достойную, большую серебряную медаль, т.е. звание классного художника.

Чтобы яснее дать понятие о продолжительности писания вышеупомянутой картины, я должен сказать, что В-ич писал свою картину в комнате, пол которой был выкрашен черной краской. От усердного и продолжительного хождения от картины к пункту сравнения, или к табуретке, пол на этом месте был так вытерт, что черной краски, покрывавшей когда-то его, к окончанию картины не было и следа, а вместо черной образовалась светлая, и как бы покрытая лаком, дорожка. Вот какие результаты получились от неусыпного труда и терпеливого изучения искусства!

Второй ученик Сергея Константиновича, г. С., был уже не первой молодости — лет с лишком 30-ти, с большими усами, высокого роста, с хорошими средствами и дворянской фамилией. Он начал писать, под ведением Зарянко, картину, которая так же, как и у В-ич, сначала не имела определенной цели и определенного сюжета. На первых порах, посреди большого полотна, более чем в 2 аршина, была изображена девица, лет 15-ти, в белом кисейном платье, стоящая совершенно en face к зрителю. Аксессуар изображал лес. Когда картина была почти окончена, то Сергей Константинович нашел, что на ней очень много пустого места, т.е. аксессуара

а потому предложил г. С. что-нибудь прибавить, или прикомпоновать. Через несколько дней внизу, у колен девицы (оконечностей ног не было), явился мальчик-цыган. Сидел ли он, или лежал — догадаться было невозможно, так как половина его совсем уходила за раму таким образом, что из-за рамы виднелась протянутая рука, торс без заду и нога без следка; зад же и следок потонули в раме. Девица, которой, впрочем, переписали руку, приняла позу подающей вновь появившемуся цыганенку какую-то монету, словом, милостыню. Как была скомпонована эта картина и что она собой являла при взгляде на нее, описание мое не даст об этом никакого понятия: ее нужно было видеть, чтобы вполне представить себе это необыкновенное произведение. Это было что-то необычайное, небывалое в искусстве.

Когда мальчик был так же готов, как и девица, т.е. выписан до невозможного, то Сергей Константинович нашел, что быть в лесу мальчику и девочке без старших — неприлично, предосудительно, а потому посоветовал ученику С. с одной стороны картины приписать грот, а в этот грот посадить вяжущую чулок почтенную старушку. Эта вновь явившаяся старушка, в белом чепчике, с редикюлем на руке, сидела в гроте, но освещена была сверху; она предназначалась быть гувернанткой, или няней, провожающей девицу на прогулку. Но чтобы мальчика также не сочли за бродягу, тем более за негодяя, шатающегося по лесу, то Сергей Константинович посоветовал с другой стороны картины, на пеньке, посадить старичка с палкой, в круглой шляпе, в пальто и опорках, что и было исполнено. Этот состоящий из одних морщин старичок изображал пестуна, или провожатого мальчика и имел не только жалкий, но и несчастный вид. Оградив таким образом детей от какого-либо дурного предположения со стороны зрителя, Сергей Константинович и ученик г. С. остались очень довольны, как тем, что было изображено на картине, так и тем, что нравственный принцип скромности вполне соблюден и огражден от всяких дурных предположений...

Такие-то картины писали ученики Сергея Константиновича и получали за них почетные награды, т.е. медали. К сожалению, я не помню — получил ли что-либо ученик С. за свою нравственную картину. Чтобы не надоесть читателю, я не буду более рассказывать о написании картин учениками: К., Г., В. и т.д., хотя написание картин последними не менее интересно рассказанного. Но довольно и тех двух примеров, о которых я упомянул: они, кажется, вполне выясняют взгляд Сергея Константиновича на преподавание живописи и композиции, а также и на понятие его о нравственности; вместе с тем весьма ясно рисуют и степень развития его учеников.

Вот в каком виде немало времени шло преподавание искусства в Училище живописи и дошло, наконец, до открытой борьбы С.К. Зарянко с А.Н. Мокрицким. В этой борьбе принял горячее участие и Н.А. Рамазанов, о чем будет рассказано впоследствии.

С. К. ЗАРЯНКО КАК ЧЕЛОВЕК И ВОИНСТВУЮЩИЕ УЧЕНИКИ

В предыдущих главах я достаточно выяснил взгляд С.К. Зарянко на искусство, его метод преподавания и также его отношение к ученикам. Но моя хроника была бы неполна, если бы я не коснулся Зарянко как человека, как семьянина; если бы не упомянул я о его взгляде на честность, дружбу и товарищество; словом, если бы я не коснулся его частной жизни, так сказать, его житейской мудрости. С этой стороны он является таким же самостоятельным, таким же оригиналом, как и в искусстве.

Сергей Константинович вообще был исключительный, самобытный и далеко не дюжинный человек. Быть может, много способствовала сложившемуся его характеру болезнь: pneumonia chronica, попросту — чахотка, от которой он страдал чуть ли не 25 лет.

Во все это время болезни кто и кто только и чем его не лечил, начиная от знаменитых докторов и кончая самыми незнаменитыми! Но этого мало: лечили его также знахари и знахарки всевозможными кореньями и травами; затем пареным овсом, козьим молоком, так что С[ергей] [Константинович] одно время держал козу, молоком которой лечился; даже редичным соком, соединяя его со свекольным и с морковным; но все ни к чему: болезнь шла своим чередом, хотя медленно, но неудержимо. Кажется, последний опыт лечения был произведен одним оригинальным доктором, бывшим сапожником. Этот сапожник вдруг почему-то присбрел в Москве громкое имя — великого мастера вылечивать всякую чахотку. Фамилия его была Корженевский. И вот он-то принялся лечить С[ергея] К[онстантиновича], вполне уверив его, что через полгода, а много через год больной будет совершенно здоров. Лечение состояло в том, что Зарянко должен был носить на голом теле корсет, состоящий весь из железных, тонких пластинок; кроме того особого рода сапоги, с громадными каблуками почти что посредине подошвы. Вдобавок С[ергей] К[онстантинович] обязывался целые дни сидеть, ковыряя нос, затем, чтоб по возможности больше расширить ноздри и стараться дышать только через них, а не ртом. Больной, хотя с трудом, но покорился всему и кажется несколько дней или недель буквально исполнял приказания доктора; но затем, несмотря на всю свою примерную терпеливость, он не мог выдержать всей пытки до конца и бросил оригинальное лечение.

Вероятно, по причине всевозможных мук от докторов, а также своего физического страдания, Зарянко был всегда серьезный, молчаливый, сосредоточенный, воздержанный до крайних пределов, вечно что-то обдумывающий, живущий в себе, в своих мыслях. Живя в себе, он и выработал тот, хотя честный, но своеобразный взгляд как на искусство, так и на жизнь.

Сергей Константинович, как я уже говорил, был некрасив и даже несим-

патичен по внешности. Нередко не в меру раздражительный, но чаще терпеливый и снисходительный, смотря по состоянию своих сил, а следовательно, и духа, высокорелигиозный, чрезвычайно добрый, честный до щепетильности, он требовал этих качеств и от других.

Имея большое семейство и очень небольшие средства, Зарянко, несмотря на это, воспитывал еще своих сестер и братьев, вдобавок содержал несколько беднейших учеников Училища, которые у него жили, конечно, ничего не платя. Хотя С[ергей] К[онстантинович] брал за портреты довольно высокие цены по тому времени, но заказов у него было очень мало; к тому же он писал портреты почти по году, словом, для написания портрета ему нужно было до шестидесяти сеансов. Правда, сеансы эти продолжались иногда только четверть часа, но все-таки их бывало шестьдесят. Следовательно, если б он даже имел много заказов, то по медленности работы не мог бы много приобретать, а так как заказов было мало, поэтому нет ничего удивительного, что он постоянно нуждался в деньгах.

С учениками С[ергей] К[онстантинович] был всегда вежлив и ласков, всем говорил „вы“ и „господин“ такой-то. Ученики его любили, уважали и не боялись так, как Скотти; но в то же время как-то странно любили, можно сказать любили скрытно, издалека; они всегда боялись чем-либо его обеспокоить и даже не ходили за советами без крайней к тому необходимости. Зарянко был между ними добрым, честным и любящим начальником, но не любящим отцом, как, например, был генерал Самсонов. Таков он был в классах, таков он был и в семье. Чтобы яснее показать оригинальность взгляда и отношений С[ергея] К[онстантиновича] к ученикам, расскажу два эпизода о нем из времени его пребывания в Училище, которые вполне выяснят и закончат характеристику этого самобытного, даже замечательного человека.

Начнем с того, что С[ергей] К[онстантинович] терпеть не мог лжи, сплетен, наушничества и доносов. Это все знали, но, несмотря на то, находились некоторые ученики, желающие подслужиться инспектору-профессору ябедами на своих товарищей. Из числа таких был некто ученик Пятаков. Этот ученик явился раз в квартиру Зарянко с жалобами на своего товарища, который его чем-то обидел. С[ергей] К[онстантинович] любезно принял Пятакова, посадил и сам уселся против него, после чего пригласил пришедшего рассказать свое дело.

Пятаков начал самым красноречивым языком излагать обиду, полученную им от товарища; затем, увлекшись, обрисовал всю его порочность и дошел даже до того, что обвинял своего товарища в воровстве и еще в чем-то.

Зарянко терпеливо слушал, смотрел вниз на ноги ученика и тяжело дышал. Когда же Пятаков кончил, то Зарянко, не глядя на него, сипло, как бы с трудом выговаривая слова, сказал:

— Ну-с, г.Пятаков! А что вы можете мне сказать о других ваших товарищах! Вероятно, и из остальных много людей не очень хороших? Расска жите мне откровенно все, что вы знаете о них.

Пятаков, поощренный профессором, пустился рассказывать о своих товарищах, причем много привирал. Он рассказывал и выставлял их в самом непривлекательном виде; в конце же стал копировать некоторых, представляя, как они передразнивают своих преподавателей, в том числе и самого Сергея Константиновича.

Последний все время сидел, не шевелясь, и слушал. Когда ученик выложил перед ним все, что знал и что могла экспромтом изобрести его фантазия, и замолкнул, глядя на Зарянко, С[ергей] К[онстантинович] медленно поднял голову, устремив неподвижный взгляд своих белых глаз на Пятакова и так и остался на несколько минут, причем только грудь его подымалась высоко. Он тяжело дышал. Пятаков начал чувствовать себя неловко под выразительным, упорно устремленным взглядом. Наконец, как бы с трудом прервав молчание, Зарянко резко заговорил:

— Г. Пятаков! — говоря это, он не переставал смотреть в глаза ученику. — Я должен поблагодарить вас за те сведения, которые вы мне доставили, а так же и за откровенность. Это обязывает меня сказать вам также откровенно, что вы подлец и подлец высокой пробы!

Сказав это, он замолчал, смотря в глаза ученику, который был до крайности поражен неожиданным поворотом дела и находился в самом щекотливом положении. Но Зарянко этим не кончил; спустя минуту, он продолжал.

— Да, г.Пятаков! Вы настоящий подлец!!! И знаете ли еще что? Мало того, что вы подлец, вы к тому же пошлый дурак! Быть может, вам небезынтересно будет узнать, почему вы подлец и дурак!? Извольте! Я вам объясню. Подлец вы потому, что приходите жаловаться и еще клеветать на своих товврищей. И этого мало! Вы рассказываете их тайны, старается представить их в самом дурном виде, чтоб выслужиться у меня. К тому же рассказанное вами есть ложь от начала до конца, в чем я вполне уверен. А такие люди, которые занимаются распространением клеветы или делают доносы на своих товарищей, даже доносы правдивые, то эти люди всегда и везде считаются подлецами!.. Дурак же вы потому, что вы не понимаете того, что делаете. Вы приходите ко мне, почти старику, человеку больному, стоящему одной ногой в гробу, доносите, клевещите на ваших сверстников и товарищей. Если б вы подумали о том, как это глупо, пошло, а тем более и непрактично, то вы наверное не пришли бы ко мне. Но для того, чтоб понять это, нужно быть более или менее умным, а вы, как я уже вам сказал, круглый дурак. Поэтому-то вы и не сообразили того: с кем вам придется жить — со мной или с вашими сверстниками? Я, быть может, через неделю умру, но, отуманенный вашими доносами, успею еще наделать много, много зла вашим товарищам, повыгнав их из заведения. Затем меня нет, а вы останетесь с ними и скажите мне, пожалуйста, в каком вы будете положении перед вашими товарищами? Как вы будете жить в кругу их? А жить вам придется с ними, а не со мной. Подумайте об этом! Ведь они вас будут презирать! Ведь вы должны отвертываться, бе-

гать, скрываться от них, если вы не пожелаете, чтоб вам каждый из них плевал в глаза...

— Вот, г.Пятаков, какие последствия могут быть, да и бывают от клеветы, ябед и доносов. Так как вы явились ко мне со всеми упомянутыми возмутительными качествами, то я вам повторяю: вы подлец и дурак! А затем прощайте! Прошу вас выйти вон из моей квартиры и впредь ко мне никогда не ходить!..

Зарянко, тяжело дыша, встал и торопливо вышел из комнаты.

Можете судить, в каком интересном положении очутился Пятаков, уже не раз замеченный товарищами в доносах. Впрочем, после беседы с С[ергеем] К[онстантиновичем] во все последующее пребывание в Училище все товарищи заметили, что Пятаков совершенно переменился и никогда не был более уличен ни в каком доносе и клевете. Спустя несколько лет, он сам рассказывал вышеизложенное, добавляя, что С[ергей] К[онстантинович] как будто его снова крестил, и он вышел от него, как из купели, совершенно очистившись от грехов и ябед, которых за ним было очень много.

Второй поступок Сергея Константиновича был еще интереснее первого; кроме того, происшествие, о котором я расскажу, могло навлечь на Зарянко большие неприятности. Но он не испугался их, а сделал то, что хотел и что подсказывали ему его доброта и снисходительность. Тем более второй поступок его был удивительный, что Зарянко, как я уже говорил, был человек высоконравственный, щепетильный, враг всяких скандалов, в особенности же неблагопристойных выходок.

Расскажем, впрочем, все по порядку, из чего это дело началось и как оно кончилось.

БИТВА БЛИЗ СРЕТЕНСКИХ ВОРОТ

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса,
Пелеева сына

ТОВАРИЩИ СОВЕЩАЮТСЯ

— Нет! Нет, господа! Это невозможно! Ведь это бессовестно, подло! Посмотрите, что они сделали с моим рисунком! Ну, куда он теперь годится!? На что он похож? Вы посмотрите! Посмотрите, ради бога! Ведь это ужасно! Ведь это до крайности возмутительно, господа!

Так говорил, заливаясь слезами, ученик Дункер, сидя на табуретке, посреди натурного класса, безнадежно опустив голову и разведя руками. Плачущему ученику было лет с лишком двадцать. Высокого роста, с длинными, растрепанными рыжеватыми волосами, с такой же бородой, со светлыми, как у галки, и выкатившимися, как у рака, глазами, он был смешон и жалок

в одно и то же время. Перед ним на полу лежал его несчастный, испорченный рисунок, весь выпачканный, изорванный, стертый и помятый. Кругом Дункера стояли толпой его товарищи, ученики старшего класса, также печально понурив молодые свои головы, вполне сочувствуя отчаянию друга. Некоторые из них принимались было утешать его, но все оказалось напрасно: Дункер неудержимо плакал и, всхлипывая, говорил.

— Нет, господа! Вы подумайте! Ведь это бесчеловечно! Ведь это безбожно! Ведь вы знаете, что я думал за него получить медаль и получил бы наверно. С. К. Зарянко и А. Н. Мокрицкий, и Н.А. Рамазанов — все они очень хвалили его. А Аполлон Николаевич даже сказал...

Но тут слезы совсем помешали продолжать Дункеру, а потому он вынул платок, высморкался, вытер глаза и, спустя минуту, заговорил снова.

— Мокрицкий, господа, мне вот что сказал: „Ну, любезный Дункер, лотерейный билет у вас на медаль куплен и билет очень хороший, с которым вы наверное выиграете медаль“. — Вот тебе и выиграл, — искривив рот в горькую улыбку и еще более вытаращив глаза, со злостью сказал Дункер, вслед затем снова заплакал.

— Полно, полно, Дункер! — принялись утешать его товарищи. — Начни другой рисунок, еще успеешь кончить... До экзамена-то осталось две недели. Ну, поприлежней поработай, не спи ночи. Ей-богу, брат, успеешь!

Так говорили утешающие, хотя в душе все сознавали, что Дункеру рисунка нельзя успеть кончить, что сознавал и сам Дункер, опустив отчаянно голову и руки, сидя над своим погибшим рисунком.

Прошло немало времени. Ученики шептались между собой, как бы боясь нарушить чей-либо сон. В классе, несмотря на множество учеников, была полнейшая тишина, такая же, как бывает в комнате умирающего, где все замолкает постепенно, шушукает только причт, укладывая вещи после соборования умирающего; слабо всхлипывают дети, жена, мать, родственники, а в конце и эти отрывистые звуки как бы замирают, и только слышатся медленное и тяжелое дыхание умирающего да слабая икота. Но вот и икота прекратилась, вздох медленный ...еще... еще вздох, медленнее прежнего и тише прежнего, что-то слабое захрустело, зашелестело, и все смолкло... Вдруг неистовый визг поражает ухо окружающих; этот крик как бы поднимает волосы присутствующих кверху и непременно с затылка.

Точно такое же впечатление произвел Дункер, вскочив после продолжительного молчания с неистовством, как бешеный с табуретки, на которой он сидел, с всклокоченными волосами, с красными от слез глазами, которые до того выкатились вперед, что казались впереди носа. Кроме того, они как будто хотели отделиться от их владельца, чтобы быть самостоятельными, вероятно, вследствие того ворочались неудержимо направо и налево. Точно так же руки его махали и двигались совершенно произвольно, не обращая никакого внимания на собеседника. Вообще Дункер порывом своим произвел большое впечатление на своих товарищей, а особенно тем, что он, казалось, как будто состоял из разнородных и разноправ-

ных субъектов, крепко связанных, но которые во что бы то ни стало желают освободиться один от другого. Так, например, руки его не подчинялись ничему, даже разуму, а волосы — тому порядку, к которому он приучал их многие годы. Весь он, каждая часть его тела представляли гнев, нетерпение и каждая часть по-своему, так: волосы ершились, руки чесались, чтобы кого-либо треснуть, зубы лязгали, как бы желая изгрызть врага, ноги дергались, словно спешили бежать и бежать без конца, а глаза... Но нет! Глаза его были выше всякого описания. В таком виде и состоянии находился Дункер, когда все товарищи принялись с удивлением рассматривать его, как бесноватого, которого рассматривают окружающие в картине Рафаэля, изображающей „Преображение".

Наконец, кое-как овладев собой, но, не переставая махать руками и семенить ногами, он заговорил хрипло, с пеной на губах.

— Господа! Что же такое? — и Дункер торжественно показал рукой на несчастный рисунок, валявшийся на полу. — Разве это так должно быть? Нет, братцы, это так не останется, я отомщу за это! Я им, подлецам, отомщу!!... Я разобью, изуродую, уничтожу их!!... Кто, господа, желает мне помочь? Кто пойдет со мной?

Дункер говорил с таким энтузиазмом, с такой силой убеждения, потрясая в воздухе кулаками, которые успел уже подчинить своей воле, что многие товарищи с увлечением крикнули:

— Я, Дункер! Я... Я... Я... пойду! Мы все пойдем с тобой, Дункер! — заговорили они хором. — Пойдем, Дункер! Мы будем, братец, драться. Мы отомстим за тебя, в этом будь уверен! Ты знаешь, что мы все тебя любим и за тебя постоим.

— Знаю, господа! — сказал Дункер, пылая гневом, как пароходная печь жаром. — Я только хочу вам сказать, господа, что если вы не пойдете и не примете участия в этом гнусном деле, то я один пойду и сделаю с ними, канальями, такую штуку, чего они не ожидают!

Лицо его при этих словах было красно, как свекла, вследствие чего глаза казались еще белее. Когда Дункер говорил последние слова угрозы, из массы товарищей вышел герой, ученик Карташев. Он был небольшого роста, очень красивый собой: белый, румяный, как наливное яблоко, блондин, с длинными до плеч вьющимися волосами, всегда изящно одетый, очень скромный и даже конфузливый. Вышедши вперед, он гордо встал перед оскорбленным товарищем, протянув ему руку, точь-в-точь, как это делали рыцари в былые времена на турнире, и затем сказал:

— Друг Дункер! Я и все товарищи даем тебе честное слово отомстить этим мерзавцам. Мы все идем, и ты увидишь, как они будут раскаиваться в своем поступке.

Вся фигура Карташева представляла решимость и непреклонность. Глаза Дункера заблестели радостью, и он умиленно, даже восторженно проговорил, захлебываясь.

— Пойдем же, пойдем же, господа! О, как мы их вздуем, подлецов!

Но в этот момент выступил другой герой, некто ученик Ермаков: некрасивый, грубый, прямодушный, сутуловатый, грязный, словом, совсем плебей. Он остановил порыв товарищей и сейчас же доказал им всю несостоятельность несвоевременного похода. Ученик Ермаков, как мы все слышали, был искусен в кулачных боях, к тому же имел большую силу и необыкновенное хладнокровие. Остановив товарищей, он предложил им следующий план, который начал объяснять так:

— Господа! Если мы пойдем теперь, то никакого эффекту и толку не выйдет. Теперь там все спят — от хозяйки и до лакеев, и если б вы даже всех перерезали, то они и этого не почувствуют, а нужно сделать так.

Я забыл сказать, что вся описанная мною сцена происходила утром.

— Если же вы хотите вздуть их и вздуть, как следует, чтобы они об этом долго помнили, то я предложу вам вот что. Прежде всего нужно выбрать распорядителя, который бы управлял всем делом, а затем собраться перед вечеровым классом, так часам к трем, и уже повести дело, как подобает, по всем правилам военного искусства. В три часа они все уже встанут и при нашем нападении повыскочат на улицу, вот тут-то и можно поработать.

Но Дункер был недоволен предложенным планом: пылая гневом, он желал идти сейчас, немедленно, чтоб утолить жажду сжимающей его мести. Однако общим советом всех товарищей был принят план Ермакова, потому решили разойтись и собраться к трем часам пополудни. Оставалось только выбрать распорядителя. Выбор пал, уж, право, не знаю почему, на ученика Петрова. Он был выбран в предводители, хотя за учеником Петровым никаких стратегических способностей не замечалось, но, тем не менее, он был выбран главнокомандующим. Впрочем, такие казусы случаются и в более серьезных делах. Помощником же главнокомандующего был назначен Ермаков, которого ученики тут же все наименовали есаулом. По окончании выборов товарищи, воодушевленные предстоящим делом, разошлись по домам, чтобы в три часа вновь собраться в классах.

МЕСТО И ПРИЧИНЫ БИТВЫ

Против Сретенского бульвара, где ныне помещаются меблированные комнаты Семенова, с маленьким и грязным трактиром на углу, во время оно весь этот квартал, т. е. по линии бульвара, по Милютинскому и Юшкову переулкам, принадлежал какому-то г. Краснопольскому. В этом квартале стояли стена со стеной четыре или пять разновидных домов, в один и в два этажа, выкрашенных розовой краской. Все дома — от чердака и до подвала — были заняты содержательницами всевозможных увеселений. Во всякое время вечера и ночи в окна виднелись нередко красивые, но в большинстве дурные женские лица. Днем же все эти дома представляли какое-то

сонное царство, словно в них жили заколдованные, спящие царевны. Все упомянутые заведения, нужно сказать, были далеко не низкого разряда, а в бельэтаже считались даже шикарными.

Выходя из Училища после классов, многим ученикам лежал путь мимо домов Краснопольского, а некоторые и нарочно ходили не кратчайшей дорогой, а делали крюк, чтобы пройти мимо окон розовых домов, где всегда сидели девицы, которые нередко показывали ученикам свои катаральные языки и выделывали разные жесты, иногда не совсем грациозные, и все это проделывалось в виде ласки. Учеников шутки девиц очень забавляли: они много смеялись и, в свою очередь, смешили пленниц. Так это продолжалось многие годы. Особеннно ученики любили ходить мимо вышеупомянутых окон после вечеровых классов, т. е. после семи часов, потому что в это время все девицы приготовлялись к ночному балу, совершая свои одевания и прически так открыто и в таком неглиже, что даже иногда и смотреть было неловко. Но ученики не стеснялись этим и жадно рассматривали руки, плечи, словом, все открытые части девиц, которые и не думали прикрываться, сидя перед зеркалом, куря папироску, отдав свои волосы в распоряжение плюгавого парикмахера. Хотя окна были задернуты занавесками, но эти занавески только закрывали половину окна, а потому через них, приподнявшись на оконечности ног, всегда было удобно рассматривать происходившее в комнате. Девицы нередко видели, что в окна смотрят, но не обращали на это никакого внимания, так они привыкли к ежедневному посещению учеников. Правда, случалось иногда, что выскакивали лакеи или дворники, которых в этих домах было очень много, и метлой или половой щеткой разгоняли учеников. Но это делалось скорее в виде опять-таки шутки, и никогда эти милые шутки не доходили ни до чего серьезного.

В один вечер, после класса, ученик Дункер и еще два товарища возвращались домой, неся с собой классные рисунки, потому что, помимо классных занятий, они брали еще свои рисунки домой и иногда всю ночь напролет затачивали фон, тем более это было необходимо на сей раз, так как стояла „группа“ и был третной месяц, когда многие рассчитывают получить медаль, а всех более в эту треть был уверен ученик Дункер в получении ее.

Итак, товарищи возвращались домой, бережно неся свои рисунки. Дело происходило зимой. На улице было довольно скользко. Путь их лежал мимо домов Краснопольского. Проходя у окон и заглянув в оные, Дункер не мог оторвать своего взгляда от картины, привлекшей его: как раз против окна сидела прехорошенькая девица, которую он ни разу еще не видал в этом доме. Она скорее лежала, чем сидела в глубоком кресле с низкой спинкой, закинув кверху голову и волосы, завиваемые в локоны каким-то стариком-парикмахером. Девица была одета в белоснежную юбку и такую же сорочку, которая до того спустилась, что свободно позволяла любоваться ее белыми, полными и совсем голыми руками, а также и роскошными плечами. На коленях у девицы лежала большая черная кошка, которую она лениво гладила. Девица эта была так молода и так хороша, что

Дункер не мог отвести от нее глаз: весь вытянувшись, стоя на оконечностях пальцев, он смотрел и смотрел, тая от восторга, даже забыл о своем рисунке, который так прижал крепко, что измял его. Товарищи Дункера, налюбовавшись на красивую девицу, отошли от окна и уже не раз звали его; но Дункер не слыхал их: все смотрел, как бы перестав дышать. Наконец, потеряв терпение, один из товарищей схватил его за пальто и так дернул, что Дункер, потеряв точку опоры, скользнул по обледеневшей мостовой. Стремительно падая, он протянул руки, чтобы схватиться за что-нибудь, причем выронил рисунок и в тот же момент так стукнулся головой о стекло, что оно разлетелось вдребезги, а сам он грохнулся на мостовую и на свой рисунок. Ученики, испуганные его падением и случайностью разбитого стекла, разбежались. А сам Дункер пока опомнился, пока встал, поднял свой рисунок, то уже был окружен лакеями и дворниками из Краснопольского вертепа, которые, не говоря ни слова, принялись бить несчастного ученика, думая, что он разбил окно с целью озорства. Бедный Дункер, как ни защищался, но окруженный целой ватагой, был избит жестоко. Это бы еще ничего. Но его несчастный рисунок, истоптанный ногами дворников и лакеев и им самим, когда его свалили, был именно в том печальном виде, как он его показывал товарищам разложенным на полу среди класса.

После долгой борьбы и усилий, наконец, Дункер кое-как схватил свой рисунок и бросился бежать. Возвращаясь домой, товарищей своих он не видал: они скрылись. То были еврей Исаак Шенфель и ученик Пятаков. Кряхтя и охая, едва-едва дотащившись до квартиры, Дункер, прежде всего, зажег свечу, чтобы взглянуть на рисунок, и, когда взглянул на него, то залился горькими слезами. Он плакал долго и даже на другой день среди своих товарищей.

Вот причина, отчего произошла кровопролитная битва близ Сретенских ворот. Здесь повторилось то же, что очень нередко бывает на свете, а именно: малые неприятности родят большие беды и от искорки бывает пожар. Но, не горячась и не увлекаясь, расскажем последовательно, как произошло это дело.

БИТВА

Еще далеко не было трех часов, когда начали собираться товарищи, пылая гневом и горя желанием отомстить за друга. Конечно, из первых пришел сам Дункер, вооруженный толстой-распретолстой палкой. Он осведомлялся у товарищей, кто чем вооружился. Оказалось, что больше всего были вооружены палками, очень немногие деревянными закладками, а некоторые не захватили ничего и потому вооружались в классе колками от мольбертов. Нашлись и такие, которые захотели вооружиться складными мольбертами, но им отсоветовали, так как это оружие было бы чересчур заметно. К трем часам всё и все были готовы.

Главнокомандующий Петров разделил всех на три отряда: один предназначался для наступательных действий, второй для подкрепления, а третий составлял резерв в крайнем случае поражения.

Когда пробило три часа на классных часах, ученики толпою человек пятьдесят выступили из Училища. Это шествие представляло что-то грандиозное, могучее и даже страшное. Пятьдесят пылких юношей, вооруженных колками и палками, с суровыми лицами и пылающим взором, внушали прохожим если не уважение, то удивление. Действительно, все с большим удивлением смотрели на эту движущуюся массу. Впереди всех шли, как и следовало, главнокомандующий Петров и его есаул ученик Ермаков. Пришедши на место битвы, а именно на угол дома Краснопольского, где ныне трактир, начальник первую партию послал в глубину переулка, вторую же — поместил на бульваре.

Эта партия составляла резерв и должна была действовать только в крайнем случае. Третья партия, состоящая из двадцати человек, поместилась тут же на углу и должна была первая открыть действие. Во главе ее находился Ермаков. Сам же главнокомандующий встал на самом углу дома, именно на той точке, откуда мог хорошо видеть все три армии, а также и поле самого действия. В руках его был красный платок, которым он должен был махать, делая распоряжения. Когда все было готово, Петров махнул платком, и действие моментально началось.

Оно началось следующим порядком. Несколько учеников подбежало к входной двери и к окнам дома, и когда начальник махнул второй раз, то в тот же момент все стекла нижнего этажа, звеня и дребезжа, разлетелись вдребезги, так неистово по ним ударили палками и кулаками воспламененные товарищи. Не прошло и минуты, как вслед за этим всеобщим разрушением стекол выскочили лакеи и дворники, человек более десяти. Товарищи с азартом бросились на них, и завязался бой.

Дружно нападали товарищи, громя неистово озлобленных аргусов, но и аргусы в свою очередь не уступали, а кроме того к ним прибывали все новые и новые силы в лице лакеев и дворников из соседних домов Краснопольского. Когда бой уже стал клониться на сторону последних, Петров, зорко наблюдавший за происходившим, снова махнул платком, и товарищи, стоявшие в глубине Милютинского переулка, как грозная туча или ураган, понеслись к месту битвы. Силы противников дрогнули; в несколько минут они были совсем смяты.

Но тут бой принял самый невероятный характер и самый необыкновенный вид, потому что в самую середину боя ворвались до десяти девиц, приняв в нем самое горячее участие. Они были все в дезабилье, в распашных розовых, голубых и желтых блузах, а некоторые просто в сорочках и юбках, накинув на плечи шерстяные платки. Волосы их развевались по ветру, как гривы и хвосты несущихся коней. Когда они ворвались в середину боя, то он снова возгорелся с неимоверной силой.

Всех бьющихся было далеко более шестидесяти человек, конечно, включая и девиц. Эти, вновь появившиеся амазонки, немало горя принесли товарищам и более потому, что они нападали на них неожиданно и большею частью сзади, ухватив бьющегося за волосы, а иногда за ноги. Они валили товарищей на землю и, насев на них зараз несколько, били их без пощады. Битва снова начала колебаться; трудно было сказать, на чьей стороне будет победа. Видя это, главнокомандующий махнул резерву, который стремглав, через загородку бульвара, по сугробам, целиком, бросился к месту побоища.

Много выказали ловкости, храбрости и силы товарищи. Так, например, красивый блондин Карташев встретился неустрашимо с плешивым дворником, чуть не в косую сажень ростом, который, искривив рот, стиснув зубы и сжав могучие кулаки, налетел на маленького Карташева, и было бы ему очень и очень плохо, если б он не успел моментально размахнуться толстой палкой, почти в руку толщиной, которой он так сильно и так ловко ударил дворника посредине лысины, что тот, как овсяный сноп, полетел навзничь и растянулся на спине, словно пораженный молнией.

Много также прославил имя свое есаул Ермаков, известный уже и прежде как ловкий кулачный боец. Он в единоборстве прибегал к разнообразным способам и неожиданностям, чтобы поражать своего противника. Так, например, сошедшись с врагом, он прыгал перед ним с поднятыми кверху кулаками. Оторопелый противник инстинктивно наклонялся; тогда Ермаков бил его кулаками по затылку и в тот же момент коленом по лицу, и враг, с носом, разбитым в кровь коленом Ермакова, валился к ногам победителя. Иногда же он выделывал следующие эволюции: устремившись на врага и подскочив к нему как пуля, он не бил его кулаками, но с быстротою фокусника, наклонив голову, ударял ею противника в брюхо, и тот от неожиданного удара летел навзничь. Иногда же, ударив противника в брюхо, он успевал в то же время схватить его за ноги, перебрасывая через себя, и ошеломленный враг, сделав в воздухе сальто-мортале, растягивался как пласт на истоптанном снегу.

Многие товарищи прославили себя в этой битве, в особенности ученик Лосев. Он до такой степени изорвал на одной девице платье и даже сорочку, что она осталась в том костюме, в котором щеголяла наша прародительница Ева, бывши в раю.

Нечего уже и говорить о самом виновнике битвы, ученике Дункер. Он носился, как вихрь, из одного места в другое; потерял шапку; волосы его, из которых, впрочем, большую прядь выдернула одна из девиц, были растрепаны и торчали во все стороны. Вытаращив до невозможного глаза, вертя в воздухе увесистой палкой, он истреблял все и всех и до того вошел в азарт, что тою же палкой начал бить по спине товарища, защищавшего его.

О, если б я сумел набросать картину этой необыкновенной битвы, и именно в тот момент, когда она была в полном разгаре, т. е. перед концом! Когда голая девица, вопя неистово, бегала обезумевшая между бьющимися; когда многие другие девицы растеряли свои платки и дрались в одних со-

рочках; когда толстая хозяйка их стояла в дверях с распростертыми руками и молила о помощи; когда многие товарищи в сторонке прикладывали снег к разбитым носам и губам своим, и снег моментально окрашивался в розовый цвет; когда немало лакеев и дворников валялось посреди боя, как это обыкновенно бывает изображено на баталических картинах.

Много, даже очень много публики собралось, удивленно смотря на происходившее. Остановилось несколько карет, и сидящие в них солидные мужчины вышли посмотреть бой; впрочем, эти кареты и не могли бы проехать по случаю столпившейся публики, большой охотницы до даровых зрелищ.

Надо правду сказать, битва была настолько пылкая, горячая и увлекательная, что даже двое молодых людей, ехавших на извозчике, остановились. Передав книги на сохранение извозчику, не спросив в чем дело — кого бьют и за что бьют — поправив шапки, т. е. нахлобучив их почти на глаза и уши, они бросились в самый бой, приняв сторону товарищей. Долго и храбро бились они, и, когда кончился бой, то, не говоря ни слова, опять сели на извозчика и уехали, вполне довольные как собой, так и всем, и, только уже отъехав немного, они крикнули ученикам:

—Мы, господа, студенты! Ура!!...

Однако мы отвлеклись от того момента, когда резервы бросились выручать слабеющие силы товарищей. Скорее, чем молния, достигли они места битвы, и не прошло десяти минут, как бой был окончен. Девицы и лакеи скрылись в доме и заперли дверь, а дворники в воротах, которые также заперли на запор. На месте боя только валялись два-три трупа; оно не то чтобы вполне трупы, а так, с разбитыми носами лежали два-три дворника, причем ругались неистово.

Главнокомандующий Петров махнул платком и крикнул зычно.

— Господа, домой!!!

Все товарищи, торжествуя победу, пошли в рисовальный класс; затем начала расходиться публика и разъезжаться кареты.

Не знаю, была ли в этот день полиция в Москве, или она, быть может, находилась где-либо за городом, уж, право, наверное не могу сказать. Но только на месте боя, который длился по крайней мере полчаса, а может быть и больше, никто не видал ни одного полицейского.

Ученики как раз вовремя вернулись в классы, которые уже были освещены, и натурщики стояли раздетые, в одних рубашках, дожидаясь, когда пробьет 5 часов, чтобы становиться на места. Но в этот вечер товарищи почти что ничего не нарисовали, так они были взволнованы, и у некоторых так тряслись руки, что они с трудом могли держать в них рейсфедер; у других же нестерпимо ныли зубы и болела шея; впрочем, у некоторых совсем заложило бока, и они с трудом дышали. Класс благодаря тому, что не было профессора, прошел в разговорах. Много говорили о битве, много славили отличившихся героев-товарищей. В шумных толках быстро пронесся класс, но на другой день произошло то, чего никак не ожидали храбрые ученики.

Следующее утро и даже весь день прошли благополучно. Конечно, ученики в классах больше всего говорили о вчерашней битве. Так прошел день. Но когда товарищи собрались в вечеровой класс, то ученик, живущий у одного из преподавателей, с испуганным, мертвенным лицом объявил всем беду и беду великую, неизбежную, которой никто не ожидал. Он узнал наверно, что в Училище к инспектору Зарянко был прислан чиновник от генерал-губернатора графа Закревского с тем, чтобы произвести наистрожайшее следствие и всех виновных представить к графу, а он уже сам, отсчитав девять, десятого будет отдавать в солдаты. Следовательно, если окажется шестьдесят виновных, то из них шестеро возьмут ружья и наденут ранцы. И что граф Закревский, когда ему доложили об этом происшествии и о том, что несколько человек будто бы уже умерло, так рассердился, что его еще никто и никогда не видал в таком озлобленном виде и что, вероятно, нынче же вечером начнется следствие.

Можете судить, какое впечатление произвело на храбрых учеников это известие! Некоторые из них хотели было моментально бежать домой, но их не пустили товарищи, и, кроме того, с этой минуты они начали зорко следить один за другим, чтобы кто-либо из них не улизнул. Конечно, они следили с тем намерением, что уж если отвечать, то чтоб отвечать всем, по пословице, которая говорит „на людях и смерть красна".

Ученики склонили свои буйные головы, и не прошло десяти минут после известия о следствии, как некоторых из товарищей уже нельзя было узнать, так они побледнели и даже как будто похудели. Один только Ермаков не падал духом. Выйдя на середину класса, он ободрял товарищей, говоря.

— Эх, вы, храбрые рыцари! Чего струсили? Ну, что с вами сделают? Ведь не кожу с вас сдирать будут в самом деле! А если отдадут в солдаты, экая важность! И там будем драться. Не будет войны, будем проситься на Кавказ. Там, братцы, дерись хоть каждый день, да еще за это хвалить будут.

Но эти утешения не ободрили товарищей.

Ровно в пять часов пришел в класс С. К. Зарянко, но не с чиновником, а один. Он был до крайности взволнован и дышал тяжелее обыкновенного, причем ноздри его раздувались до невозможного. Лицо его, и всегда бледное, на этот раз было бело, как у античной статуи, только что вышедшей из формы. Глаза горели и блуждали. Вошедши в класс и не ответив на поклон учеников, он прошел на средину класса и, остановившись перед учениками, стал смотреть на всех молча, не то злобно, не то удивленно, медленно поворачивая голову и переводя глаза с одного на другого. Все мы почувствовали дрожь и поняли, что что-то будет, что-то готовится для нас плохое; даже у первых героев вчерашнего боя задрожало, как говорится, под жилками. Зарянко все продолжал смотреть на учеников, как бы выбирая, на ком остановиться. Наконец, он как-то вдруг взвизгнул, точно у него лопнул какой-либо кровеносный сосуд; после визгу он заговорил до поразительности резко.

Этот звук, которым он говорил, только можно слышать и чувствовать в момент, когда оборвется струна: это был не тон, не звук гармоничный, а скорее резкий диссонанс, который поражает ухо слушателя!

— Господа! — со свистом начал Сергей Константинович. — Имеете ли вы понятие о дружбе, о товариществе и знаете ли вы, что это за чувства, а также какая это сила среди живущих?.. Вы, — обратился Зарянко к одному ученику, — есть не что иное, как капля воды, а вы все вместе, — он обвел всех глазами, — уже составляете поток, поток могучий и неудержимый, хотя мутной воды, — добавил Зарянко с гримасой. — Вот что такое товарищество, дружба и единомыслие. Вы все здесь соединены, связаны одной идеей любви к искусству, поэтому вы все должны составлять одну семью, одно целое, нераздельное... Если бы первые христиане не составляли целого и не шли бы с готовностью умирать один за другого во имя своей идеи, во имя своего убеждения в братстве, неужели вы думаете, что они достигли бы результатов христианской религии и ее могущества? Нет и нет!!? Они все бы погибли, как единицы, потеряв уважение к самим себе. Они не достигли бы той высокой идеи, которую старались осуществить и осуществили.

— Господа! Я взял чересчур высокую идею для сравнения. То, о чем я хочу сказать, есть малая величина, но все-таки величина, и если она будет сравнена с еще меньшей, то она будет величина большая... Итак, товарищество заключается в единстве мысли и принципов, в пожертвовании всего, даже жизни для друга, для товарища. Люди подобного убеждения всегда заслуживали и заслуживают полнейшего уважения; люди же, противоположные им, достойны только полного презрения.

— Я вас теперь спрошу, господа. Неужели между вами есть такие подлецы-товарищи, которые в состоянии выдать своего друга, и даже если этот друг или товарищ виноват? Неужели между вами есть такие люди, которые в состоянии поцеловать виновного, как некогда Иуда поцеловал невинного, и целовал с тем, чтоб предать его на суд, на распятие? Нет! Я отказываюсь верить, чтобы между вами были такие подлецы.

Говоря это, Зарянко во все глаза глядел на ученика Пятакова.

— Если же к несчастью есть таковые, то заклеймите их, господа, позором вашего презрения!

Проговорив эту неожиданную и как будто не идущую к делу речь, Зарянко пошел вон из класса.

Но не успели ученики свободно вздохнуть, как С[ергей] К[онстантинович] снова пришел в класс, держа в руках какую-то бумагу. Он строго и зычно закричал.

— Господа! Я только что получил от его сиятельства, графа Закревского, московского генерал-губернатора, бумагу, по которой должен произвести строжайшее следствие о беспорядках, наделанных будто бы вами вчерашний день. Для этого следствия был прислан чиновник, но я уговорил его уехать, взяв на себя произвести дознание. А потому и спрашиваю у вас, — и он вдруг закричал поразительно громко, — кто участвовал во вчераш-

нем скандале? Выходите виновные на средину класса и говорите: кто участвовал? Если некоторые не желают выдавать себя, то выдавайте участвовавших товарищей. Ну! Что же вы? Выходите! — еще громче кричал Зарянко.

Все ученики при этом крике, бледные, встали на местах своих и молчали.

— Что же вы? Говорите! Выходите! Выходите... Говорите! — кричал Зарянко, причем громко топал ногами. И когда он, утомившись, замолк, то все ученики, хором, громко ответили ему.

— Мы ничего не знаем, Сергей Константинович! Мы ничего не видали и не дрались.

— Я так и думал! Я в этом был уверен! — проговорил Зарянко. —Ко мне еще утром приходили жаловаться на вас, но я не поверил и прогнал клеветников, потому что не могу допустить, чтоб сделали это вы, так как это не только дурно, но даже омерзительно, гадко! Это несвойственно людям более или менее порядочным, а тем более людям, имеющим претензию быть артистами и художниками. Не правда ли, господа?

Сказав это, Сергей Константинович вышел из класса.

Дня через два Зарянко снова пришел в класс, но уже покойный и даже улыбающийся, хотя с улыбкой физического страдания.

— Господа! — начал он. — Я сейчас от генерал-губернатора, графа Закревского, и передаю вам его слова, которые мне приказано передать вам. Граф, по великодушию своему, на сей раз не желает отыскивать виновных, хотя буйство, произведенное кем-то, конечно, только не вами, кончилось тем, что несколько человек отправили в больницу на излечение.

Его сиятельство приказал мне передать вам, что он вас предупреждает: если еще раз повторится подобная история и если хотя только тень подозрения падет на Училище, то без суда и следствия от девяти десятый из вас пойдет в солдаты... „Скажите им, — добавил граф, — что я сдержу свое слово!“

— Поймите это, господа, и старайтесь не погубить вашу молодость, вашу будущность каким-либо необдуманным поступком. А теперь прощайте! Будьте покойны! Занимайтесь примерно и любите ваших товарищей!

Проговорив это, Зарянко всем низко поклонился и вышел из класса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сергей Константинович приходил в класс в профессорском мундире и даже со шляпой в руках. Он только что вернулся в тот раз от генерал-губернатора, который был до крайности взбешен происшедшим буйством и имел непреклонное намерение поступить с виновными со всею строгостью законов, почему и приказал произвести наистрожайшее следствие. Сергей Константинович два или три раза ездил к графу. Что он с ним говорил и как он

его убедил прекратить дело — осталось никому неизвестным, но только дело было прекращено и уничтожено.

Спустя недели две или три, пронесся слух, что будто двое из отправленных в больницу там умерли, но, несмотря на это, следствие о побоище не возобновилось.

Так это дело и кануло в вечность. А в настоящее время уж очень и очень немного героев этой знаменитой битвы осталось в живых; все же остальные покоятся сном непробудным.

НОВОГОДНЯЯ ЛЕГЕНДА О СЧАСТЬЕ

В последний день старого или канун нового 18... года художественная выставка в одной из наших столиц была в разгаре. Сплошная масса зрителей теснилась не только в залах, где красовалось много новых и очень интересных картин, но даже и на лестнице. Это объяснялось тем, что в одной из зал стояла картина, о которой повсюду много говорили и писали. Она изображала „Апофеоз представителей искусства“, а также и нераздельную с артистами „Славу“, в виде женщины, хотя и прекрасной, но совсем нагой. Эта голая „Слава“ усердно раздавала лавровые венки любимцам публики, т. е. артистам. Картина „Апофеоз“ была колоссальна по размеру, блестяща по колориту и чрезвычайно эффектна по освещению. Публика теснилась перед ней, как иззябшие люди толпятся у ярко пылающего костра. Невозможно или по крайней мере трудно было рассмотреть картину в часы, назначенные для выставки, — так много находилось всегда желающих любоваться ею.

Теперь любопытных было еще более. За несколько минут до звонка, т. е. до закрытия выставки, толпа перед обнаженной „Славой“ нисколько не уменьшалась. Толкаясь, каждый спешил пристально рассмотреть ее, потому что день был сумрачен, да и сверх того становилось довольно темно. В сто-

роне от публики, а, следовательно, и отдавки, стоял старик совсем дряхлый. Казалось, он пришел на выставку накануне смерти. Он с большим любопытством рассматривал прославленную картину, конечно, насколько позволяли окружающие ее. Высокого роста, согнутый как лук, когда могучая рука натянет тетиву, одетый скромно, — в черный, старого покроя сюртук, он не отличался ничем особенным; только большой бант небрежно завязанного галстука или платка, поверх которого лежал белый, большой воротничок сорочки a l'artist, бросались в глаза и заставляли предполагать, что старик принадлежит к типу отживающих артистов. Волос у него совсем не было. Его голый череп с большим блестящим бликом, вероятно, давно забыл, что такое гребень; но зато у него была белая, большая борода, широкою волною падавшая вниз. Многие обратили внимание на ту сосредоточенность, с которой старик рассматривал картину, как бы застыв в принятой им позе. Облокотившись на толстую трость, забыв обо всем его окружающем, он долго стоял без всякого движения как статуя.

Последний час выставки кончился. Прошел по всем залам маленький, старый солдат, неистово звоня в большой, чуть не соборный колокол. Публика начала постепенно удаляться. Вскоре вышли все, кроме старика, продолжавшего стоять на том же месте, так же неподвижно и с таким же сосредоточенным вниманием рассматривать картину. Он остался один в опустелой зале, не замечая этого. Взор его становился печальнее и задумчивее; голова, наклоненная набок, вытянулась вперед. Во всей согнутой фигуре, а тем более в выражении лица его виднелась какая-то грусть, сожаление, даже тоска о чем-то непонятном, уже непонятном потому, что на картине ничего не было такого, о чем следовало сожалеть, а тем более грустить.

В соседней комнате внезапно послышался веселый говор громких голосов и шум шагов. Спустя минуту, в залу вошли развязно, весело смеясь, несколько человек. Видно было, что они не только знакомы со всем окружающим их, но даже и принадлежат к касте жрецов искусства. Это особенно бросалось в глаза по их небрежному отношению ко всем произведениям, мимо которых они проходили, делая иногда поверхностные замечания; в большинстве же только отмахивались рукой, как от чего-то недостойного внимания. Вошедшие были, действительно, артисты: автор наделавшей шуму картины „Апофеоз"; пейзажист, только что продавший картину свою за несколько тысяч рублей; нескончаемо длинный архитектор, известный враль, но начинавший приобретать большую известность в постройках; актер, с успехом сыгравший Гамлета; композитор, симфония которого наделала шуму в последнем концерте; скульптор, получивший премию где-то за границей, и в заключание литератор, худой, длинный, безволосый, кричавший более всех и рассуждавший с апломбом парижского бульвардье о том, чего никогда не знал и не видел. Размахивая руками, издали он представлял грамадное сходство с ветряною мельницей.

Автор картины „Апофеоз" был далеко еще не стар: ему казалось около

тридцати пяти лет. Среднего роста, блондин, красивый, симпатичный, он вошел в залу свободно до небрежности, с закинутой на плечо головой, прищуренными, очень добрыми глазами. В походке и манере держать себя замечалась у него как бы усталость, от усиленного труда или бессонных ночей, вернее же от счастья и славы, от тех похвал и рукоплесканий, которые, в конце концов, утомляют прославившихся артистов.

Все вошедшие были веселы, довольны своими успехами. Вступив шумно в зал, они как бы сконфузились, увидав там еще оставшегося зрителя, который при их появлении медленно поднял голову и равнодушно оглядел их.

— Господа! Да ведь это дедушка! — вскричал автор картины „Апофеоз". — Вас ли я вижу, дед, и где же? Перед моей картиной? Я так счастлив, что хотел бы от всей души пожать вам руку.

Проговорив это, он потянулся за рукой деда.

Старик же на его слова торопливо протянул свои обе трясущиеся руки, обнял ими художника и три раза поцеловал его. Потом старик пожал руки остальным артистам, говоря:

— Очень рад, господа, вас видеть! Пользуясь счастливым случаем, спешу поздравить с наступающим Новым годом и пожелать от души всех благ и успехов каждому из вас...

Когда поздравления и пожелания с обеих сторон были окончены, автор „Апофеоза" заговорил сконфуженно и робко:

— Уважаемый дед! Вы рассматривали мою картину и, вероятно, сделали ей надлежащую оценку. Прошу вас, скажите откровенно, не щадя меня, как вы ее находите? Ваше мнение и ваше слово для всех нас дорого. Вы сами знаете, как мы любим, чтим и ценим ваши мнения и глубокие знания во всем, а тем более в искусстве.

—Вы задаете мне трудную задачу, — проговорил старик глухо. — Вы просите честного, откровенного мнения, строгого суждения о картине. Это все очень легко сказать, но не легко исполнить, тем более в присутствии самого автора. Это еще более нелегко потому, что мне очень не хотелось огорчать вас в счастливейшие минуты вашей жизни, когда вас все хвалят, все вам рукоплещут.

— Старый друг! Я прошу, как милости, сказать все откровенно как обо мне, так и о моей картине, — проговорил художник вполне искренне.

Старик помолчал, пожевал губами, которых, впрочем, не было видно в его густой бороде, затем вздохнул глубоко, как бы решившись говорить только грубую правду.

— Вы вполне счастливы теперь. Картина вполне хороша. Ею не даром восхищаются: в ней блестящие краски, талант и энергия. Но, простите мою откровенность, — в ней мало истинного искусства и той глубины чувства, которая нераздельна с живым искусством... Друг мой, в вашей картине мне бросилось в глаза прежде всего то, что вы перестали учиться, т. е совершенствоваться. Перестали наблюдать, иначе, — черпать искусство из жизни;

оставили в стороне внутреннюю, моральную сторону, увлекшись одной только внешней стороной изображенного вами. Словом, ваша картина и ваше состояние духа, как художника, представляет мне тот момент жизни человека, когда он остановился в росте физически; вы же остановились в развитии любви к идеалам. Другими словами: вы напоминаете мне тот период года, когда день, если еще не пошел, то скоро пойдет на убыль. Этот период бывает, запомните, в начале лета, когда все полно жизни, полно сил и красоты; когда все живет, дышит и цветет, а в то же время день уменьшается и невольно приходят в голову скучные, темные и бесконечно длинные осенние вечера, когда мрак ночей, однообразие туманов и дождей хуже, печальнее и невыносимее суровой зимы с ее вьюгами и метелями. В холодной зиме, несмотря на ее суровость, живет надежда, есть утешение: перед вами весна. А здесь, — при этом старик показал рукой на картину, — впереди однообразие, затем тоска, а в конце — презрение к самому себе...Я вам ясно могу определить, отчего все сказанное мне приходит в голову, глядя на вашу картину. Я не только чувствую, угадываю, но положительно сознаю это. Вы не идете более вперед: вы разлюбили искусство, потому что не изучаете его; вы остановились на тех познаниях, которые приобрели не изучением, наблюдением или трудом, а просто — вашим талантом, вашим дарованием. И если вы не идете вперед, то значит двигаетесь назад: застоя в природе нет, движение во всем, везде и повсюду.

Все родится, прогрессивно развивается и умирает. И если раз вы остановились в развитии и пошли назад, то знайте—нет возврата к прошлому: ничто не возрождается в той же форме, в том же виде.

Художник, познающий и любящий свое искусство оставляет по себе творения, которые переходят в потомство и долго там живут. Ваша же картина скоро умрет, как роскошный цветок без тепла, света и твердой почвы.

Я уже сказал, — в картине вашей есть краски, т. е. колорит, но колорит, не взятый из природы, колорит не силы, могучести и правды, а скорее — какой-то разнеженности, так сказать, пикантности, заимствованной из модных картин, колорит, приятно ласкающий глаз и щекочущий чувственность, но совсем не действующий на высокие чувства.

В картине вашей есть рисунок, но рисунок, бьющий на красоту, на ловкость, но не строгий, уверенный и точный. Рисунком вашим вы желаете более раздразнить, увлечь зрителя, чем выразить им изображенные вами характеры и типы.

Наконец, в вашей картине есть выражение и энергия, но выражение однообразное, — извините за прямоту, — шаблонное: все лица на вашей картине одними и теми же чертами выражают радость и величие, а также счастье и восторг. Это доказывает, что вы смотрите на воспроизведение этих лиц поверхностно, скользя по внешности их, не заглядывая отдельно в душу каждого вашего героя.

Это все симптомы тления и смерти, но не творчества и бессмертия. Разве радость или какое-либо движение души может выражаться одинаково на

всех лицах, на всех типах? Никогда этого на бывает, да и быть не может. Что ни тип, что ни лицо, что ни характер, то особенность выражения всякого чувства. Глубокий художник тем и познается, что изучает, подмечает все эти особенности, а потому его произведение бессмертно, правдиво и жизненно.

Но что всего печальнее видеть в вашей картине, так это то, что фундамент ее почерпнут не из жизни и любви к искусству, а из требований моды и довольно низменных вкусов публики, которые можно определить двумя словами: бессодержательность и эротичность. Та торная дорога, по которой, к сожалению, чаще всего идут артисты, никогда не ведет к совершенствованию. На ней художник если не гибнет, то меняется на мелкую монету, идущую во всеобщее обращение, где скоро она стирается и стирается так, что становится невозможным определить, что на ней было изображено, а также и написано.

— Не увлекайтесь мизерной, не заслуживающей уважения славой. Слава такого рода рассеется быстро, как утренний туман при восходе яркого солнца, и после останется лишь тоска, сожаление о безвозвратно погубленном даровании. Судьба артистов, увлекающихся первыми успехами и служащих вкусам публики, а не изучающих жизни и жизненной правды, в конце концов, всегда печальна. Преждевременная слава им застилает глаза: они уже не видят истины; но, опьяненные, они увлекаются желанием угождать толпе и ее дурному, а чаще развращенному вкусу. Публика сначала их балует, нередко бросает им баснословные деньги и лавровые венки. Все это — пока они в моде, пока они угождают ей, или пока не наскучили, как игрушки, которые нетерпеливые дети ломают или швыряют в сор. Артист обязан развивать вкус публики, идти вперед ее, но не ходить за ней.

Посмотрите повсюду: как многие и многие стремятся на служение искусству! Это не из моды, а скорее по сознанию того высокого назначения, которое предстоит в будущем искусству. Позор артистам, сделавшим из него забаву и уронившим его настолько, что оно будет годно возбуждать только мелкие и грязные страстишки, но не высокие чувства души человеческой.

В заключение мне бы очень хотелось вам выяснить то непрочное счастье и ту туманную славу, которою пользуются все артисты, смотря поверхностно на труд свой, т. е. производя не по чувству любви к искусству, а по требованию публики, или по требованию моды, а также и своего самообольщения.

— Если вы имеете еще несколько свободных минут, — обратился старик к артистам, — то присядемте. Я вам расскажу по поводу нашего разговора одну татарскую легенду о счастье, которое покидает нередко артистов, отвыкших от серьезного труда в пору их полной славы. Каждый артист должен знать ее наизусть.

Не помню, когда это было, но только очень давно, даже еще ранее того, когда русские люди, вместо всяких письменных обязательств и тяжелых клятв, говорили просто: „Да будет мне стыдно, если я этого не исполню!“. Не могу вам сказать, где и случилось это: было ли то на Востоке, на Юге,

или где-либо в иной стране, право не знаю, да и не в том суть, а дело вот в чем:

— В бедном татарском майдане, т. е. базаре при деревеньке или поселке, жил бездетный татарин. У него была одна только жена, так как бедность не позволяла ему большей роскоши. Ну, что делать! На все воля Аллаха. Измученные непосильной работой из-за куска хлеба и страха голодной смерти, перебивались они, трудясь изо дня в день, без утешения, без радости, без счастья; но не роптали на своего Аллаха и его Пророка, которому между тем усердно молились. Они были люди благочестивые и милосердные, насколько им позволяла их бедность. За их смирение и терпение Аллах уже на закате дней захотел утешить своих правоверных рабов и послал им в виде награды неожиданное счастье, которое заключалось в том, что престарелая татарка почувствовала себя будущей матерью, о чем и объявила с восторгом своему мужу. Бедный татарин был так же рад, как и его единственная по бедности жена. Много говорили они о будущем своем детище, много благодарили Аллаха и его Пророка за их милости: много также думали, как назвать дитя. Наконец, решили так: если родится мальчик, то назвать его Разумом, если же — девочка, то назвать ее Счастьем. Настало время и татарка благополучно сделалась матерью. Но вот в чем горе: родилась девочка и к тому же совсем уродец. Это уродливое дитя имело рот,нос, а также все остальное в надлежащей исправности, словом, как у всех правоверных в их стране, но у бедняжки не было глаз, по крайней мере, то место, где надо бы помещаться глазам, у девочки было совсем гладко и никаких признаков органа зрения не замечалось. Всплеснули руками и горько всплакнули татарин с татаркой о таком великом несчастье, но, несмотря на это, все-таки назвали родившуюся Счастьем, так как дали в этом обет Аллаху.

Спустя несколько дней, когда татарка вполне окрепла, встала с своего ложа или постели и начала мыть новорожденную, то с удивлением заметила, что у девочки на самой макушке, т. е. на темени, находится глаз и глаз большой, настоящий, который бойко глядит и моргает, к тому же голубой и ясный, как безоблачное небо. Не помня себя от радости, мать побежала в поле, позвала мужа, работавшего там, и сообщила дорогой о радостном открытии и новой милости Аллаха.

Когда они вернулись домой и подошли к девочке, то стали рассматривать со всем вниманием ее единственный, большой глаз. Но чтобы вполне убедиться — видит ли он, — татарин надумал следующее: он поднес к открытому глазу зажженную свечу. С тех пор вошло во всеобщее употребление испытывать таким образом зрение. Когда была поднесена свеча к самому глазу девочки, то она сначала прищурила его, затем совсем закрыла от яркого света и теплоты огня. Тогда-то родители, вполне убедившись, что дитя их видит, снова радовались и проливали слезы благодарности.

Время, труд и убогая жизнь потекли своим чередом, а Счастье, т. е. новорожденная девочка, как бы уцепившись за скоро текущее время, также

не отставала от него и также быстро росла. Прошел год, другой и третий. Девочка стала ходить и даже похорошела, если только это возможно было при ее уродливости. Впрочем, в глазах родителей к своим детям, также как и в глазах артистов к своим произведениям, — все возможно: им нередко дурное их детище представляется прелестным, достойным общего внимания, а потому ничего удивительного, что Счастье своим старикам казалась красавицей. Они до того ее любили, что никогда не расставались с ней и брали ее повсюду, даже когда работали в поле. Там они сажали дочь в сторону, и тихая, молчаливая девочка сидела неподвижно, с любопытством смотря на бесконечное голубое небо, где живет Аллах, на быстро несущиеся белые облака, на яркое солнышко, да на кружащихся в высоте лазури могучих орлов.

Время между тем шло своим чередом. Наконец, Счастье выросла. Но кто возьмет безглазую и бедную девушку, хотя бы она и называлась Счастьем? К тому же, Счастье была натура исключительная: она созерцала только небо, солнце, луну и звезды. Она не видала ничего на земле, так как не могла наклонять головы, а также и сгибать спины, потому что позвоночный столб ее совсем не гнулся, вследствие этого она видела только великое и бесконечное в высоте.

Она не понимала, что такое труд, что такое горе, страдание, зависть, злоба — все земное ей было незнакомо. О земных же добродетелях и говорить нечего, потому что их и с двумя глазами во лбу не скоро увидишь. Итак, Счастье была чиста и непорочна, как ангел, как гурия, живущая на седьмом небе, в обители и объятиях Аллаха, куда она постоянно смотрела. Правда, что Счастье слышала нередко вокруг себя неистовые крики, брань, стоны, проклятия; но она не видала действий, нераздельных с этими пороками и страданиями человека, и считала слышанные ею вопли и стенания простыми звуками, подобными ветру, воющему в трубе, который беспокоит слух, наводит сон или скуку, но не терзает души чистой и светлой. Преступникам — иначе. Им слышится в каждом звуке завывающего ветра плач и мольбы о пощаде.

В эту пору у Счастья стали являться странные и новые для нее желания, а именно: ей вдруг почему-то непреодолимо захотелось кого-либо ласкать, кого-либо любить. Это тем более было странно, что она, как я уже сказал, не видала ни одного человека, в том числе даже своих родителей.

В один день, когда желание чего-то непонятного было настолько сильно, что она не могла сидеть покойно близ работавших родителей, от томившей ее истомы, Счастье встала и, потянувшись, расправила свои онемевшие члены, как бы спросонья.

—Мама, мама!—сказала Счастье.—Мне что-то скучно! Я похожу немного...

Татарка услыхав новое, что-то необычайное в голосе своей дочери, оставила работу, с испугом посмотрела на милое дитя свое, но не могла ничего прочесть в глазах ее, так как их не было, а потому и сказала успокоившись, не поняв дочери:

— Иди, мое сердце, моя милая дочка! Иди, пройдись! А я посмотрю, чтоб ты не ушла от нас далеко.

Дочь пошла, как ходят люди в лунатизме, инстинктивно, бессознательно, а мать с любовью смотрела ей вслед. Затем татарка со вниманием осмотрела местность, и, уверившись, что повсюду гладко, нет ни рвов, ни острых камней, на которые могла бы упасть ее дочь, принялась работать и так увлеклась своим привычным делом, трудом, что забыла обо всем, даже о милой дочери.

Между тем, Счастье шла дальше и дальше, увлекаемая каким-то неясным желанием. Наконец, она вышла на торную дорогу и пошла по ней. Она шла, смотря на небо, а душа ее была полна восторгами и стремлениями к любви. Вдруг она с кем-то столкнулась, что-то преградило ей дорогу. По инстинкту слепых, или людей, идущих в темноте, она протянула вперед руки и схватила ими встретившегося человека. Человек этот был слепой от рождения. Звали его Случай. Он был юноша, пришедший в возраст мужа. Слепой Случай также инстинктивно обнял руками стан девушки.

— Кто ты? — спросила его Счастье.

— Я слепой Случай, — проговорил юноша.

— О нет, нет! — возразила Счастье. — Ты не Случай! Ты что-то другое! Ты моя мечта, ты именно то, чего не доставало мне в моей жизни; ты—то, что волновало мою кровь и лишало меня покоя. Прижмись к моей груди! Поцелуй меня крепче, крепче!

И Случай со Счастьем слились в долгий, горячий поцелуй!

Целый день татарка искала свою дочь. Немало хлопот выпало также и на долю престарелого татарина. Рвали они свои седые волосы и только уже к вечеру, после отлива горя, затопившего их старые сердца, они, убитые истерзанные, пошли домой. И вдруг, когда они менее всего надеялись, нашли свою дочь. Они нашли ее и где же? — на дороге, в объятиях слепого Случая. Не буду рассказывать, как сначала вознегодовали старики: они хотели даже предать проклятию дочь свою. Затем, пришедши домой, сильно грустили о своем позоре, но уже не бранили дочь, а к ночи даже стали утешать свое дитя, которое только и говорило о слепом Случае.

На другой день дочь татарки была до того грустна и тревожна, что родители отправились отыскивать слепого Случая, чтоб привести его и сколько-нибудь утешить дочь свою. Долго повсюду они искали его, но возвратились домой ни с чем, так как Случая не нашли и успокаивали дочь свою надеждой на будущее — той надеждой, которой живут очень многие люди на белом свете.

После всего прошедшего, Счастье начала понимать, что прекрасное не все только вверху, в небе, в обителях Аллаха, но что есть и на земле такие блаженства, узнав которые, никогда нельзя забыть их. В таких-то мечтах время текло. Прошло уже несколько месяцев с той поры, как татарка нашла Счастье в объятиях Случая. Раз, после тревожного сна, Счастье почувствовала что-то странное, что-то небывалое с ней, точно что-то живое, самостоя-

тельное трепетало и шевелилось у нее под сердцем. Не боль и страх ощутила она при этом, нет! — то было другое чувство, скорее напоминающее радость, когда сердце сладко замирает, а также и мысль перестает работать, как бы прислушиваясь к биению сердца. Это явление повторялось с ней несколько дней сряду. Наконец, она сказала об этом матери, которая, при ее словах, как бы пристыженно опустила голову и грустно сказала:

— Дитя мое! Ты скоро будешь матерью!

Это и исполнилось спустя несколько месяцев. Счастье родила близнецов: мальчика и девочку. Когда молодая мать услыхала в первый раз крик новорожденных, то схватила их и так крепко целовала и прижимала к своему непорочному сердцу, что чуть не задушила их. Затем она поочередно начала поднимать их то одного, то другого кверху и таким образом любовалась своим единственным глазом на милых детей своих, держа их над головой. Жизнь ее с того времени стала полна. Ее душа, всегда парящая в высоте, так же как и ее зрение, теперь сосредоточивались больше на детях. Она кормила их зараз, у той же груди они и спали постоянно. А она, счастливая, сидела, прислонившись к чему-либо, смотрела на солнце, звезды, на бесконечное небо, хотя мысль ее и была обращена больше к детям.

Время шло. Дети Счастья подросли. Но тут умерла мать Счастья, а вскоре и отец ее переселился к Аллаху, конечно, только не на седьмое небо. Счастье осталась одна со своими грудными детьми. Она их питала долго одним молоком своим, кормила их таким образом даже и тогда, когда они подросли уже настолько, что в наше время их наверно давно бы стали учить письму и чтению. Кто кормил мать, чем питалась Счастье, — никому неизвестно. Сама же она, как вы уже знаете, добыть пищи не могла, а между тем она была всегда сыта и даже настолько, что могла кормить еще двух взрослых детей своих. Велик, велик Аллах! Деяния его — непроницаемая тайна для смертного. Итак, мать была вполне счастлива и все более и более любила и привязывалась к детям.

Но вот в один день поднялся какой-то странный, небывалый шум: что-то гремело, неистово кричало, стонало и охало. Это был именно тот день, когда набежали гяуры, или неверные, на их поселок. Кто были эти неверные, осталось неизвестным, — по всей вероятности, не христиане. Но кто бы там они ни были, только пришедшие люди оказались не ворами или разбойниками, которые обыкновенно грабят, воруют и убивают ночью, во мраке, как бы страшась дел своих; но эти неверные пришли среди дня, когда солнце ярко светило, а птицы весело пели на деревьях. Они пришли и зачем-то сожгли поселок, а всех жителей, в том числе и младенцев, которые могли ходить, увели с собой в плен. Имение же правоверных, тяжелым трудом нажитое, также стало добычею пришедших. Бедная Счастье не могла понять, что происходит вокруг нее, слыша стоны, плач, крик и проклятия, и только когда она увидала черные облака дыму, столбом поднимающегося кверху, к жилищу Аллаха, она протянула руки, чтобы схватить детей, так как почувствовала сердцем матери, что им грозит опасность. Но каково же было

ее удивление и ужас, когда она не нашла их около себя! Она громко звала детей, простирая руки и ловя что-то в пустом пространстве; но все было тщетно, — они не находились. Бедная мать в отчаянии упала наземь и вдруг почувствовала, что где-то вдали точно дрожала и гудела земля, и оттуда же слышались стоны и вопли ее детей, словно последние звуки затихающей бури. Она вскочила и порывисто бросилась вперед с распростертыми руками, как бы желая догнать и схватить детей. Что их украли, она не могла догадаться, потому что не имела понятия о воровстве и других пороках и страстях людей: она всегда видела ясное небо, и душа ее была также светла и прозрачна. Из земного же она знала одно только чувство беспредельной любви.

Итак, Счастье бежала среди дороги, смотрела в небо и разводила как помешанная руками, в то же время громко призывая детей.

— Милые дети мои! Где вы, где вы, мои дорогие?!... Придите, прижмитесь к моему холодеющему сердцу, к сердцу бедной матери!..

По пути вдруг она услыхала шаги, приближающиеся к ней. Скорбная мать вскрикнула от восторга, думая, что это ее дети. Но это были не они, а подошел к ней опять слепой Случай — отец детей, которого она, когда узнала, сильно оттолкнула и хотела идти дальше, но, раздумав, остановилась и спросила его:

— Слепой Случай! Где мои дети? Ты, может быть, знаешь, где они. Скажи мне!

— Да, знаю! — отвечал Случай. — Твоих детей украли.

— Украли! Как украли? Что такое украли?.. Но если украли, то где они? Я пойду к ним... Я обниму их...

— О, глупое Счастье! — иронически сказал Случай.— То, что воруют, прячут далеко-далеко и до поры до времени никому не показывают, в особенности же тому, у кого украдено. Вот почему тебе долго и долго не найти их.

— Случай! Укажи мне, по крайней мере, место, где я должна искать их, и объясни, что такое значит: украли. Говори скорее! Не томи меня!

— Хорошо! — ответил Случай и начал объяснять все, доселе Счастью не известное. Он объяснял ей не только о воровстве, но и обо всех пороках; но она была настолько выше всего порочного, что не поняла его и, перебив красноречивый рассказ Случая, проговорила:

— Скажи ты мне лучше скорее, где та страна, куда увели детей моих? Я пойду туда, я отыщу их.

— Слушай! — сказал снова Случай. — Я слышал стон, плач и звуки цепей, куда повели пленных; это там!.. — он указал рукой по направлению, которого не могла видеть Счастье.

— Где там? Что ты говоришь? Я не понимаю тебя! — тоскливо проговорила Счастье. — Толкни меня, по крайней мере, в ту сторону, куда я должна идти.

— О мать, отыскивающая детей своих! Ты счастливее меня: я слепой

Случай. Ты же говорила мне когда-то, что видишь в высоте бога и его ангелов. Спроси их! Им известно, где твои дети. Они видят с высоты все, я же не вижу ни высоты, ни низу, ничего не вижу. Я живу жизнью других живущих и не могу тебе показать той страны, где твои дети. Один совет могу дать тебе на прощанье, а именно: ищи их там, где больше смеху, веселья и неистовства, а также плача, терзаний и проклятий.

Слепой Случай замолк, а Счастье пошла по дороге, протянув вперед руки, как будто она играла в жмурки и кого-то собиралась ловить.

С тех пор и до настоящего времени бедная мать ходит повсюду и хватает всех, попавшихся ей навстречу, не разбирая пола, звания и возраста. Ухватив встречного, она любовно берет его за руки и только что прикоснется к нему, как земное счастье окружит и обовьет его — и во всем тому человеку удача, во всем успех, все исполняется по его желанию. А Счастье между тем поднимает и поднимает кверху попавшегося человека; поднимает его — и поднимает затем, чтобы взглянуть на него: не ее ли это пропавшее милое детище. Медленно, очень медленно, трепеща от волнения и радости, Счастье поднимает встречного; иногда же наоборот — порывисто, горя от нетерпения матери — взглянуть на свое дитя, она быстро взмахнет его кверху над головой своей и, усмотрев, что это не ее дитя, с отчаянием и омерзением отбрасывает в сторону поднятого. Она отбрасывает его так же, как человек, нечаянно схвативший жабу или змею.

— Понятно ли вам, друзья мои, почему так поступает бедная мать, называемая Счастьем? Если нет, то я вам объясню. Счастье помнит и представляет своих детей такими же, как они когда-то были, т. е. чистыми, непорочными, добрыми и невинными, как любовь отрока, и вдруг поднятый ею являет из себя что-то другое — не ее мечту о прекрасном и непорочном, а что-то гадкое, грязное, бессердечное, напитанное пороками, словно губка водой. Хотя все порочное непонятно для Счастья, но, тем не менее, оно вселяет ей инстинктивное отвращение, и она с ужасом бросает поднятого ею человека, только что окруженного земным счастьем, земной славой. Отбросив несчастного, мать идет дальше и дальше, без конца, и проделывает то же со всеми, кто ей встретится: будет ли то артист, генерал, купец или крестьянин, светская барыня, красивая актриса или модная камелия, — словом, со всеми, кого она поймает. И вот в чем горе наше: увернуться от нее человеку никак нельзя, так как она невидима для смертного.

— До сих пор еще Счастье не находит детей своих и не найдет их никогда. Бедной матери не суждено найти их, потому что если б и случилось ей встретить детей своих, то она все-таки их не узнает: так они изменились физически и нравственно.

— Вот, господа, та легенда, которую я хотел рассказать вам и которую советовал бы знать всем артистам для того, чтобы уяснить себе, насколько непрочно счастье, поднимающее артиста, не горящего чистой любовью к высокому искусству. Горе брошенному, увлекшемуся удачами и не подо-

зревающему, как они непрочны и откуда происходят. Вернуть же раз ушедшее счастье или отыскать его вновь невозможно; это еще труднее, чем одноглазой матери найти украденных детей своих.

— Я кончил мою легенду. Простите старика за болтливость — его естественную слабость... В новый год от всей души желаю вам полного успеха, не боюсь даже пожелать вам встречи со счастьем. Не увлекаясь модой, глубоко изучайте жизнь, а главное, горите всей любовью к искусству. При этом условии вы никогда не будете огорчены, будучи покинуты Счастьем. Правда, не лестно быть непризнанным детищем такой любящей и непорочной матери, как Счастье; но утешайтесь, друзья мои, тем, что Счастье есть совершенство — и совершенство, быть может, только потому, что она не могла наклонять головы, а, следовательно, и видеть окружающее; а также и потому, что Счастье имеет единственный глаз на макушке, который устремлен постоянно в небо, где живет бог.

Проговорив последние слова, старик торопливо встал, крепко пожал всем артистам руки и пошел, шмыгая мягкими подошвами по деревянному полу, слабея с каждым шагом и все бессильнее и бессильнее наклоняя голову. Что-то скорбное было в его лице, и, действительно, скорбь его была не напрасна: он уходил навсегда и к тому же в таинственную вечность, так как старик этот был не кто иной, как старый год, господа.

НАША ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Я очень люблю читать статьи по части художеств, — говорил Иван Иванович, нюхая табак и вытирая свой нос синим клетчатым платком. — И до того я, сударь мой, искусился в чтении их, что по одному тону статьи могу определить и довольно верно: в каких чинах автор, к какому обществу он принадлежит, какой имеет характер и даже какого поведения! Расскажу я вам, каким образом развилось во мне это пристрастие.

Иван Иванович опять понюхал табак, предварительно помявши его полными пальцами, запахнул халат и, повернув ко мне свою лысую голову, начал так:

— Лет двенадцать тому назад пригласил меня один академик на чашку чаю. Добрейший был человек, царство ему небесное! Таких честных, умных и кротких людей немного на свете.

Иван Иванович вздохнул.

— Итак, прихожу я к нему, народу собралось много, все больше живописцы и архитекторы; был между ними один учитель географии, веселая голова, да еще сын одной отошедшей в вечность знаменитости; сам-то он

был не только не знаменит, но даже неизвестно было вообще, что он делал и чем занимался, хотя по званию его знали за архитектора. Носил он усищи преогромные, но как ни были велики его усы, а нижняя губа его была больше: она далеко вылезала вперед, когда он говорил, как-то шлепала и походила на толстый край выдвинутой круглой пепельницы: так и хотелось стряхнуть туда папироску. Водку уничтожал он с остервенением и удивительно, где она у него помещалась: пьет, пьет и не пьянеет, только губа его больше шлепает, да из красных глаз слезы катятся.

— Вот-с, сидим мы все мирно, ведем разговор по душе, выпили на порядках. Добряк хозяин уж начал было затягивать „Ныне силы небесные", как один из живописцев завел речь о выставленных портретах г. З. Пошли толки: кто говорит хорошо, кто худо, один доказывает, что они сухие, безжизненные, что в них нет лепки и типичности, а другие приходят в восторг и находят, что они подперли бок даже самому Вандику, словом, пошел спор ужасный.

А губастый сидит молча и все пьет водку, а нет-нет взглянет на меня и улыбнется. Постой, думаю я, что-то будет. И действительно: через несколько минут, он молча, пошатываясь, вышел на середину комнаты, и, подняв торжественно руку, сказал громко: „Господа! Я... я Вам определю все достоинства г. З. — Он говорил медленно и тупо. — Я напишу статью, из которой Вы узнаете, как я понимаю живопись и какое ничтожество г. З!". Он замолк; губа его как-то глупо отвисла, а мутные глаза смотрели бессмысленно. Все смеялись, начали шутить над ним, пить за здоровье нового и будущего знаменитого критика. О споре забыли. Милый хозяин наш опять затянул что-то божественное, другие подхватили и составился хор. Вслед за гимном грянули „Вниз по матушке по Волге", а затем „Не будите меня молоду", спели еще несколько песен и разошлись. Добряк хозяин, порядком подгулявший, провожая гостей, целовал всех, а сам все, басом, фальшивя, затягивал „Силы небесные".

Прошло недели две. Раз сижу я дома и от скуки читаю „Арабские сказки", как входит ко мне сестра и говорит, что меня кто-то спрашивает. Я вышел. И представьте мое удивление! Передо мной стоял губастый архитектор. Я пригласил его войти, а он торжественно подал мне газету, прибавив громко и внушительно: „Прошу прочесть мною обещанную статью", — и указал место, подчеркнутое синим карандашом, где я прочел крупно напечатанное заглавие: „Разбор произведений г. З. Статья г. Ш.".

Я недоумевал и даже как-то сконфузился, и, чтобы выйти из этого положения, велел подать водки. Новый критик с жадностью на нее накинулся, выпил графин и ушел. А я принялся читать статью. Творец небесный! Чего в ней не было написано, и как только он не называл художника: и сапожником, и плотником, дескать, по ватерпасу и по мерке он пишет портреты, и что талант-то у него самый мизерный, нищенский, и вдохновение-то свое скудное он черпает из вонючей Яузы, словом, разругал он г. З. так, как вряд ли бы стал ругать своего злейшего врага

(втопал в грязь и придавил бревном, по выражению городничего). Читаю я его ругань, а сам думаю: вот, вот хватит и все его многочисленное семейство. Нет, удержался, семьи не тронул, зато уже самому досталось! И как ловко это он ко всему придрался, ведь знаю, что врет и ругает зря, ни за что, а читаешь, словно за дело. И так это все смешно и весело, что хохочешь, как сумасшедший. А вслед за первой статьей он написал вторую и совсем было сделался настоящим критиком, да господь, видно, сжалился над художниками и прибрал его. Ну-с, прочитал я его первую статейку несколько раз, и что же Вы думаете, точно отравы он принес вместе с ней: с тех пор получил я какое-то пристрастие к ним, читаю с такой жадностью, точно губастый пьет водку. И уж смешно же иногда пишут, просто потеха.

Иван Иванович засмеялся, оскалив свои гнилые зубы, и сильно понюхал табаку, а затем, хлебнув холодного чаю, сказал:

— Так-то, батюшка мой, и отравил меня этот шельма, царство ему небесное! Точно запоем стал я читать художественную критику. И не вру Вам, что узнаю по статье, какого сорта птица ее написала. „Видно, государь мой, птицу-то по полету, а доброго молодца по ухваткам,“ — говорит пословица.

Если начинает, например, писать критик в больших чинах, человек, этак, знаете, высокий, то пишет он резко, внушительно, определяет все сразу, никогда не ошибается, ставит всякого на свое место, предписывает законы всем и каждому, мнений никаких не признает, возражений не терпит, за противоречия сейчас потянет к суду, да еще потребует за оскорбление. И пишет больше так: „Мы узрели! Мы сказали!“, а если еще прибавить: „Мы решили“, ну тогда и конец: соглашайся, да и только. Уважения ни к кому не имеет, а если и возводит кого в гении, то все-таки так, что новому гению-то остается только кланяться, благодарить да целовать его протекторскую ручку, а он снисходительно говорит: „Не надо! Не надо! Зачем это! Можно и без этого!“ — а сам протягивает обе руки. Художников он ругает реже, чем других, разве так, при случае, назовет болваном или невеждой и скажет жанристу, например: „Тебе бы, брат, лучше быть пейзажистом“, — а пейзажисту назначит быть сценаристом или историком. А то предназначит, кому какие сюжеты нужно писать. И все это с полным убеждением и уверенностью в себе. Вообще к художникам он снисходительнее, но зато Академии и другим учреждениям от него достается. А особенно потешно, как начнет он катать Академию и лиц, в ней находящихся. Боже! Боже! Сколько ума и находчивости! И какая смелость! А как уж он ругает ее за все: и за порядок, и за злоупотребления, и за отсталость, и за рутинное преподавание, ругает и профессоров и учеников, ругает и начальство. Словом всех умоет без мыла, а чисто будет. Но больше всего достается профессорам. О некоторых он так-таки прямо и говорит: „Это вот две старые клячи совсем одурели, они уже начали разлагаться, гоните их вон и замените их вот такими-то!“. Начнет предписывать, как

поступать, точь-в-точь исправник волостного правления. „Вы, мол, такого-то художника извольте наградить, дайте ему такое-то звание, а этому такое-то, а вот этому болвану ничего: он не стоит, и Академия на него опереться не может“. И, ведь, что удивительно: слушаются его, молчат и даже исполняют.

Если же критик в чинах еще небольших и притом считает себя принадлежащим к изящному обществу, то никогда не ругается, особенно резкими, бранными словами, а деликатно, даже изящно заметит художнику, что у него нет художественного чутья, нет наблюдательности, нет дарования и вообще „вы, дескать, дрянь порядочная“; но все это мягко и вежливо, читать приятно. И порицает-то его, точно хвалу воздает, а уж, когда начнет хвалить, и, боже, чего только он не наскажет! Каких слов не приберет: „Я только начал верить в существование русского искусства с того времени, как увидал Ваши картины. Вы бесспорно первый портретист мира“, — скажет он с увлечением. И все это плавно, мягко и до крайности приятно. А начнет, например, хвалить чей-нибудь морской вид, и какой только поэзии он туда не напустит и, наконец, музыкально-живописным аккордом назовет. Если же художник написал по случайности полдень, а ему для поэзии непременно нужен закат солнца, то, что Вы думаете, он сделает? Вот находчивость-то, государь мой! Он, не затрудняясь, будет описывать закат и именно такой, какой он себе представляет и даже скажет, как роскошно последний луч солнца осветил уже потемневшую воду. „Вода живет, — говорит он восторженно, — и от нее даже пахнет морской солью“. И так опишет, глядишь — полдень, а кажется есть в нем что-то вечернее.

А иногда и так бывает. Начнет идеальный критик говорить с омерзением о грязном жанре или драматической кровавой картине. „Боже мой! Боже мой, — скажет он, — зачем эта кровь? Зачем этот трактир — вертеп разврата, с собранием отвратительных оборвышей? Неужели это может быть сюжетом для эстетически развитого художника? Мы в жизни и так много имеем тяжелого и терзающего наше сердце. Дайте хоть минуту отдыха! Дайте нам минуту наслаждения! Представляйте радости и счастье, возвышайте нашу душу восторгом, а не убивайте ее, и без того истерзанную представлением страдания людей, самих виновных в своем страдании. Но мы надеемся, что со временем нас поймут художники и представят нам ряд милых, изящных и симпатичных картин, а не тех безобразных и тривиальных сюжетов, которые оскорбляют наши чувства“.

Эти критики очень симпатичны. Я люблю читать их статейки: так они пишут и говорят мягко, а иногда даже жалостно, читать приятно. Это не то, что чиновники, кричащие во все горло: „Слушай команды!“. Или мелкота, безымянные писаки, лающие, словно голодные собаки.

— Каково батюшка! Мы и стишками умеем поговаривать, — сказал Иван Иванович и засмеялся. А затем погладил свою лысую голову и продолжал так:

— Как ни симпатичны эти идеальные критики, но больше всего люблю я читать критиков третьего разряда (вроде губастого). Это народ бедовый,

ругают все и всех за что, про что — никому неизвестно, да они и сами-то должно быть не знают. Искусства не любят и не понимают, да вряд ли его и признают, а пишут для того, чтобы посмешить публику и получить гонорарий, и чем смешнее и забавнее статейка, тем, понятно, ее больше и читают, а они получают известность бойкого художественного критика. Так вот эти-то критики уже и потешают меня. И иногда такие каламбурцы подбирают, что читаешь и хохочешь, как сумасшедший, ну словно в балагане.

Итак-с, когда попадется мне такая статейка и начну читать ее. Стоп! Зову сестру. Поди, говорю, полюбопытствуй, будет тебе в божественные книги смотреть, ты вот здесь послушай. Придет старуха, сядит вот тут на диване (и Иван Иванович показал рукой на то место), а чтобы не сидеть праздно, начнет чулок вязать. И слушает, и вяжет, а сама грустно головой покачивает. Вот не любит она тоже, как о. Афанасий, ни над чем посмеяться: удивительно, да и только! Ну, да не в том дело.

Такие-то статейки для меня дороже всего на свете, они и пишутся-то, я думаю, собственно, для потехи. Там валяют все без разбора: картины перемешают, фамилии перепутают, а то и совсем переврут. Например, начнут ругать картину № 5 — пейзаж, вид из какой-то губернии. Ну обругал, и так, знаете, обругал, что уже хуже нельзя. Пойдем посмотреть, за что, мол, такой-то пейзаж ругают. Сыщешь № 5 — глядишь, а там спящая девка лежит, и даже и не в лесу, а просто на лавке, и одета дубленым полушубком, а пейзажа-то и нет, да и не бывало. Тьфу, ты, шельма, и тут надул, да ведь как еще ловко. Ну и весело! А то, примется ругать картину Петрова, тоже обругает, как следует. Долго Петров не забудет об сем отзыве. Пойдешь отыскивать Петрова и его творение. Ходишь — нет картины Петрова! Что за дьявол! Давай искать по описанию сюжета. Стой! Нашел что-то похожее, не совсем, но догадаться можно. Смотришь на надпись — картина Попова. Ах, ты удалая голова! Он и не потрудился фамилию-то прочитать как следует!

Наконец, вытерев катившиеся из глаз его слезы, продолжал:

— А так, знаете, глядит начинается с буквы П, ну, и давай ругать Петрова, благо фамилия Петров встречается у других критиков.

Да такие ли еще курьезы бывают, просто потеха. Начинается, например, разбор картины № 10 и с таким пониманием, кажется, это строго и серьезно. „Посмотрите, — говорит он, — на это суконное небо, на эту чахлую природу, бездарной рукой воспроизведенную, на эти безжизненные и деревянные фигуры крестьян, на это раскидистое дерево, похожее скорее на кочан капусты, под которым они сидят".

Идем смотреть на № 10. Стоишь перед картиной и только руками разводишь, да со смеху покатываешься. Ах ты, отчаянный! Ей-богу, не удержусь, захохочу на всю выставку (и Иван Иванович хохотал от одного воспоминания), действительно есть и картина и две фигуры, но написаны не крестьяне, а генерал с попом, да и сидят-то они не под деревом, а просто на песчаном берегу рыбу удят. Ищем, где же дерево, похожее на капусту, — нет его,

нигде нет! Ах, ты, шут гороховый! Это он значит сюрпризец подпустил читателю. Ну что Вы скажете на это? А? И зачастую бывает так, что в критике написано то, чего и не найдешь в картине, да и в картине художник не думал писать того, что представилось веселому критику.

Есть еще критики, уже к какому их обществу людей причислить, кто они и откуда, право, не знаю. Они что-то вроде губастого, пишут безвозмездно. А если нигде не берут их творчества в журналы и газеты, то печатают отдельными брошюрами и оделяют ими своих знакомых. А ядовито тоже иногда пишут. Но я все-таки не могу понять, зачем они пишут: денег им за их статьи не платят. Если затем, чтобы показать свое понимание в искусстве, то напрасно, они знают, и очень хорошо знают, что им никто не поверит, — хоть они образ сними со стены. Просто, я думаю так, зря пишут, как лакей майора Ковалева плюет в потолок и доволен тем, что попадает в одно и то же место, так вот и они довольны тем, что сумели обругать, если не картину, то самого художника. Да-с, сударь мой, много уж развелось художественных критиков.

Но раз привел меня даже в умиление один критик. И до того возбудил аппетит во мне, что я насилу дождался, когда Мавра щи принесет. Вы не смейтесь, божусь Вам, что это правда. Вот это, батюшка, так талант! Я только одного мнения, что додуматься до такой идеи нельзя, а это просто случайность. Какой-то счастливейший случай натолкнул его на это, или жена пришла спросить, что заказывать на обед перед тем, как он собирался писать статью о выставке, или Авдеевская книга лежала перед ним и навела его на эту мысль, или что-нибудь другое в этом роде, а так, я убежден, не выдумаешь. Представьте себе! Он всю выставку сравнил с роскошным обедом: все неудачные картины — с подгорелыми кушаньями, морские виды с супами, зимние пейзажи с заливными, а летние — с салатами, жанр — отнес к соусам, баталии — к жареной дичи, а вместо пирожного подал, как Вы думаете, что? Не угадаете? Ни за что не угадаете! Христа Крамского! Вот, что-с! Это так ловко! Не правда ли?

А то в другой раз он сравнивал выставку с армией, тоже очень хорошо, гениальный ум, изобретательность удивительная, фантазия широкая. Впереди, говорит он, идет солдат большой, большой и несет он знамя, тоже очень большое, это он предводительствует войску. За ним идут и горнисты и флейтисты, в разные инструменты играют, а за ними войско румяное, бодрое, здоровое, шинели крепкие и сапоги без заплат, а еще подальше плетется арьергард и там уже всякая всячина: и цирюльники, и портные, и разные мастеровые! Не правда ли, хорошо? А как картинно! Так и видишь идущее войско. Как жаль, что этот критик не живописец: с его бы воображением только создавать картины. Как жаль, что очень часто бывает, люди занимаются не той профессией, для которой они рождены, и обиднее всего то, что это великое воображение погибает даром.

А то еще я знал критика, бедовый был человек. Царство ему небесное,

умер сердечный, а человек был неукротимый и что только он не выделывал на своем веку, умопомрачение! Слыл он за бойкого писаку, отчаянного гуляку и беспардонного критика. По его статьям можно было всегда точно узнать: с кем он из художников в ссоре, а с кем в дружбе. А если с кем сойдется хорошенько, то сейчас же напишет статью. Начнет ее так: „Любезный читатель! Были ли Вы на выставке? Если нет, то спешите и посмотрите на вновь выставленные детские головки. Это произведения г, положим, X. Если у Вас хоть капля здравого смысла и эстетического вкуса, то Вы не сможете не залюбоваться этими талантливыми произведениями. Великий Грез, встав из могилы, преклонился бы перед ними и позавидовал бы г. X.“.

А через несколько месяцев появлялась статья и начиналась так: „Любезный читатель! Были ли Вы на выставке? Если были, то, вероятно, заметили выставленные головки г. X. Может ли быть что-нибудь бездарнее этих произведений? Это пародия на искусство! Это трафаретная живопись! Это несчастный художник!“. И так далее, далее. Так и знаешь, что г. Р. поругался с г. X. А помирятся, опять расхвалит, и так ведь хвалит, что читать совестно, уж мне совестно, каково же должно быть художнику. Я думаю, рад он, сердечный, лучше сквозь землю провалиться, чем слушать такие похвалы.

Иван Иванович как-то при этих словах завозился на кресле и продолжал скороговоркой:

— Не привел бог ему пожить побольше, а нам почитать произведения его бойкого пера, а ругался он очень язвительно.

А то еще бывают критики-сатирики. Начнет, так называемый сатирический критик, разбирать картину стихами, тоже чрезвычайно смешно. Там уже распространяться нельзя, да и не всегда можно сказать то, что хочешь, а говорит, что под рифму подходит и выходит все-таки хорошо. Вот и описывает он, положим, картину „Гектор и Андромаха“, а в голове-то все держит: как бы обругать поядовитее и художника и картину. Пишет, пишет и кончит свое стихотворение так: „Твой Гектор похож на хожалого (заметьте сравнение), твоя же Андромаха, о боже, совсем ни на что не похожа“. А то, не стесняясь, иногда просто так хватит:

Я думал, глядя на треножник,
Где помещались три этюда,
Ты оттого только художник,
Что уж рисуешь очень худо.

Каково, батюшка, обрабатывают! Но видите, критик не знаком со всеми техническими названиями предметов, относящихся до живописи, да и рифма не позволяет. Ну, называет мольберт треножником, об масляной живописи говорит, что рисует. Да, сказать по правде, спросите любого критика, в которой, мол, руке держат палитру, когда пишут картину. Уверяю Вас, что никто не знает, а если и скажет, что в левой, то по догадке.

А преловко они иногда острят и над картинами и над художниками.

Я помню, тот же старик начал с картины „Отелло и Дездемона". Писал, писал и кончил так: „О, повинись судьба закону, Отелло твой весьма смешон, хотел зарезать Дездемону, да лишь себя зарезал он" (т. е. художника-то). — Иван Иванович с удовольствием понюхал табаку и продолжал.

— А то он одного профессора хватил так, что, верите ли, я целый день хохотал. Вспомню, вспомню и опять смешно станет, а сестра сердится. Заглавие своим стихам он сделал такое: „Голова осла профессора Ш.". И ведь, эдакая бестия, знаков препинания никаких, а потом и начал и начал — ловко, бойко, ядовито, просто прелесть. А кончил так: „О! Скудно вдохновенье, творящее ослов".

Иван Иванович захохотал своим закатистым смехом, весь колыхаясь.

Вера Ивановна встала. Она сидела во все время нашей беседы на диване и вязала чулок. Иногда же при смехе Ивана Ивановича, вскинув свои грустные глаза, она как будто желала что-то сказать, но, не произнося ни слова, медленно опускала голову и принималась опять за свою работу. Но вслед за последними словами и хохотом Ивана Ивановича, она быстро встала, подошла к нему близко и, смотря в упор на него, сказала довольно громко и твердо:

„Брат! Неблагородно смеяться над ближним. Не смешно, а грустно становится от твоего рассказа. Но я не считаю себя в праве молчать и не высказать моего мнения. Я ограничусь этим, хотя желала бы сказать больше. Какого бы ты был мнения, если бы разумный человек стал издеваться над слепорожденным или немым и вообще над недостатками, видимыми на людях. Достоин ли такой человек называться вообще человеком? — она говорила энергично, медленно разводя руками, глаза ее горели. Высокий рост и иссохшее тело делали ее похожей на видение, правдивое и строгое. — Ты бы не задумался осудить зрелый ум и показать недомыслие, — продолжала она, — здесь ты весело смеялся над художниками, а чем виноват он, если бог вложил в его душу любовь к искусству и не дал творческого дарования. А велика, должно быть, любовь его, если он с полным самоотвержением, не получая почти никакого вознаграждения за труд свой, работает без устали, с одной надеждой достигнуть со временем ни славы, нет, это удел немногих, а просто умения воспроизводить то, что он любит. Ты скажешь: работай и не выставляй публично свой труд до известного усовершенствования. А если он никогда не достигнет до известного усовершенствования, тогда что? Да скажи мне на милость, где граница, где та черта и кто ее указал, переступив которую, он бы смело мог показать свой труд публично? А знаешь ли ты и то, что из массы выставляющих, быть может, две трети выставляют не для прославления своего имени, а из крайней необходимости продать свой труд и на вырученные гроши купить красок да кусок хлеба для себя, а иногда и целого семейства, которое он кормит. И нередко единственная крайность заставляет художника выставлять и продавать свой труд, которым он сам не доволен, свои дорогие, заветные думы, с которыми ему жаль расставаться.

А сколько муки, когда он продает свои картины! „Хороша Ваша картина, — говорит ему покупатель, — да жаль, что Вы еще неизвестны, а мне очень нравится. Эх! Кабы она была такого-то, я бы купил с удовольствием". А то просто спросят: „Какая цена?". Художник назначает цену, а в ответ слышит: „Нет-с, извините, я по такой цене картины не покупаю. Я покупаю только дорогие вещи, а Вашей купить не могу". Вот нашелся еще покупатель, но этот дает одну треть им назначенной ничтожной цены. Начинается торг. Художник сбавляет, а покупатель уперся и еле-еле рубль накинет. Долго торгуются. Раз пять краснеет и бледнеет художник и, выбившись из сил, отдает свою картину по той цене, какую предложил ему любитель и поощритель искусства — русский меценат. Оба довольны: один, что дешево купил, а другой, что, по крайней мере, кончилась эта тяжелая сцена.

А когда выставляет на выставку молодой художник свой труд, то не похвал ему нужно, не их он ищет, он искренне бы благодарил и глубоко уважал бы того, кто серьезно бы и с уважением отнесся к его труду. Но нет такого человека! Серьезно относятся только к некоторым лучшим произведениям, а над остальными смеются, над ними издеваются. Чем виноват художник, если любовь манила, а случай натолкнул его, и он пошел по этому тяжелому пути. И не может он сойти с него и бежать, бежать далеко, без оглядки, и приняться за другой более благородный труд. Но для другой деятельности он не подготовлен: ремесло требует изучения, а другие занятия — нужных знаний. Бедные же родители его ничего не могли дать ему, кроме жизни. А сам он с детства заботился только о том, чтобы не умереть с голоду. Любовь же к искусству почему-то выпадает именно на долю бедных. Из ста, занимающихся искусством, девяносто пять живут как птицы небесные, чем и как, одному богу да ему самому известно.

Но, — сказала Вера Ивановна и даже подняла руки кверху, — неужели не найдется человека, хотя бы в будущем, истинно любящего искусство, который бы, не становясь на ходули и не принимая на себя шутовской вид, а серьезно, просто и искренне отнесся бы к делу художника и разобрал его произведения с полным уважением к труду его и со знанием дела. Я уверена, что такие критики будут, но они должны, прежде всего, сами вполне понимать искусство, а потом быть честными, добрыми и беспристрастными людьми. Ведь нельзя же в самом деле объехать галереи Европы и, осмотрев кое-как находящиеся там произведения, воображать, что я уже постиг искусство и могу не только разбирать картины, но создавать законы для искусства: такое самообольщение не естественно в здравомыслящем человеке. Искусство так легко недается. Многие годы нужно работать над ним, чтобы понять то, что невозможно объяснить словами, одни его технические условия имеют бесчисленное множество видоизменений, не говоря уже о его духовной стороне. Судите же сами, сколько должно быть дерзости в тех, кто, сам не зная искусства, берется разбирать произведения человека, специально занимающегося им многие годы.

Да уж если бы критики серьезно относились к делу, было бы еще извинительно, а то с высоты своего непонимания еще предписывают, как поступать художникам, или издеваются над ними. Читать наши художественные критики становится совестно и, веришь ли, я, по крайней мере, краснею за тех, кто их пишет. И какая же должна быть детская наивность или тупоумие, чтобы смеяться над ошибками и недостатками ближнего. Ведь не скажешь же ты в глаза человеку, что он урод, что он безобразен, не повернется твой язык и не допустит тебя до того совесть. А критик печатно целому миру заявляет о недостатке духовной стороны художника, издеваясь и глумясь над ним, называя его полнейшей бездарностью, творцом без ума. И это право говорить так о других взято не чем иным, как наглостью и бесстыдством.

Велика ваша заслуга, художники: позором своим вы просвещаете ваше отечество, и вы, осмеянные, заслуживаете если не венок лавровый, то венец мученика.

И представляется мне художник одиноким, глядящим круглыми своими кроткими глазами, а со всех сторон хохочет над ним толпа грубых людей. Уронил он альбом свой, где заносились все его мысли, и разлетелись листы и понеслись, уносимые ветром, а толпа хохочет и над ним и над потешником, что уронил его в грязь на посмешище праздного народа. „Молодец,— слышится с одной стороны. — Так его и надо, вали еще!“ — раздается с другой, и кругом его необузданный смех и восторг. А он стоит, беззащитная жертва, не имея сил двинуться с места. Кто-то для потехи толкнул его в спину, он инстинктивно побежал вперед, а толпа хохочет вслед ему неистовым смехом. И долго раздается в ушах его этот терзающий его душу смех. Где и у кого искать и просить защиты? Он поднял глаза к небу и просит его, но оно безмолвно глядит на дела людские. И клянет он час своего рождения и случай, натолкнувший его на эту тернистую дорогу. И горько обманутый жизнью он просит, как отрады, скорой смерти. Бедный страдалец! Ты не ошибся на сей раз. Она успокоит всех и тебя, и тех, которые над тобой издевались“.

Она замолчала. Лицо ее было бледно, нервная дрожь пробегала по ее телу. Я взглянул на Ивана Ивановича. Он сидел, наклонив голову, и улыбался и, подметив мой взгляд, лукаво подмигнул мне на сестру.

Вскоре, простившись с Иваном Ивановичем и Верой Ивановной, я шагал по улице. Ночь была морозная, снег хрустел под ногами, блестящий месяц освещал бледным светом пустынную улицу. А в уме моем все теснились образы и смешливого Ивана Ивановича и смиренной и сердечной сестры его Веры Ивановны. И приходили мне на память слова Багрова: „Много сказано правды, но и наврано много“.

МЕЛЕНТЬИЧ-ПТИЦЕЛОВ

О, посмотрите! Ради бога, посмотрите! Как хорош Мелентьич, отправляющийся на свою любимую охоту — ловить прилетных птичек! Он увешан парусинными и деревянными клетками, где в некоторых сидят, или скорее бьются, эти крошки. Одет уж он не так, как мы видели его в городе, на пустынной улице, напевающим: „Благословен еси господи!“. На нем не купеческий казинетовый сюртук, а какая-то длинная, необыкновенная хламида, с заткнутыми за ременный пояс полами, что-то вроде поповской рясы с громадным воротником. На голове его также редкостный, куполообразный картуз с большим четырехугольным козырьком и кисточкой на верхушке. В руке палка с железным, вроде копья, наконечником. Через одно плечо висят лучки и сети, а через другое — кожаный мешок с провизией для себя и птичек, за пазухой бутылочка с известным живительным напитком. Юн, бодр и весел наш Мелентьич среди проснувшейся природы. Довольство светится в глазах его и видится во всей фигуре; на душе его легко и радостно! Дышится полной грудью, а сердце так приятно щемит и замирает. К тому же он пропустил малую толику, и, дожевывая колбасу, принялся уже что-то мурлыкать.



Птицелов. *1871*

Исчезла шумная Москва за холмами и рощами. Кругом так хорошо, светло и просторно! От земли подымаются, как легкий дымок, испарения: она отходит, отогревая свою застывшую поверхность в теплых лучах весеннего солнышка. Все видимое дрожит, движется, как бы дышит. А в голубом небе, разметнув крылья, плавно несутся в воздушном эфире крупные коршуны, зорко высматривая добычу. По овражкам, рытвинам, дороге журчит вода, точно с кем-то перешептываясь. Воробьи, щебеча и чирикая, весело, суетливо перелетают все дальше и дальше по мере приближения Мелентьича, а он идет, сияющий, довольный, и младенческая улыбка не сходит с уст его. Ему все это давно знакомо: и ручей, и воробьи по дороге — все, что он видит и слышит — все близко, дорого его сердцу. Так бы он и обнял все и слился бы со всем! Ведь он сам частица восторга и блаженства земного!

Показалась и знакомая роща, где много птиц, и Мелентьич так удачно их ловит. Там второй дом для его охотничьего сердца, там нередко он ночует, одинокий, среди таинственной природы, пахучих цветов и резвых птичек, улегшись на жесткое, холодное ложе и завернувшись в свою чудную хламиду.

С вечера выслушает Мелентьич голосистых певцов знакомой рощи и наметит лучших; затем набожно перекрестившись, прочитав молитву: „Да воскреснет бог!“ — ложится спать. А проснувшись еще до зори, расчистит точёк, т. е. очистит землю от сухой травы и прутьев; приладит лучёк с сеткой, чтобы накрывать им проголодавшихся птичек, которым для приманки насыплет на расчищенной земле (смотря по надобности) просяного, конопляного или другого какого семени, а то муравьиных яиц. Иногда же привяжет за ножки к колышку посреди точка́ птичью самочку, тем и прельщает, заманивая к себе в сеть страстных поклонников красоты птичьей. Сам же заляжет в куст, устроив из него что-то вроде шалашика, куда протянет коварную бичевку от коварного лучка́. И лежит в своей лесной квартире долго-долго, почти не шевелясь, зорко смотрит, слушает и ждет, когда прилетит резвушка, еще не искусившаяся в хитростях людских. Иногда он лежит неподвижно, на одном месте, на одном боку так долго, что начнет дрожать от сырости, как в лихорадке, а подчас совсем застынет, даже онемеет и ворчит на проклятую судорогу, которая его мучит и не дает покоя.

Ловит он также птиц на пойло. Это делается так: среди лета, в самый знойный день, когда жарко, душно даже в самом тенистом лесу, когда томит всех нестерпимая жажда, когда тяжело дышать как человеку, так и зверю, и птице; когда все растущее блекнет и вянет от засухи, а робкий заяц в бешенстве вскакивает со своего ложа и, сев на задние лапки, начинает передними с неистовством отмахивать одолевающих его мух, комаров и мошек, тогда Мелентьич отыскивает родничок и, прорыв его, устраивает что-то вроде маленького колодца, который, наполняясь водой, светится, блестя наподобие брошенного кверху стеклом круглого зеркальца. У этого-

то соблазна приладит он свой погибельный лучёк, а сам ложится в куст, прикрывшись листьями, и ждет с нетерпением истомившихся жаждой певцов рощи.

А в лесу все так тихо, так торжественно тихо, что слышится не только жужжание пчел где-то вдалеке, но даже, как ползуют лесные муравьи по засохшим листьям, шелестя ими. Моментами кажется, что все вымерло, вся роща как бы навеки уснула. Но не спит только Мелентьич: он непрестанно ждет своей добычи, как ястреб, зорко высматривая кругом. И вот прилетает маленькая, премаленькая птичка, егозливо садится на ветку, близ ямки, наполненной водой. Ей жарко, она тяжело дышит, открыв ротик и распустив свои пестрые крылышки; она жадно, с нетерпением глядит на студеную воду. Вода манит, влечет ее, но что-то страшное, быть может, предчувствие неминуемой беды и неволи удерживает крошку. Иначе трудно думать, потому что Мелентьич так искусно схоронил следы своего пребывания в роще. А резвая птичка все сидит на ветке в нерешимости, порывисто повертывая головкой, точно соображает и высматривает, как бы ей утолить мучительную жажду. И вот она надумалась: взмахнула крылышками и исчезла в кустах, не поддавшись соблазну. Но на долго ли? Не прошло и минуты, как она снова появилась на ветке. Мелентьич же лежит, весь превратившись во внимание, даже дышать перестал. А маленькая птичка, не будучи в силах совладеть долее с мучительной жаждой, быстро опять спархивает с ветки, устремляется к блестящей воде и, коснувшись, даже всколыхнув ее зеркальную поверхность своими крохотными крылышками, быстро возвращается назад, садится над самой водой, открыв ротик и высунув остренький, как булавка, язычок свой. Так проходит еще минута общего томления.

Вдруг Мелентьич, точно сумасшедший, бросается через куст, а между задернутой сетью и водой уже неистово бьется бедная птичка, то погружаясь в холодную воду, то поднимая кверху сеть, стараясь освободиться из неволи и тяжелого плена. Но сеть крепка; Мелентьич же ловко, быстро просунул под нее свою руку, в миг поймал маленькую пленницу и, торжествуя свою победу, несет сажать ее в парусинную темницу. Он бережно держит пойманную в своей жилистой, жесткой руке, любовно глядя на нее, и чувствует, как сильно, как мучительно часто бьется ее крохотное, непорочное сердечко и каким страхом и тоской блестит маленький, черный глазок. Заключив пленницу в темницу, Мелентьич опять настороживает свою сеть и снова ложится в засаду, оправдывая вполне пословицу: „Охота пуще неволи“. Так и продолжается эта ловля до того времени, пока спустится горячее солнышко, когда схлынет жар; все растущее оживится и начнет дышать свободно, наполняя рощу ароматом различных пахучих цветов, а бедные птички перестанут томиться мучительной жаждой. Тогда Мелентьич собирает все свои охотничьи принадлежности, и, если лов был удачен, то веселый, счастливый возвращается домой с бьющимися в клетках вновь пойманными птичками.

МЕДОВЫЙ ПРАЗДНИК В МОСКВЕ

Шумно и пыльно на Трубной площади в Спасов день первого августа. Еще накануне заметно там больше движения, шуму и ругани, чем в обыкновенное время. Ни один проходящий не упускает случая потаскаться там и позевать на торопливые приготовления к празднику. Мальчишки растрепанные, грязные, еле одетые и босые стоят толпами и, погрузясь в созерцание, забыли все: и строгий наказ хозяина „слетать мигом", и неизбежную награду за медленное исполнение возложенного на них поручения. Да и нельзя было не забыться и не засмотреться на все то, что делалось в этот день на Трубной площади...

Загорелой рукой, перепутанной жилами, как веревками, вооруженный ломом пуда в два, неугомонный человек выворотил камни, покойно лежавшие на площади, а в вырытых ямах воздвиг и укрепил круглые столбы. На столбах легли перекладины; сверху поставили стропила и не прошло часа, как явилась на свет божий наскоро сколоченная и обтянутая парусиной клетка, называемая балаганом. За первым балаганом построился второй, а за ним третий и так далее и далее потянулись они справа до самой горы, где начинается бульвар. Налево же поместились коньки всех цветов

и видов; между ними повисли, качаясь, зеленые ящики, называемые каретами; подальше стояли качели, а еще дальше приютился и Петрушка с вечными своими — цыганом, квартальным и доктором. За качелями скромно в сторонке построились походные рестораны с продажею пива и меда. Итак, вся эта местность превратилась в какой-то игрушечный город. Посреди его была и площадь. Только не собор красовался на ней и не присутственные места окружали ее, а посреди всего этого разнообразия воздвигся и прикрепился к земле в виде паутины так называемый колокол с продажею зелена вина — красы буйного веселья всякого народного гулянья.

Наступил вечер. Все это временное население устроилось, измучилось и, промочив свое засохшее от крику, ругани и пыли горло, мирно отдыхало. Любопытные останавливались реже; мальчишки получили воздаяние по делам своим и, всхлипывая, засыпали. Все успокоились в сладкой мечте о завтрашнем удовольствии, а кто и о выручке.

— Какой-то на завтра господь денек пошлет? — думает магик, превращающий цветы в яичницу и проделывающий разные другие волшебства.

— Солнышко село чисто, не в тучу! Быть вёдру!—Он еще раз взглянул на потемневшее небо, набожно перекрестился и лег, а вскоре заснул так покойно, как будто и не волшебник.

Все затихло и только кое-где выли привязанные собаки.

Наконец настал давно ожидаемый день. Солнце как будто запоздало в это утро, и когда оно выглянуло из-за домов и церквей, то застало всех в страшной суматохе. Лучи его, скользнув по крышам больших каменных домов, осветили боковую сторону крайнего балагана и, пробившись внутрь его, уперлись в занавес, на котором был изображен кто-то вроде Аполлона с лирой в руке и с искалеченными ногами. Другие же лучи скользнули по работавшему народу, прихотливо осветив где лысую голову, а где вскинутые кверху руки с блестящим топором. Все грязное казалось цветным и ярким. Вся площадь, изрезанная тенями, была как будто вызолочена под чернеть. Валявшиеся стекла блестели как бриллианты, а столы с лотками и корытцами, наполненными сотовым медом, казались кусками золота. Повсюду, жужжа, летали пчелы и жалили всех, защищая плод трудов своих; но, выбившись из сил, они тут же падали и хрустели под ногами хлопотавших хозяев. По всей площади пахло медом. Но никто не обращал внимания ни на что, кроме своей работы; да и работа кипела и приближалась к концу. Кой-где еще приколачивали последнюю доску, отпиливали конец длинного шеста, поднимали вывески с такими изображениями, на которые смотреть было страшно. А солнце поднималось все выше и выше.

Вот загудел большой колокол в соседнем монастыре, мягко разливаясь по всему окружающему пространству. Кончилась и обедня. Народ толпами повалил к месту удовольствия. Со всех сторон бегут мальчишки. Посмотрите направо. В облаке пыли, задрав кверху голову, как дикий конь, преследуемый стаей голодных волков, несется с товарищами в растерзанном

виде и без копейки денег кривой Петька. Он порывисто дышит от быстрого бегу, а в груди его хлюпит, как в грязном чубуке. Чудак этот Петька! Карманы его полны бабок. Он худ и грязен, зачастую и голоден, но всегда доволен и весел. Многие дивятся, как это не оторвется его голова: так тонка и худа его искусанная блохами шея. По ремеслу — он сапожник, по званию — мещанин. Все бьют и ругают Петьку, и только ленивый его не трогает.

— Поди сюда, кривой черт! — кричит ему какой-нибудь загулявший из их артели мастер.

Петька уставится быком и не двигается.

— Поди, говорят тебе!.. Сам встану, хуже будет!

Петька делает шаг вперед и опять останавливается.

— Подойди ближе! Ну еще... еще! — рычит пьяный мастер, и схватив за волосы, всегда всклокоченные, отреплет ни за что ни про что мальчишку, так, ради шутки. Если не очень больно, то Петька только обругается, а если уж очень невтерпеж, то уйдет под лестницу и горько там плачет. А наплакавшись вдоволь, опять весел и даже счастлив и, не умывшись, так и бегает полосатым от катившихся слез по грязному лицу. Все бьют Петьку, от кухарки до хозяина, а иногда даже и посторонние; но он не тужит. Вот несется теперь Петька на гулянье в полном восторге, а волосы его все еще не улеглись от последней трепки.

Плетется и Калиныч, старик из богадельни. Ему уже лет за семьдесят. Он слаб на ногах, да и плоховато видит, но не пропускает почти ни одного гулянья. Долго плетется он до гулянья и во всю дорогу шевелит губами, точно ими что-то хочет раздавить твердое. На нем полосатый халат и картуз на вате, с козырьком чуть не в заслонку. В правой руке клюќа, а в левой — корзинка, в которую он постоянно собирает выброшенные апельсинные и лимонные корки, посушив которые на солнце, пьет с ними чай и даже угощает товарищей. Спешит и артель позолотчиков, запоздавшая из-за расчета с хозяином. А вот почти бегом валит ватага фабричных, неистово толкая всех и каждого; и ломят они напролом, не слушая, что их клянут все встречные. Показались и монахини, подходя к каждому и прося пискливо на „украшение храма божия“. Отовсюду спешит и прибывает народ православный на медовый праздник. Площадь наполняется все больше и больше.

И вдруг грянули полковые музыканты, зазвенели медные тарелки, заорали паяцы, завертелись качели; народ завозился, чувствуя свободу рукам и сердцу, — и пошла потеха. Все смешалось, спуталось; все волновалось и кричало. А под самым ухом гнусит Петрушка, уже успевший дать по затрещине вечным врагам своим — цыгану и квартальному. Шум, гам страшный! Пыль, крутясь, поднималась широким столбом и садилась толстыми слоями на гуляющую по соседнему бульвару публику. Народ массами переносился от одного балагана к другому. Мальчишки бегали в полном восторге. Да и все были веселы и довольны, смеялись и галдели.

Портной же Федот Иваныч в припадке ревности уже успел натворить

бед, и блюстители порядка скрутили крепко его руки и не дали ему разгуляться. А долго он мечтал о предстоящем празднике! Без устали работая даже в часы отдыха, он скопил трудовые гроши и сберег их до назначенного времени, несмотря на неоднократный позыв пропить их. Смирный и кроткий, даже робкий человек Федот Иваныч имел единственный порок — пагубное пьянство. Впрочем, и в пьяном виде он бывал смирен и кроток; иногда только на него находило какое-то бешенство и тогда его не узнавали: все сокрушалось им на пути его и кончалось это необузданное буйство тем, что, посидевши в сибирке, он возвращался к хозяину, еще смирнее прежнего. Позовет бывало, немец-хозяин к себе провинившегося Федота Ивановича и начнет так:

— А, Федот Иваныч! (его все звали Федотом Ивановичем). Ви опять в чашный дом бил?

— Попал маленько, Карла Карлыч, — отвечал Федот Иванович, глядя куда-то в сторону и почесывая за ухом.

— Фуй-фуй! Как это не корошо! Ви совсем нешасный шеловек! — говорит немец, грустно качая головой.

— Не извольте беспокоиться, Карла Карлыч, — возражает Федот Иванович, встряхивая своими жидкими волосами.

— Ну, пожалуйте на работу. Ви два дни имеете прогул, — объясняет немец.

— Деньжонок нельзя ли, Карла Карлыч? — робко лепечет Федот Иванович.

— Ой! Нет, нет! Эта не мошет быть!

И замашет руками немец, уходя от Федота Ивановича.

Постоит, постоит Федот и как-то тоскливо посмотрит вслед уходящему немцу. И опять почешет за ухом, а затем поплетется в мастерскую, где, скинув сапоги, бросит их сердито, как будто они ему никогда уж больше не понадобятся, и, усевшись на катке по-турецки, примется работать. Работник он был хороший; хозяин его любил и потому смотрел на многое сквозь пальцы.

Была у Федота Ивановича и возлюбленная — девица высокая и красивая, с румяными щеками, красными руками и полною грудью. Он очень любил свою Арину и все собирался жениться на ней. Арина также была не прочь выйти за него: она его любила, хотя и носился слух о ее неверности.

В день первого Спаса Федот Иваныч встал рано, веселый и довольный. Все привел в порядок: пришил пуговицы к чужому сюртуку, отданному в починку, и надел его. Сапоги на нем блестели, лицо было вымыто, жидкие светлые волосы были гладко причесаны; он думал даже подвиться, да пожалел денег. И вот Федот Иваныч вышел на улицу. Лицо его сияло, от него так и веяло счастьем. А когда он подходил к гулянью, хотя и не подвитый, то сколько в нем было ликующего торжества! Шел он более торопливо, чем ходил обыкновенно; всем давал дорогу, сходя с тротуара, как будто боясь, чтобы какая-нибудь непредвиденная история не задержала его на пути стремления. Подошедши к гулянью, он еще более приосанился, поправил картуз

и, подбоченясь фертом, шагнул раз, другой — и исчез в волнах шумящего народа. Спустя несколько времени, Федот Иваныч увидал свою возлюбленную. Она стояла у качелей и жеманно щелкала орешки. Он подошел к ней и ласково сказал:

— Здорово, Ариша!

— Здравствуй, коль не шутишь! — отвечала она, вытирая платком свои алые губы.

— Какие тут шутки в нашем звании! — говорит Федот Иваныч, крепко пожимая ее руку.

— Ну что ж стоять-то. Пойдем шпацирензи.

Арина взглянула на него с удивлением.

— Я, вдруг, хочу в немецкую веру переходить, — отвечает Федот Иванович на ее взгляд. — Заодно с Карлом Карлычем.

— Хорош будешь немец, нече сказать! — смеясь говорит Арина. — Ты бы лучше водку-то бросил пить.

— Эво, куда хватила! — ворчит Федот, видимо недовольный ее замечанием и, не говоря больше ни слова, идет вместе с нею вдоль балаганов.

Долго они ходили от балагана к балагану, кушали сотовый мед, заходили в рестораны пить пиво, а под колокол — зелено вино. Федот Иванович был уже, как говорится, на втором взводе; Арина также выпила на порядках: щеки ее пылали, грудь высоко подымалась, глаза были масляные. Она шутила со своим возлюбленным, ударяя его платком и покатываясь со смеху; а он подпускал ей разные экивоки. Вполне довольный и счастливый, проходя чуть ли не в десятый раз по гулянью, Федот Иваныч встретил на беду свою старинного приятеля, отчаянного гуляку. Уж по одному виду можно было судить, каков это был молодец. Шел он, вздернув кверху свое широкое рябое лицо и ухарски закинув назад длинные лохматые жесткие волосы. Черная цилиндровая шляпа его была сдвинута чуть не на ухо; на ситцевой рубашке с косым воротом красовался немецкого покроя сюртук, на руках белые нитяные перчатки; длинные, густые, точно намазанные сажей, черные усы и много дней небритая борода дополняли его ухарство.

— Старому приятелю! Другу сердечному, таракану запечному! Сорок одно с походцем! — закричал он, увидя Федота Ивановича. — Ну, как вас бог милует? — и, качнув головой на Арину, прибавил: — А эта откуда?

Арина потупила в землю очи свои и начала ломаться, жеманно крутя головой. Лохматый же, наклонившись к Федоту Ивановичу, шепнул ему что-то на ухо, а тот, оскалив свои редкие зубы, промычал: „Н-да!“. Лохматый засмеялся, лукаво глядя на Арину, и, обняв Федота Ивановича, сказал громко и развязно:

— Ну что ж, друг серый! Пойдем по-старому, по-приятельски, раздавим бутылочку. Да и краля писаная соблаговолит пожаловать на стаканчик холодненького? — обратился он к Арине.

— Как Федоту Иванычу угодно! — отвечала она и собрала губы, как на ниточку.

Лохматый начал звать Федота Иваныча пить пиво, а Арине подпускать разные турусы и уж очень нежно на нее поглядывать. Федоту Иванычу не понравилось обращение приятеля, а также и поведение подруги, но он не отказался от соблазнительного приглашения. Пришедши в ресторан, они спросили пива, а приятель Федота Иваныча до того разнежничался с Ариной, что чуть не целовал ее. Она, скаля свои белые зубы, хохотала, жеманно повторяя: „Ох, уж вы! Зачем вас баловать, таких хорошеньких!",—и таяла от восторга.

Федот же приходил все более и более в мрачное состояние, выпивая стакан за стаканом холодного пива.

Новая толпа загулявших мастеровых ворвалась в ресторан и, увидав лохматого молодца, заорала неистово:

— Господи! Гляди, гляди! Артист-то наш где! Ах, отчаянный! Тащи его!— и, подхватив артиста под руки, увлекла его с собой.

Арина огорчилась, а Федот Иваныч как будто повеселел; но тем не менее мрачное состояние духа не покидало его. Он начал придираться к Арине, упрекая ее разными предположениями.

— Ты, значит, что же это? — говорил Федот, уставив свои уже помутившиеся глаза на Арину. — А?..

Арина молчала.

— Что же ты не отвечаешь? — продолжал Федот угрюмо. — Ах ты непутевая! — ворчал он.

— Значит, много вашей милостью довольны?.. А?.. Что ж ты молчишь?.. Постой же,—добавил он и схватил Арину за руку.

Она ее сердито отдернула.

— У-у-у! Дьявол!... — зашипел Федот и заскрежетал зубами, приходя в ярость.

Арина совсем рассердилась, вскочила и пошла на гулянье. Федот Иваныч тоже встал. Его нельзя было узнать: так он был суров и мрачен. Молча рассчитался он с хозяином, залпом допил оставшееся пиво, быстро вышел из походного ресторана и догнал Арину. Пройдя с ней несколько шагов и не говоря ни слова, он засветил ей в ухо. Девка взбеленилась, полезла в драку, а народ загалдел хором: „Э-у... у..." — и начал смеяться и поддразнивать ее. Она еще больше злилась и, приступая к Федоту, старалась вцепиться в его жидкие волосы. Недолго, однако, продолжалась битва. Явилась полиция. Буяна схватили, а Арина исчезла в толпе гуляющего народа. Но недешево отдал Федот Иваныч свою свободу. Отчаянно барахтался он, отбиваясь ногами и руками, удивил вкруг стоящих и даже привел в восторг своей богатырской силой, заключенной в таком ничтожном теле. Народ дивился, глядя на его сопротивление, и кричал с увлечением: „Смотри, ребята! Вот гром-то не из тучи. Ай да молодец!.." .

А Федот с неистовством сокрушал все и всех. Полицейские солдаты прибывали со всех сторон и, накинувшись на Федота, как мухи на кусок сахара, прикрыли его собой. Долго возилась скученная масса по пыльной

площади. Наконец, начали подниматься одолевшие его стражи, кто отряхая пыль со своего платья, а кто и прикладывая ладонь к щеке или попорченному носу. Подняли и Федота. Вид его был очень печален: сюртук, отданный ему в починку, был разорван надвое, рукава одного не было. Сам же он имел вид сумасшедшего: побледневшие губы дрожали, а глаза вращались бессознательно. Повели его со связанными назад руками и был это Федот, да не тот: точно из яркой цветной краски окунули его в дрянную ваксу. Увели Федота Иваныча и не дали развернуться ему; даже половина денег осталась и побрякивала в его кармане.

Народ вернулся, проводив героя; шум, крик и разудалые песни еще более усилились. К колоколу подвезли новых питий. Пирамиды были уже полуразрушены. Много корытцев валялось опрокинутыми. Много было съедено меду, перемешанного с пылью и патокой, а также и других лакомств. Гулянье было в полном разгаре. Фабричные щеголихи, обнявшись, расхаживали гурьбами, распевая во все горло веселые песни. Подгулявшие мастеровые, с гармоникой в руках и с красными платками на шее, бесцеремонно с ними заигрывали.

— Карнолины-то растеряли, купчихи! — кричит мастеровой, обращаясь к поющим.

— Ах вы, мастеровщина оглашенная! — отвечают хором фабричные красавицы и опять затягивают визгливо какую-то песню.

Спесивые кухарки, разодетые во все красное, занимаются больше солдатами, истребляя подсолнухи и орехи. Они разговаривают с ними самым деликатным манером.

— Если вы, кавалер, не можете сократить себя, то вам это довольно стыдно! — говорит миловидная кухарка, идя со своей подругой.

— Мы не какие-нибудь!

Высокий и усатый солдат, не слушая их, идет рядом и городит им разную чепуху.

— Оставьте нас, кавалер! Вам очень нехорошо приставать к нам.

— Гром победы раздавайся! Поцелуй меня, мамзель! — декламирует неожиданно солдат и лезет обнимать их, а они визжат и хохочут.

Толстые дворничихи, отдуваясь, стоят в сторонке, иногда заводя разговор со своими супругами вроде следующего:

— Кузьма Лавреньтич! А Кузьма Лаврентьич! Уж очень жарко!

— Беда невелика, не растаешь, — отвечает супруг. — А уж очень невтерпеж, то раскинься...

— Ах, какой ты, право! — ворчит дворничиха, — слова путного не вымолвишь.

Она подзывает к себе мальчишку с малиновым квасом сомнительного качества и выпивает несколько стаканов залпом.

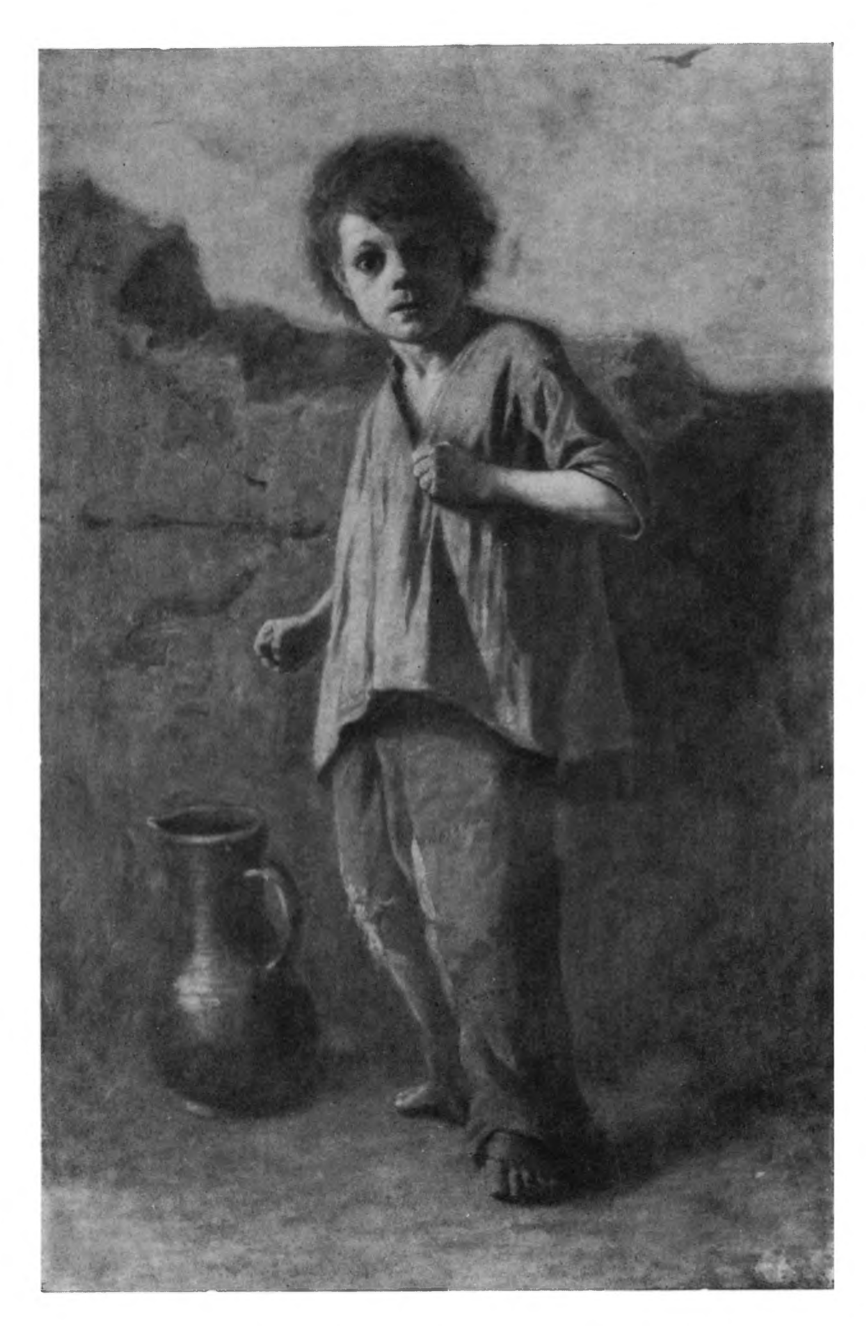
— Смотри, Марфа! Не забудь Марьину рощу... — замечает ей супруг.

Остальная же публика толпится у балаганов, как нищие у крыльца

в день памяти усопшего богача. Балаганные артисты работают без устали: уже восьмое представление кончалось в крайнем балагане. Полковые музыканты только и знают, что лазают на раус. Знаменитый остряк и комик Арефьич — любимец народа — начал ослабевать: выражался как-то резче, чем еще больше смешил публику. Но что делалось на качелях и в соседних ресторанах, на коньках и в питейных заведениях — описать невозможно. Одним словом, веселье было одуряющее. И, боже! Сколько было выпито вина и пива! Сколько выпущено острот язвительных и милых! Перетоптано пчел и перебито посуды! Вся площадь была как бы засеяна скорлупами орехов, подсолнухов и разными объедками от других лакомств. Представьте себе состояние сонного человека, если бы в его ухе лопнула ракета! Точно в таком же положении была оглушенная и озадаченная публика от неистовой пальбы в третьем балагане: этим финалом кончилось девятое представление — взятие какой-то крепости, где турки валятся как чурки, а наши, хоть без голов стоят, а все палят. Народ бросился к балагану, а из него тоже валила распотевшаяся масса. Столкнулись эти две силы и начали одолевать одна другую. На балконе, однако, стояли измученные уже артисты, хрипло крича во все горло: к началу! к началу! Комик, соперник Арефьича, по профессии башмачник, заорал уже совсем осиплым голосом, обращаясь к очень высокому и худощавому до крайности фабричному, с зеленым как трава лицом и оловянными неподвижными глазами: „Эй ты, длинный черт! Где это ты ходули-то украл? Залез на них, да и ходишь по народу! Бесстыжие твои буркалы! Вот я те к мировому!..“ — и при этом скорчил такую рожу, что вся площадь так и залилась неудержимым смехом. Народ повалил в балаган, с остервенением давя друг друга. А солнце уже спускалось за близстоявшую монастырскую колокольню.

Разгулявшаяся толпа еще долго волновалась, как глубокое море после стихнувшей бури. Удалые песни неслись далеко, далеко, раздаваясь по городу вместе с грохотом барабанов и пронзительным свистом полковых дудок. Но надвигалась ночь и площадь начала редеть, затихал и шум. Только в походном ресторане под отрывочное трынканье балалайки и нескладную игру на гармонике слышалась разудалая песня; там, мотая головой и ухарски вскидывая волосами, с бешенством танцевал лохматый приятель Федота Иваныча и так выбивал дробь о гладкие камни, что летели во все стороны блестящие искры. Он носился, вертелся и отпрыгивал, как волчок, пущенный искусною рукой.

— Аль не любишь? Аль не чувствуешь? — выкрикивал лохматый, окруженный пришедшими в восторг от его удалой пляски пьяными товарищами и другой публикой. Перед ним, пощелкивая пальцами, размахивая алым платком и колыхая своею полною грудью, вяло топталась Арина, уже совсем подгулявшая. А в отдаленной части города, под черной лестницей, в темном чулане, горько плакал, всхлипывая, кривой Петька, только что получивший от хозяина отчаянную трепку. Да в душной богадельне на жесткой койке, кряхтя и почесываясь, ворочался с боку на бок Калиныч. Он



Мальчик, готовящийся к драке



Федот и Арина. *1878*

не мог заснуть от томившей его жары, хотя уж давно лежал с закрытыми глазами и даже потерял надежду разжевать что-то твердое.

Наконец и совсем стемнело. Соседние опустевшей площади улицы наполнились возвращающимся с праздника народом. Ссоры возникали на каждом шагу. Пьяных было много. Иные плясали на ходу, других же, совсем ослабевших, вели товарищи. Петрушка с цыганом, квартальным и доктором валялись на земле, как будто отдыхали, утомленные трудами дня, а хозяин их сидел на ящике, освещенный сальным огарком, и считал медную выручку. Посреди площади, отчаянно размахивая руками, ругался комик Арефьич со своим соперником. Остальные артисты и артистки, переодетые и полуумытые, с узлами, в которых виднелись их костюмы, не совсем твердыми шагами отправлялись в ближайший трактир, откуда доносились звуки визгливой шарманки, и детский надорванный голос, словно рыдая, выкрикивал: „Не брани меня, родная". Снятые вывески валялись в беспорядке на площади.

Наступила ночь. Все стихло. По опустелой площади рыскали голодные собаки, набежавшие со всех сторон, да бродили какие-то тени: то были полицейские, стаскивающие в кучу упившихся до зела. Так кончился народный праздник в Спасов день, первого августа. На другой день Федот Иваныч проснулся в частном доме, в многочисленном обществе разнообразной публики. У него болела голова и ныло сердце. Денег в кармане его не оказалось. И вот их всех вкупе повели на перекличку, а там ему услужливый городовой на уцелевшей еще спинке черного жилета изобразил мелом известный в народе двунадесятый праздник, т. е. крест в кругу. И послали его в видах исправления мести улицу.

ПРИМЕЧАНИЯ

ТЕТУШКА МАРЬЯ

Рассказ с подзаголовком „*Из воспоминаний художника*“ был напечатан в журнале „Пчела“, 1875, март, № 11. Рукопись хранится в Третьяковской галерее. Поступила в дар Третьяковской галерее от В. Э. Бантле — племянника Е. Е. Перовой 8 января 1934 года. Настоящее издание воспроизводит текст рассказа по журнальной публикации, сверенной по рукописи.

В основу рассказа положен случай, имевший место во время подготовительной работы художника над картиной „Тройка“. Ученики-мастеровые везут воду“. Картина находится в Третьяковской галерее.

Несколько лет тому назад я писал картину... — Картина „Тройка“. Ученики-мастеровые везут воду“ была окончена в 1866 году и в том же году была приобретена П.М. Третьяковым.

...поспешив окончить голову... — портрет Васеньки, написанный Перовым во время этого сеанса, не сохранился.

Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый — на картине мальчик с выбитым зубиком изображен в центре группы.

Через год я исполнил свое обещание и послал ей портрет ее сына... — о судьбе этого портрета ничего не известно.

НА НАТУРЕ

Фанни под № 30

Рассказ с подзаголовком „*Заметки художника*“ был напечатан в „Художественном журнале“, т. I, 1881, январь, № 1. Настоящее издание воспроизводит текст рассказа по журнальной публикации с исправлением опечаток и ошибок.

В основу рассказа положено воспоминание художника о падшей женщине одного из московских „увеселительных заведений“, послужившей учителю Перова Егору Яковлевичу Васильеву натурщицей при написании образа богоматери.

Художник Е. Я. Васильев (1815—1861) был преподавателем Училища живописи и ваяния. В своей квартире он давал приют бедным ученикам, не имевшим средств к существованию. В числе их был Перов, а также известный впоследствии художник И. М. Прянишников. Бескорыстную помощь и доброту Васильева всегда с большой благодарностью вспоминал Перов.

Нужно было приступить к исполнению, т. е. нарисовать все фигуры голыми с натуры под драпировки...—по правилам академической старой школы художник должен был все фигуры своей композиции сначала нарисовать обнаженными в соответствующих поворотах и ракурсах, а затем уж драпировать их одеждами.

У нас в Петербурге еще кое-как можно достать, а здесь...—В те годы и в классах Академии художеств и в Училище живописи и ваяния ставилась лишь мужская обнаженная натура, впервые ввести в практику женскую обнаженную натуру удалось значительно

позже Валентину Александровичу Серову (см. об этом в книге: Н. Ульянов. Воспоминания о Серове. „Искусство“, М.—Л., 1945).

Затянувшись всласть жуковым — сорт табака фирмы Жукова.

...в фуражке с кокардой... — преподаватели Училища часто носили форменный костюм.

НЕЧТО О ПОРТРЕТНОМ СХОДСТВЕ

Рассказ с подзаголовком *„Два анекдота“* написан Перовым в приложении к письму Николаю Александровичу Александрову — редактору-издателю „Художественного журнала“.

Настоящее издание воспроизводит текст по публикации в книге „В. Г. Перов“ со статьей „В. Г. Перов и его творчество“ А. А. Федорова-Давыдова и приложениями, составленными А. А. Федоровым-Давыдовым, О. А. Лясковской и М. И. Фабрикантом. Гос. изд. изобр. искусств, 1934.

АНЕКДОТ

Текст воспроизводится по вышеуказанной публикации.

КАЛАМБУР

Текст воспроизводится по вышеуказанной публикации.

НЕЧТО ВРОДЕ ЛЕГЕНДЫ О ПОРТРЕТЕ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВИЧА МЕНШИКОВА

Текст был напечатан в „Художественном журнале“ в отделе „Смесь“, т. I, 1881, март, № 3.

Я писал в это время картину из нравов московской жизни, а именно: „Свахи ведут невесту из бани перед девичником, с пляской, песнями и музыкой“... — картина находится в Музее русского искусства в Киеве под названием „Накануне девичника“. 1870.

Картина моя, изображающая „Невесту, идущую из бани...“ — речь идет о вышеуказанной картине.

Передо мною висит не портрет князя Меншикова, а голова старика работы Вандика — по новому написанию Ван-Дейк.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Рассказ с подзаголовком *„Рассказ из воспоминаний художника“* был напечатан в „Художественном журнале“, т. I, апрель, № 4. Настоящее издание восприводит текст по журнальной публикации.

ПОД КРЕСТОМ

Рассказ напечатан в „Художественном журнале“, т. II, 1881, июль, № 7. Настоящее издание воспроизводит текст рассказа по журнальной публикации с исправлением опечаток и ошибок.

Вы знакомы с Саввой Прохоровичем Щукиным?... — портрет С. П. Щукина, который писал Перов, остался неизвестным.

Смотря на одну из начатых мною картин, сказала: „А может старик и для Вас пригодится, для вашей картины“... — речь идет о картине „Странник“, оконченной в 1870 году

и находящейся в Третьяковской галерее. В поисках наиболее выразительного и типического образа странника Перов делал предварительно ряд этюдов, пока не встретился с героем рассказа, который и явился прототипом для картины.

Отыскивая глазами, видимо, образ (т. е. икону — А. Л.) он вперил свой взгляд на этюд головы Христа и стал на него молиться...—как можно заключить из этого свидетельства в мастерской-квартире Перова икон не было, упоминаемый же этюд головы Христа остается неизвестным.

Имя старика было Христофор, фамилия же Барский; быть может, к ней нужно было бы прибавить еще и нарицательное — сын...—здесь Перов недвусмысленно дает понять, что он мог быть незаконным сыном своего барина, отсюда и тот в нем аристократизм внешности, который напомнил Перову другого старика, несколько лет назад виденного им на одном из московских бульваров — аристократа-князя. О безнравственных связях господ со своими дворовыми и крепостными девушками Перов говорит и в рассказе „Великая жертва“.

ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА

Рукопись хранится в Третьяковской галерее. Публикуется впервые. Поступила в дар Третьяковской галерее от В. Э. Бантле — племянника Е. Е. Перовой 8 января 1934 года. На оригинале подзаголовок *„Быль из прошлого русского народа“*.

...при счастливой сдаче работы или в двунадесятый праздник — один из двенадцати главных праздников православной церкви (кроме Пасхи).

ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ

Рассказ с подзаголовком *„Глава из хроники Училища живописи и ваяния в Москве“* был напечатан в „Художественном журнале“, т. I, 1881, март, № 3.

После полудня, у крыльца тогда еще „Школы“, как гласила вывеска, ныне же „Училища живописи, ваяния и зодчества“...—При московском художественном обществе, существовавшем с 1833 по 1918 год, возник в 1833 году художественный кружок, называвшийся затем Художественный класс. В 1843 г. он переименован в Училище живописи и ваяния. В 1865 году при присоединении Дворцового архитектурного училища оно получило наименование Училища живописи, ваяния и зодчества.

... мохнатый сибирский малахай — большая ушастая шапка на меху.

Как великий древний оракул — у древних греков, римлян и народов Древнего Востока „прорицатель“.

...напев на осьмый глас — церковно-славянское песнопение.

НАШИ УЧИТЕЛЯ

Рассказ с подзаголовком *„Из хроники Училища живописи и ваяния в Москве“* был напечатан в „Художественном журнале“, т. II, 1881, август, № 8; сентябрь, № 9; октябрь, №10; декабрь, № 12 и последний раздел. *„С. К. Зарянко как человек и воинствующие ученики“* опубликован впервые в книге „В. Г. Перов“ со статьей „В. Г. Перов и его творчество“ А. А. Федорова-Давыдова и приложениями, составленными А. А. Федоровым-Давыдовым, О. А. Лясковской и М. П. Фабрикантом. Гос. изд. изобр. искусств, 1934. Рукопись последнего раздела хранится в Третьяковской галерее. Поступила она в дар Третьяковской галерее от В. Э. Бантле — племянника Е. Е. Перовой 8 января 1934 года.

Настоящее издание воспроизводит текст по журнальной публикации и указанный в книге последний раздел сверен с авторской рукописью.

... академик, впоследствии профессор Михаил Иванович Скотти, академик — так и умерший академиком —Аполлон Николаевич Мокрицкий и скульптор, академик —

впоследствии также профессор — Николай Александрович Рамазанов...—в те годы звание академика было ступенью ниже звания профессора.

М. И. Скотти род. в 1814 году, умер 1861. В 1835 году окончил курс в Академии художеств, где учился у А. Е. Егорова. Преподаватель живописи и инспектор Училища живописи и ваяния с 1849 по 1856 год. Писал картины на исторические („Минин и Пожарский", 1850, Горьковский художественный музей), мифологические, религиозные и жанровые темы, портреты, образа для церквей, работал в духе Брюлловской школы.

А. Н. Мокрицкий род. в 1811 году, умер в 1870. Живописи учился вначале в школе А. Г. Венецианова, с 1836—у К. П. Брюллова в Академии художеств. Преподаватель Училища живописи и ваяния с 1851 по 1861 год.

Н. А. Рамазанов род. в 1815 году, умер 1868. Скульптуре учился у Б. И. Орловского в Академии художеств. Преподаватель Училища живописи и ваяния с 1846 по 1866 год.

...и потому-то „худому делу" (отсюда — слово художник, по объяснению В. И. Даля), т. е. волшебству и чародейству в искусстве он был совершенно не причастен...—У Даля в „Толковом словаре" нет такого объяснения образования слова художник. Здесь, видимо, вкралась ошибка в печати, вместо „художному делу", как приводится у Даля, напечатано „худому делу".

Обзору деятельности Н. А. Рамазанова будет посвящена отдельная глава...—обещанная глава не была написана.

Все эти разнообразные, разноплеменные жрецы искусства не могли бы числиться учениками в Школе живописи, теперь при новом уставе... — новый устав введен в 1866 году.

На нем красовался всегда коричневый пальмерстон — особый вид верхнего мужского платья.

Кто пошел в натурный, кто в гипсово-фигурный, кто в гипсово-головной и в оригинальный...—обучение шло последовательно сначала в оригинальном классе, где рисовали с указанных оригиналов, затем в гипсово-головном, где рисовали с гипсовых античных голов, после — в гипсово-фигурном, где рисовали с античных статуй и, наконец, — натурный, где ставились для рисования натурщики.

Измерение это он делал посредством вытянутой руки, в которой держал стилет от кисти... — стилет — тот металлический наконечник ручки, который зажимает ворс кисти.

Вот в каком виде немало времени шло преподавание искусства в Училище живописи и дошло, наконец, до открытой борьбы С. К. Зарянко с А. Н. Мокрицким. В этой борьбе принял горячее участие и Н. А. Рамазанов, о чем будет рассказано впоследствии — это намерение не было исполнено автором.

... был третной месяц — учебный год в Училище, так же как и в Академии художеств, делился на три части по три месяца в каждой. Последний месяц каждой трети назывался „третной".

... вооружались в классе колками от мольбертов...—деревянные колки вставлялись в круглые отверстия мольбертов для регулирования нужной высоты, на которую устанавливался подрамник.

НОВОГОДНЯЯ ЛЕГЕНДА О СЧАСТЬЕ

Рассказ с подзаголовком „*Посвящается благополучным артистам*" был напечатан „Художественном журнале", т. III, 1882, январь., № 1. Настоящее издание воспроизводит текст по журнальной публикации.

...рассуждающий с апломбом парижского бульвардье... — завсегдатай парижских бульваров.

НАША ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Рукопись хранится в Третьяковской галерее, имеет подзаголовок „*Что-то вроде рассказа*“, поступила в дар Третьяковской галерее от В. Э. Бантле—племянника Е. Е. Перовой 8 января 1934 года. Публикуется впервые.

...*Авдеевская книга лежала перед ним* — „Ручная книга... доброй русской хозяйки“ в 3 частях. М., 1842. Последнее II издание под названием „Секреты кухни“ вышло в Санкт-Петербурге в 1877году.

МЕЛЕНТЬИЧ-ПТИЦЕЛОВ

Рукопись хранится в Третьяковской галерее, имеет подзаголовок „Из жизни охотника“. Поступила в дар Третьяковской галерее от В. Э Бантле — племянника Е. Е. Перовой. 8 января 1934 года. Публикуется впервые отрывок из рассказа.

МЕДОВЫЙ ПРАЗДНИК В МОСКВЕ

Рассказ с подзаголовком „*Из воспоминаний художника*“ был напечатан в „Художественном журнале“, т. III, 1882, сентябрь, № 9. В настоящем издании воспроизводится текст журнальной публикации.

Солнышко село чисто, не в тучу! Быть вёдру — быть хорошей ясной погоде.

Вся площадь, изрезанная тенями, была как будто вызолочена под чернеть... — особый способ золочения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

В. Г. ПЕРОВ и ЕГО РАССКАЗЫ — *А. И. ЛЕОНОВ* 3

ТЕТУШКА МАРЬЯ 13

НА НАТУРЕ 19

НЕЧТО О ПОРТРЕТНОМ СХОДСТВЕ 33

АНЕКДОТ 35

КАЛАМБУР 36

НЕЧТО ВРОДЕ ЛЕГЕНДЫ О ПОРТРЕТЕ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВИЧА МЕНШИКОВА 37

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА 42

ПОД КРЕСТОМ 52

ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА 70

ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ 86

НАШИ УЧИТЕЛЯ 97

НОВОГОДНЯЯ ЛЕГЕНДА О СЧАСТЬЕ 152

НАША ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ . 164

МЕЛЕНТЬИЧ-ПТИЦЕЛОВ 174

МЕДОВЫЙ ПРАЗДНИК В МОСКВЕ 177

ПРИМЕЧАНИЯ 186

ПЕРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

РАССКАЗЫ ХУДОЖНИКА

*

Редактор *Г. Перепелкина*
Художник *Н. Круглов*
Художественный редактор *Р. Татузов*
Технический редактор *М. Ушкова*
Корректор *Р. Кармазинова*

*

Сдано в набор 29/VII—1959 г. Подписано в печать 19/XI-1959 г.
Ш.-09026. Бумага 70Х92²/₁₆. Печ. л. 13,37. Услов. л. 15,64.
Изд. л. 14,54. Тираж 10.000 экз. Заказ 2768. Цена 12 р.

*

Издательство Академии художеств СССР
Ленинградский проспект, 62

*

Московская типография № 3 «Искра революции»
Мосгорсовнархоза.